511405

ФОНД

Фонд

на ... давать

14/IV 77 8320 511405 4/XII 78 8-21

23/V 77 8232 ч/з маг. 21/V 81 442

31/VIII 77 205 15.11.88 8-537 г/з

28/XI 77 8-44 ч/з 15.12.89 8-555 г/з

21/II 79 8581 г/з 27.04.90

8/X-80 960 8.05.90 8-513 г/з

21/XI 80 8-105 ч/з 11.05.90

25.05.90 8-493 г/з

Пр. 2010

ПР. 48
ф 26773

ХРИСТОСЪ И АНТИХРИСТЪ ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Л. ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКІЙ.

Уральская областная библиотека

Д. С. Мережковскаго.

571405

Проверено 1936 г.

Изданіе второе.

ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА „МІРЪ ИСКУССТВА“.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.—1901.

Перс. 2

8р
М 52

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„*Стихотворенія*“. (1883—1887).

„*Символы*“. Стихотворенія (1887—1891).

„*Новыя Стихотворенія*“. (1891—1895).

„*О причинахъ упадка и новыхъ теченіяхъ современной русской литературы*“. 1893.

„*Дафнисъ и Хлоя*“. 1896.

„*Вѣчные Спутники*“. 1899.

„*Отверженный*“. („Смерть боговъ“,—первая часть всемірно-исторической трилогіи „Христосъ и Антихристъ“). 1896.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

„*Воскресшіе Боги*“, (Леонардо да-Винчи). — Вторая часть трилогіи „Христосъ и Антихристъ“.

„*Трагедіи Есхила, Софокла, Еврипида*“. Переводъ съ греческаго, въ стихахъ.

Пр. 1940

Уральский Индустриальн. Ин-т им. С. М. КИРОВА Научная библиотека

Научная библиотека Уральского Госуниверситета г. Свердловск

Дозволено цензурою. Спб., 31 августа 1901 г.

Типографія Спб. общ. печатнаго дѣла въ Россіи Е. Евдокимовъ. Троицкая 18.

Предлагаемая книга есть первый томъ критическаго изслѣдованія «Христосъ и Антихристъ въ русской литературѣ. — Л. Толстой и Достоевскій», напечатаннаго въ журналѣ «Міръ Искусства» за 1900 годъ. Томъ этотъ, состоящій изъ двухъ частей: I «Л. Толстой и Достоевскій, какъ люди», II «Л. Толстой и Достоевскій, какъ художники»— представляетъ отдѣльное и самостоятельное цѣлое. Третья часть «Л. Толстой и Достоевскій, какъ религіозные мыслители», печатается въ «Мірѣ Искусства» за 1901 годъ и составитъ второй томъ настоящаго изслѣдованія.

Левъ Толстой и Достоевскій.

Д. Мережковскаго.

Произошло столкновеніе двухъ самыхъ противоположныхъ идей, которыя только могли существовать на землѣ: Человѣкобогъ встрѣтилъ Богочеловѣка, Аполлонъ Бельведерскій—Христа.

Достоевскій.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Поколѣніе русскихъ людей, вступившее въ сознательную жизнь между восьмидесятыми и девяностыми годами XIX столѣтія, находится въ такомъ трудномъ и отвѣтственномъ положеніи относительно будущаго русской культуры, какъ, можетъ быть, ни одно изъ поколѣній со времени Петра Великаго.

Я говорю—со времени Петра, потому что именно отношеніе къ Петру служитъ какъ-бы водораздѣльною чертою двухъ великихъ теченій русскаго историческаго пониманія за послѣдніе два вѣка, хотя въ дѣйствительности раньше Петра и глубже въ исторіи начинается борьба этихъ двухъ теченій, столь поверхностно и несовершенно обо-

значаемыхъ словами „западничество“ и „славянофильство“. Отрицаніе западниками самобытной идеи въ русской культурѣ, желаніе видѣть въ ней только продолженіе или даже только подражаніе европейской, утвержденіе славянофилами этой самобытной идеи и противоположеніе русской культуры западной,—въ такомъ крайнемъ, чистомъ видѣ оба теченія нигдѣ не встрѣчаются, кромѣ отвлеченныхъ умозрѣній. Во всякомъ-же дѣйствіи, научно-историческомъ или художественномъ, они поневолѣ сближаются, соединяются, никогда, впрочемъ, не смѣшиваясь и не сливаясь окончательно. Такъ, у всѣхъ великихъ русскихъ людей, отъ Ломоносова черезъ Пушкина до Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и Достоевскаго, несмотря на глубочайшія западныя вліянія, сказывается и самобытная русская идея, правда, съ меньшею степенью ясности и сознательности, чѣмъ идеи общеевропейскія. Въ этомъ недостаткѣ ясности и сознанія до сей поры заключалась главная слабость учителей славянофильства.

Тогда какъ западники могли указать на общеевропейскую культуру и на подвигъ Петра, какъ на опредѣленный и сознательный идеалъ, славянофилы обречены были оставаться въ области романтическихъ смутныхъ сожалѣній о прошломъ, или столь-же романтическихъ и смутныхъ чаяній будущаго, могли указать только на черезчуръ ясныя, но неподвижныя и омертвѣвшія, историческія формы, или на слишкомъ неясныя, безплотныя и туманныя дали, на то, что̀ умерло или на то, что̀ еще не родилось.

Достоевскій почувствовалъ и отмѣтилъ эту болѣзнь славянофильства—недостатокъ ясности и сознанія,—„мечтательный элементъ славянофильства“,—какъ онъ выражается. „Славянофильство до сихъ поръ еще стоитъ на смутномъ и неопредѣленномъ идеалѣ своемъ. Такъ что, во всякомъ случаѣ, западничество все-таки было реальнѣе

славянофильства, и, несмотря на всѣ свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движеніе осталось на его сторонѣ, тогда какъ славянофильство не двигалось съ мѣста и даже вмѣняло себѣ это въ большую честь".

Западничество казалось Достоевскому реальнѣе славянофильства, потому что первое могло указать на опредѣленное явленіе европейской культуры, тогда какъ второе, несмотря на всѣ свои поиски, не нашло ничего равноцѣннаго, равнозначущаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ, столь-же опредѣленнаго и законченнаго въ русской культурѣ.—Такъ думалъ Достоевскій въ 1861 году. Черезъ шестнадцать лѣтъ онъ уже нашелъ—казалось ему—это искомое и не найденное славянофилами, опредѣленное, великое явленіе русской культуры, которое могло быть сознательно, въ совершенной ясности, противопоставлено и указано Европѣ, нашелъ его во всемірномъ значеніи новой, вышедшей изъ Пушкина, русской литературѣ.

„Книга эта—писалъ онъ въ „Дневникѣ" за 1877 годъ, по поводу только что появившейся „Анны Карениной" Л. Толстого,—книга эта прямо приняла въ глазахъ моихъ размѣръ факта, который-бы могъ отвѣчать за насъ Европѣ, того искомаго факта, на который мы могли-бы указать Европѣ. Анна Каренина есть совершенство, какъ художественное произведеніе, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху не можетъ сравниться, а во-вторыхъ, и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, наше *свое*, родное, и именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ.—Если у насъ есть литературныя произведенія такой силы мысли и исполненія, то почему намъ отказываетъ Европа въ самостоятельности, въ нашемъ *своемъ собственномъ* словѣ, — вотъ вопросъ, который рождается самъ собою".

Въ то время слова эти могли казаться дерзкими и самонадѣянными,—теперь они кажутся намъ почти робкими, во всякомъ случаѣ, недостаточно ясными и опредѣленными. Достоевскій указалъ въ нихъ только на малую часть того всемірнаго значенія, которое открывается намъ все съ большею и большею ясностью въ русской литературѣ. Для этого надо было видѣть, какъ видѣли мы, не только законченный ростъ художественнаго творчества, но и все трагическое развитіе нравственной и религіозной личности Л. Толстого, надо было понять глубочайшее согласіе и глубочайшую противоположность Л. Толстого Достоевскому въ ихъ общей преемственности отъ Пушкина. Это уже дѣйствительно, — какъ выражается Достоевскій,—„фактъ особаго значенія“, уже почти сознанное, хотя еще не сказанное, уже опредѣленное, въ плоть и кровь облеченное явленіе русской и въ то-же время всемірной культуры. Только самые чуткіе люди въ Западной Европѣ — Ренанъ, Флоберъ, Нитче — если не разгадали, то, по крайней мѣрѣ, предчувствовали смыслъ этого явленія. Но и до сей поры, несмотря на русскую моду въ Европѣ послѣднихъ десятилѣтій, отношеніе большей части европейской критики къ русской литературѣ остается случайнымъ и поверхностнымъ. И до сей поры не подозрѣваетъ она дѣйствительныхъ размѣровъ ея всемірнаго значенія, уже видимыхъ намъ, русскимъ, для которыхъ открытъ первоисточникъ русской поэзіи—Пушкинъ, все еще недоступный для чужого взгляда. И намъ уже нѣтъ возврата ни къ западникамъ, отрицающимъ самобытную идею русской культуры, ни тѣмъ болѣе, къ славянофиламъ, не потому, чтобы ихъ проповѣдь казалась намъ слишкомъ смѣлою и гордою,—можетъ быть наша вѣра въ будущность Россіи еще дерзновеннѣе, еще самовластнѣе,—а лишь потому, что эти книжные мечта-

тели и умозрители сороковыхъ годовъ кажутся намъ слишкомъ покорными и боязливыми учениками нѣмецкой метафизики, переряженными германофилами, простодушными гегеліанцами. И если пророчество Достоевскаго: „Россія скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда-либо слышалъ"—оказалось преждевременнымъ, то лишь потому, что самъ онъ не договорилъ этого слова до конца, не довелъ своего сознанія до послѣдней степени возможной ясности, испугался послѣдняго вывода изъ собственныхъ мыслей, сломилъ ихъ остріе, притупилъ ихъ жало,—дойдя до края бездны, отвернулся отъ нея и, чтобы не упасть, снова ухватился за неподвижныя, окаменѣлыя историческія формы славянофильства, — тѣ самыя, для разрушенія которыхъ онъ, можетъ быть, сдѣлалъ больше, чѣмъ кто-либо.—Нужна, въ самомъ дѣлѣ, великая ясность и трезвость ума, чтобы безъ головокруженія, безъ опьянѣнія народнымъ тщеславіемъ, признать всемірность идеи, открывающейся въ русской литературѣ. Можетъ быть, для нашего слабаго и болѣзненнаго поколѣнія въ этомъ признаніи—больше страшнаго, чѣмъ соблазнительнаго,—я разумѣю страшную, почти невыносимую тяжесть отвѣтственности.

Но, несмотря на то или, вѣрнѣе, благодаря тому, что мы признали самобытную русскую идею, мы уже не можемъ,—чего-бы это ни стоило, и какія-бы роковыя противорѣчія ни грозили намъ,—высокомѣрно отворачиваться отъ западной культуры или малодушно закрывать на нее глаза, подобно славянофиламъ. Не можемъ забыть, что именно Достоевскій, и какъ разъ въ то время, когда онъ былъ или, во всякомъ случаѣ, считалъ себя самымъ крайнимъ славянофиломъ, съ такою силою и опредѣленностью высказалъ нашу русскую любовь къ Европѣ, нашу русскую тоску по родному Западу, какъ ни одинъ изъ

нашихъ западниковъ: „у насъ, русскихъ,—говоритъ онъ,—двѣ родины: наша Русь и Европа“.—„Европа—но вѣдь это страшная и святая вещь! О, знаете-ли вы, господа, какъ намъ дорога, намъ, мечтателямъ-славянофиламъ, эта самая Европа, эта „страна святыхъ чудесъ!“—„Знаете ли, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучаютъ и волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и *родной* намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болѣе и болѣе заволакивающія ея небосклонъ? Русскому Европа такъ-же драгоцѣнна, какъ Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я никогда не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ, вся исторія ихъ—мнѣ милѣй, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго Божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чѣмъ имъ самимъ!“—„Я хочу въ Европу съѣздить, Алеша,—говоритъ Иванъ Карамазовъ,—и вѣдь я знаю, что я поѣду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вотъ что! Дорогіе тамъ лежатъ покойники, каждый камень надъ ними гласитъ о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вѣрѣ въ свой подвигъ, въ свою истину, въ свою борьбу и въ свою науку, что я, знаю заранѣе, паду на землю и буду цѣловать эти камни и плакать надъ ними,—въ то-же время убѣжденный всѣмъ сердцемъ моимъ, что все это давно уже кладбище и никакъ не болѣе!“

Неужели—только кладбище? Но вѣдь Европа для русскихъ—онъ это самъ сказалъ—вторая родина. А развѣ можетъ быть родиной живого народа кладбище?—Нѣтъ, какъ ни страстно и ни сильно выражалъ онъ это чувство, все-таки не договорилъ онъ послѣдняго слова о нашей русской тоскѣ по европейской родинѣ такъ-же, какъ не договорилъ и своей вѣры въ будущность Россіи. И пусть

Европа—кладбище. Мы теперь уже знаемъ, что на этомъ кладбищѣ погребены не только люди, герои, но и боги. А у боговъ есть такое свойство, что и въ гробахъ они сохраняютъ безсмертіе, такъ что, сколько ни погребай ихъ, никогда нельзя быть увѣреннымъ, что они дѣйствительно умерли. Можетъ быть, они только притворились мертвыми и спятъ, ожидая Возрожденія, какъ сѣмена ожидаютъ весны. Не въ самую-ли глухую полночь среднихъ вѣковъ, не самымъ-ли благочестивымъ христіанскимъ подвижникамъ являлись они въ видѣ страшныхъ и соблазнительныхъ демоновъ? Когда-же боги воскресаютъ и выходятъ изъ своихъ могилъ, то „старые камни“ соединяются въ новые храмы, „осколки святыхъ чудесъ“—въ новыя, живыя чудеса.

Еще недавно мы присутствовали при такомъ воскресеніи двухъ олимпійскихъ боговъ—Аполлона и Діониса, на старомъ европейскомъ кладбищѣ, въ юношеской и столь весенней книгѣ Фридриха Нитче—*Рожденіе Трагедіи*. И для насъ, русскихъ, это явленіе новаго Аполлона и Діониса было тѣмъ болѣе знаменательно, что оно напомнило намъ видѣніе отрока Пушкина, который изъ школы христіанской наставницы, съ очами „свѣтлыми, какъ небеса“, со словами „полными святыни“, убѣгалъ „въ великолѣпный мракъ *чужою* сада“,—къ языческимъ идоламъ:

Межъ ними два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой.
То были двухъ *бѣсовъ* изображенья:
Одинъ—Дельфійскій идолъ—ликъ младой
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной;
Другой—женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.

Мы также присутствовали при соединеніи этихъ двухъ противоположныхъ демоновъ или боговъ въ еще болѣе необычайномъ и таинственномъ явленіи Заратустры. И не могли мы не узнать въ немъ Того, Кто всю жизнь преслѣдовалъ и мучилъ Достоевскаго, не могли не узнать Человѣкобога въ Сверхчеловѣкѣ. И чудеснымъ, почти невѣроятнымъ, было для насъ это совпаденіе самаго новаго, крайняго изъ крайнихъ европейцевъ и самаго русскаго изъ русскихъ. Ни о какомъ вліяніи или заимствованіи тутъ и рѣчи быть не можетъ. Съ двухъ разныхъ, противоположныхъ сторонъ подошли они къ одной и той-же безднѣ. Сверхчеловѣкъ—это послѣдняя точка, самая острая вершина великаго горнаго кряжа европейской философіи, съ ея вѣковыми корнями возмутившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: историческій путь пройденъ; дальше—обрывъ и бездна, паденіе или полетъ,—путь сверхъ-историческій, религія.

Особый поразительный смыслъ имѣетъ для насъ, русскихъ, явленіе Заратустры и потому, что мы принадлежимъ къ народу, который далъ міру, можетъ быть, единственное, величайшее во всей новой европейской исторіи воплощеніе сверхчеловѣческой воли—въ Петрѣ. Религіозная часть русскаго народа сложила странную и донынѣ мало изслѣдованную легенду о Петрѣ, какъ объ Антихристѣ, объ апокалиптическомъ „Звѣрѣ, вышедшемъ изъ бездны“. И тотъ изъ русскихъ людей, кто по духу былъ ближе всѣхъ къ Петру, кто понялъ его глубже всѣхъ, русскій пѣвецъ Аполлона и Діониса,—Пушкинъ, не обратился-ли къ нему-же съ этимъ вопросомъ, полнымъ столь знакомаго намъ, вѣщаго ужаса:

О, мощный властелинъ судьбы,
Не такъ-ли ты уздой желѣзной

На высотѣ, надъ самой бездной
Россію вздернулъ на дыбы?

„Петровская реформа,—говоритъ Достоевскій,—продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконецъ до послѣднихъ своихъ предѣловъ. Дальше нельзя идти, да и некуда: нѣтъ дороги, *она вся пройдена*". И въ другомъ мѣстѣ—въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ писемъ: „вся Россія стоитъ на какой-то окончательной точкѣ, колеблясь надъ бездною". Не та-же ли это бездна, о которой говоритъ Пушкинъ,—надъ которой Мѣдный Всадникъ на своей обледенѣлой глыбѣ гранита вздернулъ Россію на дыбы желѣзною уздой?—Такого страшнаго ощущенія этой бездны, какъ у нашего поколѣнія, не было ни у одного изъ поколѣній со времени Петра. На Западѣ, то-есть въ Европѣ—„духъ ратный", на Востокѣ, то-есть въ Россіи—„духъ благодатный",—какъ утверждали въ Космографіяхъ московскіе книжники XVII вѣка, или, говоря языкомъ Достоевскаго—Человѣкобогъ и Богочеловѣкъ, Христосъ и Антихристъ—вотъ два противоположные берега, два края этой бездны. И горе наше или счастье въ томъ, что у насъ дѣйствительно „двѣ родины—наша Русь и Европа", и мы не можемъ отречься ни отъ одной изъ нихъ,—мы должны или погибнуть, или соединить въ себѣ оба края бездны.

Достоевскій правъ: и съ той, и съ другой стороны, и съ Восточной, и съ Западной, вся дорога пройдена, историческій путь конченъ,—дальше идти некуда; но мы знаемъ, что когда кончается исторія, начинается религія. У самаго края бездны необходимо и естественно является мысль о крыльяхъ, о полетѣ, о *сверхъ-историческомъ* пути—о религіи. Нитче, боровшійся во имя Человѣкобога съ Богочеловѣкомъ, побѣдилъ-ли Его? Достоевскій, боровшійся во имя Богочеловѣка съ Человѣкобогомъ, побѣдилъ-ли

Его?—вотъ вопросъ, отъ котораго зависитъ все будущее не только русской, но и всемірной культуры.

Когда нѣсколько лѣтъ назадъ, въ статьѣ о Пушкинѣ, я высказалъ мысль, что главная особенность его сравнительно съ другими великими европейскими поэтами заключается въ разрѣшеніи всемірныхъ противорѣчій, въ соединеніи двухъ началъ, языческаго и христіанскаго, въ еще небывалую гармонію,—меня обвинили въ томъ, что я приписываю Пушкину мои собственныя, будто-бы „нитчеанскія“ мысли хотя, кажется никакая мысль не можетъ быть противоположнѣе, враждебнѣе послѣднимъ выводамъ нитчеанства, чѣмъ именно эта мысль о соединеніи *двухъ* началъ. Больше чѣмъ, кто-либо, я чувствую, какъ недостаточны и несовершенны были слова мои, но все-таки я не могу отъ нихъ отречься.

Мои судьи, если-бы они желали быть послѣдовательны, должны-бы обвинить и Достоевскаго въ томъ, что онъ приписывалъ Пушкину свои собственныя мысли. „Именно теперь въ Европѣ,—говоритъ Достоевскій,—все поднялось одновременно, всѣ міровые вопросы разомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ *міровыя противорѣчія*“. И въ заключительныхъ словахъ своей Пушкинской рѣчи, говоря о самой сущности міросозерцанія Пушкина, какъ „непонятаго предвозвѣстителя будущей русской культуры“, онъ еще разъ возвращается къ этимъ противорѣчіямъ:

„Впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія“. Что-же это за противорѣчія? Не тѣ-ли самыя, которыми онъ только и мучился всю жизнь, о которыхъ онъ только и думалъ, и которыя въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ дневниковъ онъ высказалъ съ

такою ясностью, съ какою до него никогда никто не говорилъ о нихъ:

„Произошло столкновеніе двухъ самыхъ противоположныхъ идей, которыя только могли существовать на землѣ: Человѣкобогъ встрѣтилъ Богочеловѣка. Аполлонъ Бельведерскій—Христа“.

Но вѣдь это-же и есть то „міровое противорѣчіе“, о которомъ и я говорилъ въ статьѣ о Пушкинѣ, разрѣшенія котораго и я искалъ въ немъ. Правда, Достоевскій и здѣсь какъ будто испугавшись, не договариваетъ послѣдняго слова, не дѣлаетъ послѣдняго вывода. Но при теперешней степени *всеобщаго*, неизбѣжнаго сознанія, намъ уже нельзя останавливаться, не договаривать и не дѣлать послѣдняго шага.—Я его сдѣлалъ, и вотъ все, что я сдѣлалъ, и тому, кто нѣсколько глубже знаетъ Достоевскаго ясно будетъ, какъ это мало.

Во всякомъ случаѣ, возражая мнѣ, надо было вспомнить и о немъ, а о немъ-то и забыли такъ, какъ-будто его вовсе не было въ русской литературѣ, какъ-будто Достоевскій никогда ничего не говорилъ о Пушкинѣ, какъ-будто то, что приняли за нѣчто наносное, чуждое, болѣзненно-декадентское, „нитчеанское“,—не самое родное наше, кровное, вѣчное, русское, пушкинское, что только есть у насъ и было, и будетъ.—Я, впрочемъ, думаю, что къ этому вопросу русская критика принуждена будетъ вернуться: его не обойдешь и отъ него не спрячешься никуда: загадка Пушкина стоитъ на всѣхъ путяхъ новаго русскаго сознанія, какъ загадка Сфинкса передъ Эдипомъ.

Да, несмотря на всѣ хвалы и почести, воздаваемыя Пушкину, несмотря на всѣ изученія и толкованія, онъ для насъ—все еще загадка, и даже, кажется, чѣмъ ближе онъ къ намъ, тѣмъ неуловимѣе, неисповѣдимѣе. Пушкинъ—воздухъ, которымъ мы дышемъ, бѣлый свѣтъ, въ кото-

ромъ мы видимъ всѣ другіе цвѣта, онъ—русская мѣра всего, нашъ собственный взглядъ на все, онъ—мы сами въ нашей послѣдней, еще для насъ самихъ не открывшейся глубинѣ, и вотъ почему узнать его намъ такъ-же трудно, какъ узнать себя, и, можетъ быть, разгадать Пушкина—это именно и значитъ найти себя въ немъ.

Въ русской литературѣ нѣтъ писателей, болѣе внутренне-близкихъ и въ то-же время болѣе противоположныхъ другъ другу, чѣмъ Достоевскій и Л. Толстой. Оба они вышли изъ Пушкина. Достоевскій это сознавалъ, Л. Толстой, кажется, никогда объ этомъ не думалъ и этого не чувствовалъ, но мы вѣдь знаемъ за него, что безъ Пушкина не было-бы Л. Толстого. Онъ и Достоевскій близки и противоположны другъ другу, какъ двѣ главныя, самыя могучія вѣтви одного дерева, расходящіяся въ противоположныя стороны своими вершинами, сросшіяся въ одномъ стволѣ своими основаніями. Углубляясь и въ Льва Толстого, и въ Достоевскаго, мы доходимъ до общаго ихъ основанія—до Пушкина. Лучъ пушкинскаго бѣлаго свѣта они преломили и разложили на цвѣта радуги. Но не должно забывать, что за ихъ разнообразіемъ и противоположностью скрывается единство бѣлаго свѣта.

Изучать Л. Толстого и Достоевскаго значитъ разгадывать тайну Пушкина въ новой русской поэзіи,—ту великую тайну, о которой упомянулъ Достоевскій въ послѣднихъ, столь пророческихъ словахъ своей Пушкинской рѣчи:

„Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и, безспорно, унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ“.

Для нашего поколѣнія, увидѣвшаго оба края бездны, тайна Пушкина, тайна всей будущей русской культуры,

есть разрѣшеніе міровыхъ противорѣчій, — „столкновеніе двухъ самыхъ противоположныхъ идей, какія только могли существовать на землѣ“,—новая, можетъ быть, величайшая и послѣдняя борьба духа Восточнаго и Западнаго, „духа ратнаго и благодатнаго“, Богочеловѣка и Человѣкобога.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Л. Толстой и Достоевскій, какъ люди.

ПЕРВАЯ ГЛАВА.

У обоихъ, въ особенности у Л. Толстого, произведенія такъ связаны съ жизнью, съ личностью читателя, что нельзя говорить объ одномъ безъ другого: прежде, чѣмъ изучать Достоевскаго и Л. Толстого какъ художниковъ, мыслителей, проповѣдниковъ, надо знать, что это за люди.

Въ русскомъ обществѣ, отчасти и въ критикѣ, утвердилось мнѣніе, будто-бы въ концѣ семидесятыхъ, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ съ Л. Толстымъ произошелъ глубокій нравственный и религіозный переворотъ, который въ корнѣ измѣнилъ не только всю его личную жизнь, но и умственную, и писательскую дѣятельность, какъ-бы переломилъ его существованіе на двѣ половины: въ первой онъ—только великій писатель, можетъ быть, и великій человѣкъ, но всетаки человѣкъ отъ міра сего, съ человѣческими и даже русскими страстями, скорбями, сомнѣніями, слабостями; во второй—онъ выходитъ изъ всѣхъ условій историческаго быта и культуры; одни говорятъ, что это—христіанскій подвижникъ, другіе—безбожникъ, третьи—

Научная
Гос

фанатикъ, четвертые—мудрецъ, достигшій высшаго нравственнаго просвѣтленія, какъ Сократъ, Будда, Конфуцій,—основатель новой религіи.

Самъ Л. Толстой въ „Исповѣди“, написанной въ 1879 году, подтверждаетъ и какъ-бы даже подчеркиваетъ единственность, безповоротность и окончательность этого религіознаго перерожденія:

„Пять лѣтъ тому назадъ со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать.—Эти остановки жизни всегда выражались одинакими вопросами: зачѣмъ? Ну, а потомъ?—Я будто жилъ-жилъ, шелъ-шелъ, и пришелъ къ пропасти; я ясно увидалъ, что впереди ничего нѣтъ кромѣ погибели.—Я всѣми силами стремился прочь отъ жизни.—И вотъ я, счастливый человѣкъ, пряталъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься на перекладинѣ между шкапами въ своей комнатѣ, гдѣ я каждый вечеръ бывалъ одинъ, раздѣваясь, и пересталъ ходить съ ружьемъ на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни“.

Отъ этого отчаянія отъ самоубійства, спасло его—какъ онъ полагаетъ—сближеніе съ простыми вѣрующими людьми, съ рабочимъ народомъ:

„Я жилъ такъ, т.-е. въ общеніи съ народомъ, года два, и со мной случился переворотъ. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга—богатыхъ ученыхъ—не только опротивѣла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, наука, искуство—все это предстало мнѣ въ новомъ значеніи. Я понялъ, что все это—одно баловство, что искать смысла въ этомъ нельзя“.

„Я возненавидѣлъ себя и я призналъ истину. Теперь мнѣ все ясно стало“.

Самый безхитростный, а потому и самый драгоцѣнный, достойный наибольшаго довѣрія изъ жизнеописателей Л. Толстого, братъ его жены, С. А. Берсъ, въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ тоже говоритъ объ этомъ „переворотѣ“ 80-хъ годовъ, который будто-бы „измѣнилъ всю умственную дѣятельность и внѣшнюю жизнь Льва Николаевича“.

„Перемѣна всей его личности, происшедшая за послѣднее десятилѣтіе, въ настоящемъ смыслѣ *полная* и *коренная*. Измѣнилась не только его жизнь и отношеніе ко всѣмъ людямъ и ко всему живому, но измѣнилась и вся мыслительная его дѣятельность. *Весь Левъ Николаевичъ сдѣлался олицетворенною идеею любви къ ближнему*“.

Столь-же опредѣленно свидѣтельство жены его, графини Софьи Андреевны Толстой:

„Если-бы ты зналъ и слышалъ теперь Левочку!—писала она брату въ началѣ 1881 года.—Онъ много измѣнился. Онъ сталъ христіанинъ и самый искренній и твердый“.

Трудно было-бы усомниться въ столь сильныхъ и достовѣрныхъ свидѣтельствахъ, если-бы у насъ не было источника еще болѣе достовѣрнаго—собственныхъ художественныхъ произведеній Л. Толстого, которыя въ сущности, отъ перваго до послѣдняго, не что иное, какъ одинъ огромный пятидесятилѣтній дневникъ, одна безконечноподробная „исповѣдь“. Въ литературѣ всѣхъ вѣковъ и народовъ едва-ли найдется другой писатель, который, обнажалъ-бы самую частную, личную, иногда щекотливую сторону жизни своей съ такою великодушною или беззастѣнчивою откровенностью, какъ Толстой. Онъ, кажется, сказалъ намъ о себѣ все, что только имѣлъ сказать, и мы о немъ знаемъ все, что онъ самъ знаетъ о себѣ.

Къ этой-то художественной и, слѣдовательно, непреднамѣренной, непроизвольной исповѣди нельзя не обратиться, рѣшая вопросъ о дѣйствительномъ значеніи рели-

гіознаго переворота, происшедшаго въ немъ въ пятидесятые, то-есть уже въ предстарческіе годы его жизни.

Въ первомъ произведеніи своемъ, въ „Дѣтствѣ, Отрочествѣ и Юности“,—книгѣ, написанной двадцатилѣтнимъ юношей, разсказываетъ онъ свои еще свѣжія воспоминанія изъ четырнадцати или пятнадцатилѣтняго возраста.

„Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь, всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представились мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигать умъ человѣка“.

Однажды весеннимъ утромъ, помогая слугѣ выставлять рамы на окнахъ, почувствовалъ онъ внезапную радость и умиленіе христіанскаго самопожертвованія:

„Мнѣ хотѣлось измучиться, оказывая эту услугу Николаю.—„Какъ дуренъ я былъ прежде, какъ я могъ-бы и могу быть хорошъ и счастливъ въ будущемъ!“—говорилъ я самъ себѣ;—„надо скорѣй, скорѣй, сію-же минуту сдѣлаться другимъ человѣкомъ и начать жить иначе“.

Исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія—стало ему казаться „удобоисполнимою вещью“. И онъ рѣшилъ „написать себѣ на всю жизнь расписаніе своихъ обязанностей и занятій, изложить на бумагѣ цѣль своей жизни и правила, по которымъ всегда уже, не отступая, дѣйствовать“. Онъ тотчасъ пошелъ къ себѣ наверхъ, досталъ листъ писчей бумаги, разлиновалъ ее и, раздѣливъ обязанности къ самому себѣ, къ ближнимъ и къ Богу, началъ записывать.

Съ грустною, почти жуткою и все-таки слишкомъ поверхностною насмѣшкою, какъ будто не подозрѣвая всей

глубины и болѣзненности того, что съ нимъ происходило, разсказываетъ онъ свои тогдашнія, по выраженію апостола Іакова, „*двоящіяся*“ мысли. Получается странное впечатлѣніе; какъ-будто въ немъ два сердца, два человѣка. Одинъ, вслѣдствіе христіанскихъ мыслей о смерти, чтобы пріучить себя къ страданію, „несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя по голой спинѣ такъ больно“, что слезы невольно выступали на глазахъ; другой, вслѣдствіе тѣхъ-же мыслей о смерти, вспомнивъ вдругъ, что смерть ожидаетъ его каждый часъ, каждую минуту, рѣшалъ бросить уроки и дня три „занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые покупалъ на послѣдніе гроши“. Одинъ Левъ Толстой, сознательный, добрый и слабый, смиряется, кается, питаетъ отвращеніе къ себѣ, къ своей порочности; другой — безсознательный, злой и сильный, „воображаетъ себя великимъ человѣкомъ, открывающимъ для блага всего человѣчества новыя истины и съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства смотритъ на остальныхъ смертныхъ“, находя особое, утонченное, какъ-бы сладострастное наслажденіе гордости даже въ отвращеніи къ себѣ, самоуничиженіи, самобичеваніи.

Разсказывая объ этихъ отроческихъ мысляхъ своихъ приходитъ онъ къ заключенію, что въ основѣ ихъ было четыре чувства: первое—„любовь къ воображаемой женщинѣ, то-есть сладострастіе плоти; второе—„любовь любви“ людской, то-есть гордость, сладострастіе духа; третье—„надежда на необыкновенное тщеславное счастіе, такая сильная и твердая, что она переходила въ сумасшествіе“; четвертое—отвращеніе къ самому себѣ и раскаяніе.

Но, въ сущности, это—не четыре, а только два чувства, ибо первыя три соединяются въ одно—въ любовь къ себѣ, къ своему *тѣлу*, къ своей *тѣлесной* жизни или къ своему *Я*; второе—отвращеніе, ненависть къ себѣ,—не любовь къ другимъ или къ Богу, а именно *только* ненависть къ себѣ. И здѣсь, и тамъ первая основа и соединеніе двухъ столь, повидимому, противоположныхъ чувствъ есть *Я* или до крайней степени утверждаемое, или до крайней степени отрицаемое. Все начинается и все кончается въ *Я*: ни любовь, ни ненависть не могутъ разорвать этого круга.

И вотъ вопросъ; какой-же изъ двухъ перемежающихся, сливающихся Львовъ Николаевичей Толстыхъ—наиболѣе истинный искренній, вѣчный: тотъ-ли, кто стегаетъ себя по голой спинѣ аскетическою веревкой, или тотъ, кто ѣстъ эпикурейскіе пряники съ кроновскимъ медомъ, баюкая себя мыслью о смерти, о томъ, что все подъ солнцемъ суета суетъ и томленіе духа, что лучше псу живому, нежели мертвому льву? Тотъ-ли, кто любитъ, или тотъ, кто ненавидитъ себя? Кто всѣ свои мысли, чувства, желанія начинаетъ по христіански, или—кто кончаетъ ихъ по-языčески? Или, можетъ быть, наконецъ,—и это было бы для него самое страшное,—оба они одинаково искренніе, одинаково истинные, одинаково вѣчные?

Во всякомъ случаѣ, онъ судитъ себя и свои отроческія мысли, которыя называетъ своими „умствованіями“, съ такою строгостью и честностью въ этомъ первомъ произведеніи, съ какими впослѣдствіи уже никогда не судилъ себя даже на знаменитыхъ, столь жгуче-покаянныхъ и самобичующихъ страницахъ „Исповѣди“.

„Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность раз-

судка.—Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивая себя: о чемъ я думаю?—я отвѣчалъ: Я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? Я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю, и такъ далѣе. Умъ за разумъ заходилъ".

По поводу первой неудачи съ „Правилами жизни", когда, желая разлиновать бумагу и употребивъ вмѣсто не нашедшейся линейки латинскій лексиконъ, онъ размазалъ чернила въ продолговатую лужу, съ грустью замѣчаетъ онъ:

„Зачѣмъ все такъ прекрасно, ясно у меня въ душѣ и такъ безобразно выходитъ на бумагѣ и вообще въ жизни, когда я хочу примѣнять къ ней что-нибудь изъ того, что думаю?"

Но, можетъ быть, это—лишь безпомощность дѣтскаго ума и дѣтской совѣсти, которая пройдетъ съ годами, когда явится полное сознаніе и возмужалость духа?—Едва-ли такъ. По крайней мѣрѣ онъ уже и тогда, какъ писалъ „Дѣтство и Отрочество" двадцатичетырехлѣтнимъ юношей, сознавалъ, что эта дѣтскость его не зависитъ отъ возраста, и что неизгладимый слѣдъ ея останется въ немъ на всю жизнь:

„Я убѣжденъ въ томъ, что, если мнѣ суждено прожить до глубокой старости, и разсказъ мой догонитъ мой возрастъ, я старикомъ семидесяти лѣтъ буду точно такъ-же невозможно ребячески мечтать, какъ и теперь".

Въ этихъ простыхъ и спокойныхъ словахъ не больше ли христіанскаго смиренія,—если ужъ вообще говорить о христіанскомъ смиреніи Л. Толстого,—чѣмъ во всѣхъ его

послѣдующихъ, столь громкихъ и страстныхъ, покаянныхъ исповѣдяхъ? Не легче ли сказать о себѣ, предъ лицомъ всего міра, какъ онъ впослѣдствіи говорилъ: „я—паразитъ, я—вошь, я блудникъ, воръ и убійца“, чѣмъ въ тишинѣ совѣсти признать дѣйствительную мѣру силъ своихъ: я до сихъ поръ такой-же ребенокъ въ моихъ старческихъ мысляхъ, какъ и въ моихъ отроческихъ умствованіяхъ; не смотря на всю безпредѣльную силу заключеннаго во мнѣ художественнаго генія, я—въ моихъ исканіяхъ Бога—не вождь, не пророкъ, не основатель новой религіи, а такой-же слабый, заблудившійся, болѣзненно раздвоенный человѣкъ, какъ всѣ люди моего времени.

„Утро Помѣщика“—въ хронологическомъ порядкѣ произведеній Л. Толстого, который вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительному порядку жизни его, есть какъ-бы слѣдующая глава, продолженіе огромнаго дневника его. Князь Дмитрій Нехлюдовъ—никто иной, какъ Николай Иртеньевъ, герой „Дѣтства, Отрочества и Юности“, вышедшій изъ университета, гдѣ, не окончивъ курса, онъ понялъ тщету всѣхъ человѣческихъ знаній, и поселившійся въ деревнѣ помѣщикомъ, чтобы помогать простому народу. Въ Нехлюдовѣ совершается такой-же нравственно-религіозный переворотъ, какъ въ Иртеньевѣ:

„...Глупость все то, что я зналъ, чему вѣрилъ и что любилъ,—говоритъ онъ самъ себѣ.—Любовь, самопожертвованіе—вотъ одно истинное, независимое отъ случая счастіе“.

Дѣйствительность, однако, не удовлетворяетъ его. „Гдѣ эти мечты?—думаетъ онъ.—Вотъ уже больше года, что я ищу счастія на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собою, но это какое-то *сухое, разумное довольство*“.

Нехлюдовъ убѣждается, что, несмотря на все свое желаніе, онъ не умѣетъ дѣлать добро людямъ. И мужики

выказываютъ недовѣріе къ христіанскимъ чувствамъ барина. Единственный выводъ изъ этого неудачнаго и въ сущности ребяческаго опыта соединить помѣщичьи добродѣтели съ евангельскими—болѣзненно-безплодная зависть къ молодому крестьянину Илюшкѣ,—даже не къ духовной, а только къ тѣлесной силѣ его, здоровью, свѣжести, безмятежному сну его мысли и совѣсти.

Изъ жизнеописанія Толстого мы знаемъ, что послѣ неудачнаго нехлюдовскаго опыта съ ясно-полянскими мужиками, разочаровавшись въ своихъ помѣщичьихъ способностяхъ, онъ покинулъ деревню и уѣхалъ на Кавказъ, гдѣ поступилъ юнкеромъ въ артиллерію, увлекаемый романтическими мечтами о военной славѣ и о прелестяхъ первобытной жизни горцевъ,—подобно герою „Казаковъ", Оленину.

Такъ-же, какъ Иртеньевъ и Нехлюдовъ, Оленинъ сознаетъ себя безгранично-свободнымъ. Это особенная русская свобода молодого богатаго барина сороковыхъ годовъ, для котораго нѣтъ никакихъ „ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ. *Онъ любилъ* до сихъ поръ *только себя одного* и не могъ не любить, потому что ждалъ отъ себя одного хорошаго и не успѣлъ еще разочароваться въ самомъ себѣ".

Но хотя онъ ни во что не вѣритъ и ничего не признаетъ, хотя онъ любитъ только себя простодушною, дѣтски-циническою любовью этотъ недоучившійся студентъ, юнкеръ артиллеріи уже противополагаетъ свои „философскія открытія", свое опрощеніе среди станичныхъ казаковъ—культурной жизни всего человѣчества.

„Ему ясно казалась та ложь, въ которой онъ жилъ

прежде и которая уже и тамъ возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смѣшна".

„Какъ вы мнѣ гадки и жалки!—пишетъ онъ своимъ московскимъ пріятелямъ—вы не знаете, что такое счастіе и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой: вѣчные, неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ правдѣ или во лжи, вы или я. Коли-бы вы знали, какъ мнѣ мерзки жалки—вы въ вашемъ обольщеніи!"

„Люди живутъ, какъ живетъ природа: умираютъ, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются и опять умираютъ, и никакихъ условій, кромѣ тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ... Счастье—это быть съ природой".

Эту первобытную мудрость воплощаетъ дѣйствительный герой повѣсти, старый казакъ дядя Ерошка, одно изъ величайшихъ и совершеннѣйшихъ созданій Л. Толстого, которое даетъ возможность заглянуть въ самую темную, тайную, его собственному сознанію, можетъ быть, никогда не открывавшуюся, глубину существа его. Здѣсь въ первый и, кажется, въ послѣдній разъ съ художественно-законченною, почти сознательною ясностью выступаетъ одно изъ двухъ лицъ, вѣчно спорящихъ въ немъ: лицо, всегда дѣйствующее, но мало говорящее о себѣ и еще менѣе себя сознающее. Столь знакомое, и все-таки незнакомое, до сихъ поръ не разгаданное, не освѣщенное лицо самого Л. Толстого какъ будто сквозитъ и мелькаетъ въ лицѣ этого исполина съ дѣтскими глазами, со старческими,

могучими, трудовыми морщинами, съ юношескими мышцами, съ крѣпкимъ смѣшаннымъ запахомъ чихиря, водки, пороха и запекшейся крови,—въ лицѣ дяди Ерошки.

Жизнь его такъ-же, какъ жизнь полудикихъ чеченцевъ, наполнена „любовью къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ". Онъ самъ говоритъ о себѣ съ простодушною гордостью: „я—молодецъ, пьяница, воръ, охотникъ... Я человѣкъ веселый, я всѣхъ люблю, я—Ерошка"!

Это—безсознательный русскій философъ-циникъ. Онъ чувствуетъ себя столь-же безгранично-свободнымъ, какъ и русскій баринъ Оленинъ. Такъ-же ничего не признаетъ и ни во что не вѣритъ. Живетъ внѣ человѣческихъ законовъ, внѣ зла и добра. Татарскіе муллы и русскіе старовѣры-уставщики возбуждаютъ въ немъ одинаково-спокойную и презрительную насмѣшку:

„По-моему все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. *Ни въ чемъ грѣха нѣтъ.* Хоть съ звѣря примѣръ возьми. Онъ и въ татарскомъ камышѣ, и въ нашемъ живетъ. Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А наши говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь. Сдохнешь,—трава вырастетъ, вотъ и все".

У него древняя, дочеловѣческая мудрость, бездонно-ясная и въ то же время темная душа лѣсного полубога-полузвѣря,—фавна или сатира. Онъ умѣетъ быть по-своему добрымъ и нѣжнымъ. Любитъ все живое, всякую Божью тварь. И эта любовь какъ будто напоминаетъ христіанство, можетъ быть, потому, что въ послѣдней, безсознательной глубинѣ язычества есть начало будущаго поворота къ христіанству, оргійное начало Діониса—самоотреченія, самоуничтоженія, сліянія человѣка съ богомъ Паномъ, Отцомъ всего сущаго. Не слѣдуетъ однако забывать не только исторической, но и психологической

пропасти, отдѣляющей это первое, дикое и, если можно такъ выразиться, *языческое христіанство* отъ второго культурнаго христіанскаго сознанія. Если они и соприкасаются, то лишь такъ, какъ самыя противоположныя крайности иногда соприкасаются.

Дядя Ерошка отгоняетъ ночныхъ бабочекъ, которыя вьются надъ колыхающимся огнемъ свѣчи и попадаютъ въ него.

— „Дура, дура! Куда летишь? Дура! Дура"!

„Онъ приподнялся и своими толстыми пальцами сталъ отгонять бабочекъ".

Не напоминаетъ ли въ эту минуту кроткая улыбка дяди Ерошки улыбку св. Франциска Ассизскаго?—И отъ него-же пахнетъ запекшейся кровью, можетъ быть, не только звѣриною, но и человѣческою, потому что на совѣсти стараго „вора"—не одно убійство. Какъ природа, онъ и милосердъ, и жестокъ въ одно и то-же время. Онъ самъ не чувствуетъ и не понимаетъ этого противорѣчія. То, что впослѣдствіи раздѣлится на зло и добро, въ немъ еще слито въ первобытномъ единствѣ, въ безсознательной гармоніи.

И Оленинъ въ своемъ собственномъ сердцѣ, столь тщетно желающемъ обратиться въ христіанство, находитъ родственный откликъ этой цинической мудрости дяди Ерошки.—Въ тишинѣ бездыханнаго полдня, въ чащѣ южнаго лѣса, среди грознаго избытка жизни, онъ вдругъ познаетъ нехристіанское отреченіе отъ себя, полузвѣрское, полубожеское сліяніе съ природой,—священную дикую мудрость фавновъ и сатировъ, кажущуюся людямъ безуміемъ, полную восторгомъ и ужасомъ, который древніе называли ужасомъ бога, Пана *бога Всего*.

„И вдругъ на Оленина нашло такое странное чувство безпричиннаго счастія въ любви ко *всему*, что онъ, по

старой дѣтской привычкѣ, сталъ креститься и благодарить *кого-то*".—Прислушиваясь къ жужжанію комаровъ, Олениннъ думаетъ: „Каждый изъ нихъ такой-же особенный Дмитрій Олениннъ, какъ и я самъ".—„И ему ясно стало, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а просто такой-же комаръ, или такой-же фазанъ, или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него: — „Такъ-же, какъ они, какъ дядя Ерошка, поживу, умру. И правду онъ говоритъ: только трава вырастетъ".

Но и въ немъ два человѣка; и этотъ второй, Олениннъ, подобно Иртеньеву и Нехлюдову, твердитъ все одно и то же: „любовь, самоотверженіе! Не стоитъ жить для себя, надо жить для другихъ". И онъ пытается примирить нечеловѣческую мудрость лѣшихъ и сатировъ съ умѣренными, полезными и разумными „христіанскими" добродѣтелями. Онъ жертвуетъ своею любовью къ Марьянѣ казаку Лукашкѣ. Но ничего изъ этого не выходитъ такъ же, какъ изъ иртеньевскихъ „правилъ жизни", изъ нехлюдовскаго помѣщичьяго христіанства.

„Я не виноватъ, что полюбилъ,—вырывается у него въ минуту отчаянія поразительное признаніе,—я спасался отъ своей любви въ самоотверженіи, я выдумалъ себѣ радость въ любви казака Лукашки съ Марьянкой и только раздражалъ свою любовь и ревность... Я не имѣю своей воли, а чрезъ меня любитъ ее какая-то стихійная сила, весь міръ Божій, вся природа вдавливаетъ любовь эту въ мою душу и говоритъ: люби.—Я писалъ прежде о своихъ новыхъ (то-есть христіанскихъ) убѣжденіяхъ. Никто не можетъ знать, какимъ трудомъ выработались они во мнѣ, съ какою радостью созналъ я ихъ и увидалъ новый открытый путь въ жизни. Дороже этихъ убѣжденій ничего во мнѣ не было. Ну... пришла любовь, и ихъ нѣтъ теперь, нѣтъ

и сожалѣнія о нихъ! Даже понять, что я могъ дорожить *такимъ одностороннимъ, холоднымъ, умственнымъ настроеніемъ*, для меня трудно. Пришла красота и въ прахъ разсѣяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожалѣнія нѣтъ объ исчезнувшемъ! Самоотверженіе—все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастія, спасеніе отъ зависти къ чужому счастію. Жить для другихъ, дѣлать добро! Зачѣмъ? Когда въ душѣ моей *одна любовь къ себѣ*".

Одна любовь къ себѣ—этимъ все начинается и все кончается. Любовь или ненависть къ себѣ, только къ себѣ—вотъ двѣ главныя, единственныя, то скрытыя, то явныя оси, на которыхъ все вертится, все движется въ первыхъ, можетъ быть, самыхъ искреннихъ произведеніяхъ Л. Толстого.

Да и въ первыхъ-ли только?

ВТОРАЯ ГЛАВА.

Юнкеръ Оленинъ мечтаетъ о флигель-адъютантствѣ. Мы знаемъ, что юнкеръ артиллеріи, гр. Л. Н. Толстой, также мечталъ о флигель-адъютантствѣ и георгіевскомъ крестѣ. „Во время службы на Кавказѣ, — разсказываетъ Берсъ, — Левъ Николаевичъ страстно желалъ получить георгіевскій крестъ". При открытіи Крымской кампаніи онъ былъ сначала подъ Силистріей, потомъ перешелъ въ Севастополь, гдѣ пробылъ подъ огнемъ трое сутокъ на четвертомъ бастіонѣ и участвовалъ въ штурмѣ, выказывая большую храбрость.

Это свое тогдашнее военное честолюбіе выразилъ онъ впослѣдствіи, съ обычною откровенностью, въ тайныхъ мысляхъ одного изъ своихъ любимыхъ героевъ, князя Андрея Болконскаго въ „Войнѣ и Мирѣ", который мечтаетъ сдѣлаться русскимъ Наполеономъ.

„Если я хочу этого, хочу славы,—говоритъ себѣ князь Андрей передъ Аустерлицкимъ сраженіемъ, — хочу быть извѣстнымъ людямъ, хочу быть любимымъ ими, то вѣдь я не виновать, что хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. *Я никогда никому не скажу этого*, но, Боже мой! что-же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мнѣ не страшно. И какъ ни дороги,

ни милы мнѣ многіе люди: отецъ, сестра, жена—самые дорогіе мнѣ люди, но какъ ни страшно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей".

Левъ Николаевичъ былъ уже представленъ къ столь страстно имъ желаемому георгіевскому кресту, но не получилъ его—какъ увѣряетъ Берсъ — „вслѣдствіе личнаго нерасположенія одного изъ начальниковъ". Эта неудача сильно опечалила его, но вмѣстѣ съ тѣмъ „измѣнила его взглядъ на храбрость",—со своимъ неизмѣннымъ простодушіемъ увѣряетъ Берсъ. Ему-же признался однажды Левъ Николаевичъ „въ своей гордости и тщеславіи: когда послѣ неудачъ въ молодости, то-есть военныхъ, онъ пріобрѣлъ громкую славу писателя, онъ высказалъ мнѣ, что эта слава—величайшая радость и большое счастіе для него. По его собственнымъ словамъ, въ немъ было пріятное сознаніе того, что онъ—писатель и аристократъ". Иногда съ усмѣшкой говорилъ онъ, что „не заслужилъ генерала отъ артиллеріи, за то сдѣлался генераломъ отъ литературы".

Едва-ли нѣкоторая грубость и беззастѣнчивость этого признанія принадлежитъ Толстому; по всей вѣроятности, даже въ шуткѣ, съ глазу на глазъ, сумѣлъ онъ выразиться тоньше и стыдливѣе. Но, съ другой стороны, надо видѣть всю глубину наивнаго, такъ сказать, безпомощнаго благоговѣнія Берса передъ великимъ родственникомъ, чтобы чувствовать, что на какую-нибудь злую и остроумную выдумку онъ совершенно неспособенъ. Онъ пишетъ свое *житіе* Л. Толстого въ простотѣ сердца, какъ создатели древнихъ легендъ, хотя, правда, простота Берса для его героя—иногда хуже воровства, зато для изслѣдователя, можетъ быть, лучше всякаго ума.

Какъ-бы то ни было, разочаровавшись въ войнѣ и въ военной храбрости, которой впослѣдствіи онъ такъ

безсмертно и безпощадно отомстилъ въ своихъ произведеніяхъ, вышелъ онъ въ отставку поручикомъ артиллеріи и уѣхалъ сначала въ Петербургъ, потомъ заграницу. „Петербургъ,—замѣчаетъ Берсъ,—ему никогда не нравился. Онъ не могъ ничѣмъ выдвигаться въ высшемъ кругу Петербурга: служебной карьеры, разумѣется, не домогался, большимъ состояніемъ не владѣлъ, а громкой славы писателя тогда еще не составилось".

Вернувшись изъ-за границы въ годъ освобожденія крестьянъ, Толстой занялся мировымъ посредничествомъ и сельскою школою въ Ясной Полянѣ. Одно время думалъ онъ отдать всю жизнь этой дѣятельности и окончательно успокоиться на ней. Но мало по-малу разочаровался и въ школѣ такъ-же, какъ во всѣхъ своихъ прежнихъ попыткахъ дѣлать людямъ добро. И дошелъ, наконецъ, до того, что увидѣлъ нѣчто „преступное"—какъ онъ самъ выражается—въ своемъ отношеніи къ дѣтямъ:

„Мнѣ казалось, что я развратилъ чистую, первобытную душу крестьянскаго ребенка. Я смутно чувствовалъ въ себѣ раскаяніе въ какомъ-то святотатствѣ. Мнѣ вспоминались дѣти, которыхъ праздные и развратные старики заставляютъ ломаться и представлять сладострастныя картины для разжиганія своего усталаго, истасканнаго воображенія".

Показаніе, какъ всегда у него, хотя искреннее, но безудержное и болѣзненно-чрезмѣрное. Изъ его тогдашнихъ школьныхъ дневниковъ одно лишь ясно, что онъ дѣйствительно заботился не столько о дѣтяхъ, сколько о себѣ самомъ. Заставляя Ѳедьку и Сеньку писать сочиненія, которыя потомъ въ своемъ педагогическомъ журналѣ объявлялъ болѣе совершенными, чѣмъ произведенія Л. Толстого, Пушкина, Гете, онъ дѣлалъ на душахъ дѣтей, можетъ быть, слишкомъ для себя отвѣтственные и для нихъ

небезопасные опыты со своею собственною душою. Онъ любовался,—вѣчный Нарциссъ,—своимъ отраженіемъ въ дѣтскихъ душахъ, какъ въ зеркалѣ глубокаго и дѣвственнаго родника. Онъ любилъ и въ дѣтяхъ,—этотъ, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ роковой для нихъ и страшный учитель,—только себя, себя одного.

„Дѣло, казалось, шло хорошо,—признается онъ въ „Исповѣди“,—но я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ, и долго это не можетъ продолжиться“.

Въ немъ уже опять готовился нравственный переворотъ. „Я заболѣлъ,—говоритъ онъ,—болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ, пить кумысъ и жить животною жизнью“.

Вернувшись, онъ женился на Софьѣ Андреевнѣ Берсъ.

Всѣ прежнія попытки устроиться въ жизни—нехлюдовская помѣщичья благотворительность, опрощеніе въ казачьей станицѣ, война, школа—были только любительствомъ, дилетантизмомъ, въ самомъ широкомъ, старинномъ смыслѣ этого слова—*„охотою“*, ибо во всю свою жизнь онъ, подобно дядѣ Ерошкѣ, прежде всего—великій, безконечно-разнообразный *охотникъ*.

Но женитьба это уже не охота, не игра, а первое въ жизни его важное, все обновляющее и все преобразующее, святое и страшное для него дѣло, которому онъ не только хочетъ отдаться, но дѣйствительно отдается.

Ему тридцать четыре года, ей восемнадцать. Тотчасъ послѣ свадьбы уѣхали они въ Ясную Поляну и провели въ ней почти безвыѣздно около двадцати лѣтъ, въ совершенномъ уединеніи, никогда не скучая, ни въ комъ не нуждаясь. Это—лучшіе годы Л. Толстого, въ которые онъ создалъ „Войну и Миръ“ и „Анну Каренину“,— высшій подъемъ и расцвѣтъ его силъ.—Любовь ея къ мужу безгранична,—пишетъ братъ Софьи Андреевны, — близость,

дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцомъ и идеаломъ супружескаго счастія. Недаромъ говорили ея родители: „Сонѣ лучшаго счастья пожелать нельзя!“

Мы видимъ въ „Воспоминаніяхъ“ Фета эту Наташу или Китти, одинъ изъ самыхъ безупречныхъ и законченныхъ женскихъ образовъ помѣщичьей русской культуры,—„всю въ бѣломъ, съ огромною связкою тяжелыхъ ключей за поясомъ“,—простую, тихую, всегда веселую и большею частью беременную, потому что у нея тринадцать человѣкъ дѣтей. „Она семь разъ переписала „Войну и Миръ“, и одновременно съ этимъ трудомъ—говоритъ Берсъ—и съ заботами хозяйки дома, доходившими до подробностей въ кухнѣ, она сама успѣвала кормить, учить и обшивать дѣтей до десятилѣтняго возраста“. Когда родилась у нихъ вторая дочь, и мать заболѣла, такъ что была при смерти и послѣ нѣсколькихъ попытокъ все-таки не могла кормить,—увидавъ, что дочь ея кормитъ другая женщина, она плакала отъ ревности къ ней, тотчасъ удалила кормилицу, и ребенокъ былъ вскормленъ на рожкѣ. „Левъ Николаевичъ находилъ эту ревность естественною и восхищался чадолюбіемъ жены“.

Чадолюбіе, чадородіе—здѣсь не кажутся слишкомъ торжественными эти ветхозавѣтныя слова, напоминающія древнихъ библейскихъ патріарховъ Авраама, Исаака и Іакова, которые получили завѣтъ отъ Бога Израиля: плодитесь, множитесь и наполняйте землю. Что-бы ни думали мы о семейномъ счастіи Л. Толстого, нельзя не согласиться, что есть въ этомъ нѣчто цѣлое, твердое, стройное, если не совершенное, то, по крайней мѣрѣ, завершенное, а слѣдовательно прекрасное, какъ сказалъ-бы народъ—*благолѣпное*, то-есть именно самое рѣдкое въ теперешней русской жизни,—ни живой, ни мертвой, окончательно

не разрушенной, а только изъѣденной, обезображенной, какъ постыдною болѣзнью, разлагающимъ семью карамазовскимъ ядомъ.

Мы, слабые, дерзкіе, слишкомъ жадно устремленные къ будущему, привыкли мало цѣнить законченныя формы прошлаго, это „благолѣпіе“, „благообразіе“, эти цѣпкіе, животно-растительные корни всякой человѣческой культуры, глубоко уходящіе въ подземную, родную, живую, животную темноту и теплоту, которыми однако только и питается и, наперекоръ всякимъ „сѣрымъ теоріямъ“, вѣчно зеленѣетъ „златое дерево жизни“. Намъ кажутся цинически-грубыми и мѣщанскими эти, можетъ быть, только слишкомъ откровенныя слова Николая Ростова въ эпилогѣ „Войны и Мира“.

„Все это поэзія и бабьи сказки—все это благо ближняго. Мнѣ нужно, чтобы наши дѣти не пошли по-міру; мнѣ надо устроить наше состояніе, пока я живъ; вотъ и все“.

Пьеръ Безуховъ смотритъ свысока на Николая Ростова, воображая, будто-бы призванъ, посредствомъ своихъ „умствованій“, „дать новое направленіе всему русскому обществу и всему міру“. И Левинъ, подобно маленькому Иртеньеву, считаетъ спасеніе человѣчества „удобоисполнимою вещью“. Занимаясь устройствомъ хозяйства, то-есть тѣмъ-же, въ сущности, что Николай Ростовъ называетъ откровеннѣе „устройствомъ своего состоянія“, Левинъ разсуждаетъ: „это дѣло не мое личное, а тутъ вопросъ объ общемъ благѣ. Все хозяйство, главное положеніе всего народа совершенно должно измѣниться. Вмѣсто бѣдности—общее богатство, вмѣсто вражды—согласіе.—Однимъ словомъ, революція безкровная, но величайшая революція, сначала въ маленькомъ кругу нашего уѣзда, потомъ губерніи, Россіи, всего міра“. А все-таки и Левинъ, и Пьеръ Безуховъ, хотя не говорятъ, но дѣй-

ствуютъ и живутъ именно такъ, какъ говоритъ Николай Ростовъ. И въ „Исповѣди“ Л. Толстой разоблачаетъ, съ особенною толстовскою, ростовскою и левинскою откровенностью, эту послѣднюю циническую тайну своихъ излюбленныхъ героевъ:

„Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію подмѣнилось уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше“.

Онъ даже увѣряетъ, будто-бы и „писательству предавался“ въ это время, то-есть во время созданія „Войны и Мира“ и „Анны Карениной“, исключительно „какъ средству для улучшенія своего матеріальнаго положенія“, поучая тому, что для него „было единой истиной,—что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше“.

Возвращаясь домой съ охоты или изъ краткихъ, невольныхъ дѣловыхъ поѣздокъ, — разсказываетъ Берсъ,— онъ каждый разъ выражалъ свое волненіе такъ: „только бы дома все было благополучно!“

Это—не мѣщанство; это—неизмѣримо глубже и первобытнѣе; это—вѣчный голосъ природы, неодолимое чутье жизни, которое заставляетъ звѣря устраивать логово, птицу—гнѣздо и человѣка—зажигать огонь семейнаго очага.

„Я двѣ недѣли женатъ,—пишетъ онъ Фету,—и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ... Теперь какъ писать? Теперь незримыя, даже зримыя усилія, и притомъ я въ хозяйствѣ опять прямо по-уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ,—она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и винокурня“.

Онъ хлопочетъ о покупкѣ яснополянскаго и пензенскаго имѣнія и 6000 десятинъ самарскаго имѣнія, гдѣ устраиваетъ конный заводъ; накупаетъ около сотни башкирскихъ матокъ и, разсчитывая на обиліе молока, скрещиваетъ ихъ съ рысистой, верховой, англійской и другими породами. Старая яснополянская ключница разсказываетъ о страстномъ его увлеченіи особою породою свиней, необыкновенно жирныхъ, голыхъ безъ щетины, на коротких ногахъ: „въ особенности онъ любовался на своихъ свиней, которыхъ держалъ до трехсотъ штукъ, сидѣвшихъ парами въ отдѣльныхъ небольшихъ хлѣвушкахъ. Здѣсь графъ не терпѣлъ ни малѣйшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать ихъ всѣхъ, вытирать полъ и стѣны хлѣвушекъ; тогда, проходя по свинятнѣ утромъ, графъ бывалъ очень доволенъ и громко приговаривалъ: „какое хозяйство! какое хорошее хозяйство!“ За то избави Богъ, если онъ замѣтитъ хоть малѣйшую грязь: сейчасъ разсердится, раскричится. Графъ былъ очень горячій баринъ“.

Анна Сейронъ, бывшая гувернанткою въ домѣ Толстыхъ, въ замѣткахъ своихъ („Шесть лѣтъ въ домѣ гр. Л. Н. Толстого“, СПБ. 1895), кажется, желающихъ быть ехидными, на самомъ дѣлѣ довольно легкомысленныхъ и плоскихъ, говоритъ съ насмѣшкою, что за этими знаменитыми поросятами „ухаживали, какъ за дѣтьми“ Шутка едва-ли удачна. И что изъ того, ежели добрый хозяинъ находилъ время заботиться и о своихъ дѣтяхъ, окруженныхъ, впрочемъ, какъ мы знаемъ, швейцарскими боннами, нѣмками, англичанками,—и о своихъ поросятахъ? Тутъ нѣтъ высокаго и низкаго, благороднаго и презрѣннаго, тутъ, въ хозяйствѣ, какъ въ живомъ тѣлѣ,—все цѣльно и стройно, одно къ одному, одно для другого,—люди, животныя, растенія.

И пусть даже, подобно Левину, заботясь о своемъ темномъ и тепломъ логовѣ, занимаясь своими поросятами, утѣшалъ онъ себя мыслью, будто-бы заботится о благѣ человѣчества, и что это есть „революція безкровная, но величайшая, сначала въ маленькомъ кругѣ уѣзда, потомъ губерніи, Россіи, всего міра“,—на самомъ дѣлѣ онъ вѣдь только слѣдовалъ глубокому и вѣрному чутью животной жизни: и свиные хлѣвушки, и дѣтская, и конный заводъ, и пчельникъ, и винокурня, и конторскія книги Софьи Андреевны,—всѣ эти „незримыя и зримыя усилія“ суть покорное волѣ природы свиваніе гнѣзда, благолѣпное *домостроительство*.

И прежде всего, тутъ—великая и простая любовь къ жизни, та вѣчно дѣтская радость жизни, которая была и у Гете. „Левъ Николаевичъ,—разсказываетъ Берсъ,—ежедневно похвалитъ день за красоту его и часто прибавитъ—уже совсѣмъ въ духѣ „великаго язычника“: „Какъ у Бога много богатствъ! У Него каждый день отличается чѣмъ-нибудь отъ другого“.

„Чудесная жара,—пишетъ онъ Фету—купанье, ягоды привели меня въ любимое мною состояніе умственной праздности. Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Давно я такъ не радовался на міръ Божій, какъ нынѣшній годъ. Стою, разиня ротъ, любуюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего“. И это—самые для него тяжкіе, страшные годы, когда онъ думалъ о самоубійствѣ, замышлялъ „Исповѣдь“.

Можетъ быть, никогда не былъ онъ болѣе естественнымъ, похожимъ на себя, достойнымъ кисти великаго художника, такимъ, какъ создалъ его Богъ,—чѣмъ на башкирскомъ праздникѣ, о которомъ разсказываетъ Берсъ Черезъ Мухамедъ-Шаха Романовича было объявлено, что графъ Толстой устаиваетъ у себя въ самарскомъ

имѣніи скачку на 50 верстъ. Заготовлены были призы: быкъ, лошадь, ружье, часы, халатъ и т. п. Выбрали ровную мѣстность, опахали и измѣрили огромный кругъ въ пять верстъ длиною, и на немъ разставили знаки. Для угощенія были заготовлены бараны и даже одна лошадь. Къ назначенному дню съѣхалось нѣсколько тысячъ народу: уральскіе казаки и русскіе мужики, башкиры и киргизы со своими кочевками, кумысомъ, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылемъ, уставилась рядомъ кочевокъ и оживилась пестрою толпой. На коническомъ возвышеніи, называемомъ по-мѣстному шишка, были разостланы ковры и войлоки и на нихъ кружкомъ разсѣлись башкиры, съ поджатыми подъ себя ногами. Въ серединѣ круга изъ большого турсука молодой башкиръ разливалъ кумысъ и подавалъ чашку по очереди сидѣвшимъ. Это шла круговая. Пиръ длился два дня, былъ веселъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ важенъ и благопристоенъ, потому что Левъ Николаевичъ умѣлъ „даже въ толпѣ—замѣчаетъ Берсъ—поселить уваженіе къ благопристойности".

Какой незапамятно-древнею, пастушескою идилліей вѣетъ отъ этого праздника подъ степнымъ небомъ, надъ волнами степного ковыля.

Еще и теперь въ лицѣ семидесятилѣтняго Толстого, въ этомъ суровомъ и чувственномъ, почти грубомъ, мужичьемъ и все-таки нѣжно-одухотворенномъ лицѣ, которое напрасно онъ самъ и другіе стараются сдѣлать современнымъ, смиреннымъ, покаяннымъ и безплотнымъ, узнаю я иную, не безплотную святость, благолѣпную величавость одного изъ древнихъ патріарховъ, которые водили стада свои между колодцами пустыни и радовались потомству своему, болѣе многочисленному, чѣмъ песокъ морской.

„Я предпринялъ большія дѣла,—говоритъ онъ въ „Исповѣди" словами Екклезіаста,—построилъ себѣ домы, наса-

дилъ себѣ виноградники; устроилъ себѣ сады и рощи и насадилъ въ нихъ всякія плодовыя деревья; сдѣлалъ себѣ водоемы для орошенія изъ нихъ рощъ, произрасщающихъ деревья; пріобрѣлъ себѣ слугъ и служанокъ, и домочадцы были у меня; также крупнаго и мелкаго скота было у меня больше, нежели у всѣхъ бывшихъ прежде меня въ Іерусалимѣ. И сдѣлался я великимъ и богатымъ. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывалъ имъ, не возбранялъ сердцу моему никакого веселья".

Однажды графъ Соллогубъ сказалъ Льву Николаевичу:

— Какой вы счастливецъ, дорогой мой! Судьба дала вамъ все, о чемъ только можно мечтать: прекрасную семью, милую, любящую жену, всемірную славу, здоровье—все.

Въ самомъ дѣлѣ, если не внутри, то извнѣ, это—самая счастливая человѣческая жизнь въ наше время.

„Если бы пришла волшебница,—признается онъ самъ,—и предложила мнѣ исполнить мое желаніе, я-бы не зналъ, что сказать".

И вотъ, достигнувъ этой вершины возможнаго людямъ благополучія, онъ заглядываетъ въ противоположную „вечернюю долину",—какъ-будто боги, наконецъ, позавидовавъ слишкомъ счастливому смертному, напомнили ему, не потрясающимъ голосомъ бѣды или утраты, а тихимъ шопотомъ Парки, что и надъ нимъ есть рокъ.

Онъ „будто жилъ-жилъ, шелъ-шелъ, и пришелъ къ пропасти, и ясно увидалъ, что впереди ничего нѣтъ кромѣ погибели". Понялъ, какъ царь Соломонъ, что все суета и томленіе духа, и что мудрый умираетъ наравнѣ съ глупымъ.

„Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня; зналъ, что этотъ ужасъ ужаснѣе самого положенія,

но не могъ терпѣливо ожидать конца... Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей".

Прежде чѣмъ говорить объ этомъ послѣднемъ поворотѣ жизни, перевалѣ, съ котораго начинается спускъ въ „вечернюю долину", надо сказать о чувствѣ, которое всегда было въ немъ столь же сильно, какъ любовь къ жизни, можетъ быть, потому, что оно было только обратною стороною этой любви,—о страхѣ смерти.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА.

„Я жалѣю тѣхъ, кто придаетъ большое значеніе смертности всего существующаго и теряется въ созерцаніи ничтожества всего земного: да мы вѣдь и живемъ именно для того, чтобы *преходящее дѣлать непреходящимъ*, что можетъ быть достигнуто лишь тогда, если мы съумѣемъ оцѣнить и то, и другое, то-есть и смертное, и безсмертное Это слова Гете (Maximen und Reflexionen, II).

Въ заключеніи Фауста говоритъ онъ о томъ же, почти тѣми-же словами, еще короче и яснѣе:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss.

„Все преходящее есть только подобіе“—есть только образъ, только символъ. Мы должны *соединять*—Гете говоритъ: оцѣнивать и то, и другое, beides schätzen—должны соединять (συμβαλλειν—отъ котораго произошло Σδμβολον—Символъ—значитъ: сливать, спаивать, и соединять),—мы должны соединять смыслъ невѣчнаго съ вѣчнымъ, мы должны, не унижая переходящаго, смертнаго, созерцать въ немъ и сквозь него безсмертное, непреходящее: мы не можемъ иначе достигнуть неземного, какъ понявъ и полюбивъ земное до конца, до его послѣднихъ предѣловъ, не презирая не ужасаясь ничтожеству земного; мы должны помнить,

что нѣтъ у насъ иныхъ путей восхожденія, иныхъ ступеней къ Богу, кромѣ „подобій“, „явленій“, „символовъ“— не безплоныхъ и не безкровныхъ, а облегченныхъ въ самую живую плоть и кровь.

Ибо таинство нашего Бога не есть таинство только духа и слова, но также плоти и крови, ибо Слово наше стало Плотью. „Кто не ѣстъ Мою плоть и не пьетъ Мою кровь, тотъ не имѣетъ жизни вѣчной“. Итакъ—не безъ плоти, а черезъ плоть къ тому, что за плотью,—тутъ величайшій символъ, величайшее соединеніе—о, сколь не многимъ еще доступное!

Это слово Гете о святости всего земного, преходящаго, о нетлѣніи тлѣннаго—лучшій отвѣтъ на отчаяніе и ужасъ, на тѣ слова Сакья-Муни и Екклезіаста о тлѣнности всего сущаго, о нирванѣ, о суетѣ суетъ, которыя Л. Толстой приводитъ въ „Исповѣди“, какъ самое глубокое выраженіе своего собственнаго отчаянія.

Не удивительно-ли: древніе эллины и новый эллинъ, Гете, ужъ, конечно, не менѣе любили землю, земныя радости, чѣмъ царь Соломонъ и Левъ Толстой. Но страхъ смерти не уничтожалъ для нихъ смысла этихъ радостей,—напротивъ: самая черная тьма и ужасъ бездны еще увеличивала прелесть жизни, подобно тому, какъ самый черный бархатъ увеличиваетъ блескъ алмазовъ. Они не отворачивались отъ этой тьмы, а какъ будто нарочно желали, искали ее, чтобы побѣдить. Трагедія,— дерзновеннѣйшее и глубочайшее созерцаніе всего, что только есть въ человѣческой судьбѣ наиболѣе темнаго и рокового, — не случайно создана была въ самую лучезарную пору эллинской культуры. Отчаяніе Эдипа, не угадавшаго загадки Сфинкса,—безпредѣльнѣе отчаянія Сакья-Муни и царя Соломона. А между тѣмъ, именно здѣсь, въ виду Парѳенона, въ самомъ радостномъ изъ всѣхъ

когда-либо людьми воздвигнутыхъ зданій, въ театрѣ бога вина и сладострастья, бога Діониса, самые счастливые изъ смертныхъ наслаждались этимъ послѣднимъ ужасомъ и отчаяніемъ. „Не существуетъ-ли,—спрашиваетъ Нитче,—особой склонности души ко всему жестокому загадочному, что только есть въ бытіи, происходящей изъ жажды наслажденій, изъ бьющаго черезъ край здоровья, изъ *полноты* жизни? особой, искушающей отваги самаго остраго взгляда, которая требуетъ ужаснаго—какъ врага, какъ достойнаго врага, въ борьбѣ съ которымъ можно помѣриться силами?“

Трагедія воли—„Прометей“, трагедія мысли—„Фаустъ“ именно и были такими вызовами, полными „искушающей отваги“, versucherishe Tapferkeit,—страху смерти, тайнѣ жизни. Только самые сильные изъ сильныхъ, самые трезвые изъ трезвыхъ могутъ безнаказанно испытывать это упоеніе ужасомъ, о которомъ говоритъ и Пушкинъ, сильнѣйшій и разумнѣйшій изъ русскихъ людей.

Есть упоеніе въ бою,
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ,
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы.
Все, все, что гибелью грозитъ,
Для сердца смертнаго таитъ
Непзъяснимы наслажденья
. . . . . .
И такъ—хвала тебѣ, чума!
Намъ не страшна могилы тьма;
Насъ не смутитъ твое призванье!

Когда является чрезмѣрный страхъ этой „могильной“ тьмы,—слишкомъ ясное и отрезвляющее сознаніе плотской

тлѣнности ничтожества всего земного,—то это первый признакъ того, что именно божественные родники извѣстной культуры уже истощены или отравлены, что сила жизни идетъ въ ней на убыль.

Повидимому, отчаяніе Софокла въ „Эдипѣ“ похоже на отчаяніе Соломона въ Екклезіастѣ“; на самомъ дѣлѣ это—два противоположныхъ полюса. Одно—подъемъ, другое—спускъ, одно—начало, другое—конецъ. Въ „Лалитавистарѣ“ Будды, въ „Екклезіастѣ“ Соломона слышится голосъ не воскресающаго духа, а лишь умирающей плоти Въ тоскѣ пресыщенныхъ эпикурейцевъ, въ taedium vitae римскаго упадка, въ философскомъ черепѣ среди розъ и кубковъ пиршественной трапезы есть грубая, чуждая эллинскому духу и плоти, плотскость, старческій матеріализмъ обездушенной, обезбоженной культуры. Вѣдь самое чистое, совершенное христіанство такъ-же довѣрчиво къ жизни, безстрашно къ смерти, такъ же умѣетъ преходящее дѣлать непреходящимъ, какъ совершенное эллинство. Пусть лиліи полевыя завтра увянутъ и будутъ брошены въ огонь, всетаки сегодня сыны царствія Божія радуются тому, что „и царь Соломонъ во славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ“. Улыбка Франциска Ассизскаго, поющаго гимнъ солнцу, послѣ крестныхъ мукъ Альвернскаго видѣнія, напоминаетъ улыбку Софокла, поющаго гимнъ богу вина и веселья, богу Діонису, послѣ кровавыхъ ужасовъ Эдиповой трагедіи. И здѣсь, и тамъ—младенческая ясность, тишина послѣдней мудрости. Только остановившіеся на полпути, уже не прежніе, еще не будущіе, отставшіе отъ одного берега и неприставшіе къ другому безысходно „теряются—по слову Гете—въ созерцаніи земного ничтожества“. Чрезмѣрный страхъ смерти почти всегда служитъ показателемъ религіознаго безсилія и религіозной бездарности.

Въ „Дѣтствѣ“ Л. Толстой описываетъ впечатлѣнія ребенка отъ смерти матери. Онъ смотритъ на нее, лежащую въ гробу.

„Я не могъ повѣрить, чтобы это было ея лицо. Я сталъ вглядываться въ него пристальнѣе и мало-по-малу сталъ узнавать въ немъ знакомыя, милыя черты. Я вздрогнулъ отъ ужаса, когда убѣдился, что это была она; но отчего закрытые глаза такъ впали? отчего эта страшная блѣдность и на одной щекѣ черноватое пятно подъ прозрачною кожей?

„...Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и всѣ присутствующіе, исключая насъ, одинъ за другимъ, стали подходить къ гробу и прикладываться.—Одна изъ послѣднихъ подошла проститься съ покойницей какая-то крестьянка съ хорошенькою пятилѣтней дѣвочкой на рукахъ, которую, Богъ знаетъ зачѣмъ, она принесла сюда. Въ это время я нечаянно уронилъ свой мокрый платокъ и хотѣлъ поднять его; но только-что я нагнулся, меня поразилъ страшный пронзительный крикъ, исполненный такого ужаса, что проживи я сто лѣтъ, я никогда его не забуду и, когда вспомню, всегда пробѣжитъ холодная дрожь по моему тѣлу. Я поднялъ голову—на табуретѣ, подлѣ гроба, стояла та-же крестьянка и съ трудомъ удерживала въ рукахъ дѣвочку, которая отмахиваясь, ручонками, откинувъ назадъ испуганное личико и уставивъ выпученныя глаза на лицо покойницы, кричала страшнымъ, неистовымъ голосомъ. Я вскрикнулъ голосомъ, который, я думаю, былъ еще ужаснѣе того, который поразилъ меня и выбѣжалъ изъ комнаты“.

Можно сказать, что тотъ безумный крикъ никогда съ тѣхъ поръ не умолкалъ въ произведеніяхъ Л. Толстого. Душу цѣлаго поколѣнія заразилъ онъ своимъ ужасомъ. Если въ наше время люди боятся смерти, съ такой по-

стыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, если у всѣхъ насъ, въ глубинѣ сердца, въ крови и въ плоти есть эта „холодная дрожь“, до мозга костей пробирающій ознобъ, о которомъ Данте говоритъ по поводу грѣшниковъ, замерзшихъ въ адскомъ озерѣ: „тогда прошелъ по мнѣ ознобъ, онъ и теперь по мнѣ, какъ вспомню ихъ, проходитъ“,—то, въ значительной мѣрѣ, мы этимъ всѣмъ обязаны Л. Толстому.

Онъ заимствовалъ впрочемъ, разсказъ о смерти матери Николая Иртеньева не изъ собственныхъ воспоминаній, мать Льва Николаевича умерла, когда ему было года три; помнить ее не могъ онъ и при смерти ея не присутствовалъ. Повидимому, однако, въ разсказѣ героя „Дѣтства“ онъ изображаетъ съ такою ужасающею, почти циническою, отталкивающею правдою страхъ смерти, врожденный въ него, особый, въ такой мѣрѣ ему одному свойственный пробудившійся въ немъ съ первыми проблесками сознанія и съ тѣхъ поръ никогда его не покидавшій.

Много лѣтъ спустя, уже въ пору возмужалости, при полномъ свѣтѣ сознанія, находитъ онъ въ душѣ своей тотъ-же самый страхъ и такъ-же передъ нимъ безпомощенъ или даже еще болѣе, чѣмъ въ дѣтствѣ.

Фету изъ Гіера, близъ Ниццы, 17 октября 1860 года, пишетъ онъ о смерти брата Николая.

„20 сентября онъ скончался на моихъ рукахъ, въ буквальномъ смыслѣ слова. Никогда въ жизни ничто не производило на меня такого впечатлѣнія. Онъ былъ правъ, когда говорилъ мнѣ, что ничего нѣтъ хуже смерти, и если подумать, что въ концѣ концовъ смерть есть неизбѣжный конецъ всего живущаго, то приходится сознаться, что нѣтъ ничего хуже самой жизни. Къ чему всѣ заботы, если въ концѣ концовъ отъ того, чѣмъ былъ нѣкогда Николай Николаевичъ Толстой, ничего не остается? Онъ никогда

не говорилъ, что чувствуетъ близость смерти, и однако я знаю, что онъ слѣдилъ за нею шагъ за шагомъ и прекрасно зналъ, сколько времени ему еще остается жить. За нѣсколько минутъ до смерти онъ задремалъ. Вдругъ онъ вскочилъ и съ ужасомъ прошепталъ: „Что это?“— *Онъ увидѣлъ свой переходъ въ ничто.* Но если и онъ не зналъ, за что удержаться, что-же я найду? Конечно, еще меньше“.

Въ этомъ письмѣ, удивительномъ и ужасномъ своей искренностью, болѣе всего поражаетъ простодушный, безсознательный и до послѣдней, цинической грубости обнаженный матеріализмъ, бездушная плоскость. Никакого колебанія, никакого возможнаго вопроса и сомнѣнія въ томъ, что смерть есть „переходъ въ ничто“,—даже никакой тайны. Ужасъ безысходный, безплодный, безсмысленно-уничтожающій, изсушающій самые родники жизни. Это — какъ еретики-жидовствующіе, русскіе нигилисты XV вѣка, говаривали: „А что то царство небесное? А что то второе пришествіе? А что то воскресеніе мертвыхъ?— Ничего того нѣсть. Умеръ кто,—инъ по та мѣста и былъ“ Или, какъ выражается дядя Ерошка: „умру—трава вырастетъ“. Глухая стѣна, русская „глухая нѣтовщина“.

Черезъ двадцать пять лѣтъ, уже долго спустя послѣ своего христіанскаго обращенія, выразилъ онъ это-же самое чувство животнаго, безсмысленнаго ужаса въ „Смерти Ивана Ильича“:

„Онъ оставался опять одинъ съ нею. Съ глазу на глазъ съ *нею*; а дѣлать съ *нею* - нечего. Только смотрѣть на *нее* и холодѣть“.

Мы знаемъ, что въ теченіе всей своей жизни, во многихъ случаяхъ дѣйствительной опасности, Л. Толстой отличался мужествомъ тѣлеснымъ, даже отвагою. Ему былъ почти пріятенъ свистъ пуль на страшномъ четвертомъ

бастіонѣ въ Севастополѣ: онъ наслаждался тѣмъ, что побѣждалъ страхъ смерти силою жизни. Всего менѣе думалъ онъ также о смерти, когда однажды, въ Пятигорской станицѣ, въ упоръ стрѣлялъ въ бѣшенаго волка или, когда на охотѣ лежалъ подъ медвѣдицею, которая едва не смяла его и не содрала ему кожу съ черепа, такъ что „надъ глазами лохмотьями висѣло мясо“, и на снѣгу было столько крови, „точно барана зарѣзали“, а онъ, поднявшись изъ-подъ звѣря, забывъ раны, не чувствуя боли, только весь трясся и кричалъ въ охотничьей ярости, тоже сильно напоминающей дядю Ерошку: „гдѣ медвѣдь? куда ушелъ?“

Нѣтъ, страхъ смерти происходитъ въ немъ вовсе не изъ тѣлесной робости: этотъ страхъ, иногда, можетъ быть, доходящій до трусости,—болѣе внутренній, глубокій и, въ первомъ источникѣ своемъ, несмотря на всю животность, все-таки отвлеченный, такъ сказать,—метафизическій.

И тѣмъ больше пугаютъ эти внезапные черные провалы, что они встрѣчаются въ душѣ его и въ произведеніяхъ рядомъ съ величайшею любовью къ жизни: это—какъ будто тѣ обманчивыя болотныя *„окна“*, которыя сверху покрыты самою зеленою, свѣжею травою, самыми яркими цвѣтами, манятъ издали путника, но только что нога его ступаетъ на нихъ, онъ проваливается, и тина засасываетъ его.

Что́-же это за чуть видимый волосокъ, отъ котораго всѣ колеса машины вдругъ соскакиваютъ съ осей, и гармонія превращается въ хаосъ? Откуда эта капля яда, которая отравляетъ ему душу, такъ что сладчайшій медъ жизни становится полынью?

Вспоминая свои ребяческія „умствованія“, уничтожившія въ немъ, какъ онъ выразился, „свѣжесть чувства и ясность разсудка“, уже и тогда приводившія его къ бо-

лѣзненному страху смерти, вслѣдствіе котораго онъ то, въ буддійскомъ покаяніи стегалъ себя по голой спинѣ веревкою, то, въ Соломоновской безнадежности, бросая уроки, ѣлъ пряники съ кроновскимъ медомъ,—причину этихъ умствованій находитъ онъ самъ въ „неестественно-развившемся сознаніи“. Дѣйствительно, изслѣдуя внутреннюю жизнь Л. Толстого на всемъ ея протяженіи, нельзя не придти къ выводу, что между сознательной и безсознательной стороной его духовнаго развитія существуетъ несоотвѣтствіе, неравновѣсіе. Едва-ли, однако, это несоотвѣтствіе заключается именно въ чрезмѣрной силѣ сознанія. Мы, по крайней мѣрѣ, имѣли случай наблюдать, что и гораздо большая сила сознанія, чѣмъ у Л. Толстого, напримѣръ, у Гете,—гармоническаго строя душевной и умственной жизни вовсе не нарушала, скорѣе даже увеличивала. Нѣтъ, не въ чрезмѣрности сознанія заключается одна изъ важнѣйшихъ причинъ надломленности, болѣзненности въ нравственномъ и религіозномъ развитіи Л. Толстого, а напротивъ—въ недостаткѣ, въ незавершенности сознанія. Оно у него чрезвычайно острое или во всякомъ случаѣ, изощренное, напряженное, не не всеобъемлющее, не всепроникающее. Оно свѣтитъ ярко, но не изнутри, какъ солнце изъ-за прозрачнаго воздуха, насквозь пронизаннаго имъ,—а извнѣ, какъ маякъ свѣтитъ на темную поверхность моря. Сколь ни ярки и ни длинны лучи этого маяка-сознанія,—безсознательная стихійная жизнь въ немъ такъ бездонно глубока, что все-таки остается въ ней послѣдній, какъ-бы подводный мракъ, ни для какихъ лучей непроницаемый. А главное то, что его сознаніе развивалось не только извнѣ, отдѣльно, не только въ другомъ, но и въ совершенно противоположномъ направленіи, чѣмъ его безсознательная жизнь, такъ что всегда въ немъ было какъ будто два человѣка, и всегда

4*

одинъ изъ нихъ желалъ желать того, чего другой не желалъ. Это внутреннее разногласіе, раздвоеніе—подобно сначала едва видимой, но мало-по-малу углубляющейся трещинѣ колокола, которая даетъ ложный звукъ: чѣмъ громче, могущественнѣе гулъ колокола, тѣмъ назойливый, дребезжащій звукъ этотъ все мучительнѣе, все болѣзненнѣе.

Припадокъ страха смерти, который въ концѣ семидесятыхъ годовъ едва не довелъ его до самоубійства, какъ мы уже знаемъ, былъ не первымъ и, кажется, не послѣднимъ, во всякомъ случаѣ—не единственнымъ. Нѣчто подобное испыталъ онъ пятнадцать лѣтъ назадъ при смерти брата Николая. Тогда онъ чувствовалъ себя больнымъ и предполагалъ въ себѣ ту-же болѣзнь, отъ которой умеръ братъ,—чахотку. Въ груди и въ боку была постоянная боль. Онъ долженъ былъ уѣхать лѣчиться въ степь на кумысъ и дѣйствительно вылѣчился.

Прежде эти обычные припадки душевнаго или тѣлеснаго недуга залѣчивались въ немъ не какими-либо умственными или нравственными переворотами, а просто силою жизни, ея избыткомъ и опьянѣніемъ. Оленинъ, при мысли о смерти, такъ-же, какъ Левъ Толстой подъ севастопольскими ядрами, сознаетъ въ себѣ „присутствіе всемогущаго бога молодости“.

Почему-же именно этотъ переворотъ конца семидесятыхъ годовъ имѣлъ для него такое рѣшающее, какъ будто единственное значеніе? Самъ онъ объясняетъ это причинами духовными. Но не было-ли и здѣсь такъ-же, какъ въ прежнихъ переворотахъ, и причинъ тѣлесныхъ? Не было-ли особаго чувства, свойственнаго людямъ въ предстарческіе годы, когда они ощущаютъ всѣмъ своимъ не только духовнымъ, но и плотскимъ составомъ, что до сихъ поръ шли въ гору, а теперь,начинаютъ спускаться подъ гору?

„Пришло время,—говоритъ онъ въ „Исповѣди“ объ этомъ именно времени своей жизни, о началѣ своихъ шестидесятыхъ годовъ,—когда ростъ во мнѣ прекратился, я почувствовалъ, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабѣютъ, зубы падаютъ“.

Тутъ слышится глубоко-плотская, почти анакреоновская жалоба, хотя безъ анакреоновской ясности:

Порѣдѣли, побѣлѣли
Кудри—честь главы моей,
Въ деснахъ зубы ослабѣли,
И потухъ огонь очей.

Точно такъ-же Левинъ ночью, одинъ въ номерѣ скверной гостиницы, гдѣ умираетъ братъ его Николай — смерть Николая Левина весьма напоминаетъ смерть Николая Толстого—охваченный этимъ ощущеніемъ приближающейся старости, этимъ животнымъ ужасомъ, подобнымъ ознобу, пробирающему до мозга костей, вдругъ понимаетъ всѣмъ тѣлеснымъ составомъ, „что все кончится, *что—смерть*“.

„Онъ зажегъ свѣчу и осторожно всталъ и пошелъ къ зеркалу и сталъ смотрѣть свое лицо и волосы.—Да, въ вискахъ были сѣдые волосы. Онъ открылъ ротъ. Зубы задніе начинали портиться. Онъ обнажилъ свои мускулистыя руки. Да, силы много. Но и у Николиньки, который тамъ дышитъ остатками легкихъ, тоже здоровое тѣло“.

„Что такое значитъ: идетъ жизнь?—пишетъ Л. Толстой въ 1894 году,—идетъ жизнь—значитъ: волосы падаютъ, зубы портятся, морщины, запахъ изо рта. Даже прежде, чѣмъ все кончится, все становится ужаснымъ, отвратительнымъ, видны размазанныя румяна, бѣлила, потъ, вонь, безобразіе. Гдѣ-же то, чему я служилъ? Гдѣ

же красота? А она—все. А нѣтъ ея—ничего нѣтъ. Нѣтъ жизни".

Въ томъ письмѣ отъ 1881 года, въ которомъ гр. Софья Андреевна увѣряетъ брата, что Левъ Николаевичъ совершенно измѣнился, „сталъ христіанинъ самый искренній и твердый", она также сообщаетъ, что онъ „посѣдѣлъ, *ослабъ здоровьемъ* и сталъ тише, унылѣе, чѣмъ былъ".

Въ высшей степени замѣчательна эта сквозь всю его жизнь проходящая связь духовныхъ переворотовъ съ прибылью и убылью, приливами и отливами тѣлеснаго здоровья, силы,—сѣдѣющими волосами, морщинами, испорченными зубами, запахомъ изо рта, ссохшимися мускулами.

Отлетѣлъ „всемогущій богъ молодости". Исчезло опьянѣніе жизнью. „Можно жить,—признается онъ,—только покуда пьянъ жизнью; а какъ протрезвишься, то нельзя не видѣть, что все это—только обманъ, и глупый обманъ. Не нынче—завтра придутъ болѣзни, смерть на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кромѣ смрада и червей".

Разногласіе, раздвоеніе его сознательной и безсознательной жизни, эта сперва чуть замѣтная трещина, постепенно углубляясь, превратилась, наконецъ, въ ту зіяющую „пропасть", о которой онъ говоритъ въ „Исповѣди", и дойдя до которой, онъ „ясно увидѣлъ, что впереди ничего нѣтъ, кромѣ погибели".

„И что было хуже всего—это то, что *она*—смерть—отвлекла его (Ивана Ильича) къ себѣ не за тѣмъ, чтобы онъ дѣлалъ что-нибудь, а только для того, чтобы онъ смотрѣлъ на нее, прямо ей въ глаза, смотрѣлъ на нее и, ничего не дѣлая, невыразимо мучился". И онъ оставался „одинъ съ нею. Съ глазу на глазъ съ *нею*; а дѣлать съ *нею* нечего. Только смотрѣть на нее и холодѣть".

„И, спасаясь отъ этого состоянія, онъ искалъ утѣшенія, другихъ ширмъ, и другія ширмы являлись и на короткое время спасали его, но тотчасъ-же опять не столько разрушались, сколько просвѣчивали, какъ будто *она* проникала черезъ все, и ничто не могло заслонить ее".

Тогда наступилъ тотъ послѣдній ужасъ, который былъ такъ великъ, что „онъ хотѣлъ поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей".

Тертулліанъ утверждаетъ, что человѣческая душа „по своей природѣ—христіанка". Но всѣ-ли души—христіанки? Не рождаются-ли нѣкоторыя изъ нихъ язычницами? Кажется, именно у Л. Толстого такая душа — „урожденная язычница".

Если-бы глубина его сознанія соотвѣтствовала глубинѣ его стихійной жизни, онъ понялъ бы, наконецъ, что ему нечего бояться и стыдиться своей души-язычницы, что она дана ему Богомъ, и своего Бога, свою вѣру нашелъ бы онъ въ безстрашной, безконечной любви къ себѣ такъ-же, какъ люди съ душами, по природѣ своей—христіанками, находятъ своего Бога въ безконечномъ самопожертвованіи и самоотреченіи.

Но, вслѣдствіе глубокаго несоотвѣтствія, неравновѣсія между его сознаніемъ и безсознательной стихіей, ему оставалось одно изъ двухъ: или подчинить свое сознаніе своей стихіи, что̀ онъ и дѣлалъ въ первой половинѣ жизни, или, наоборотъ,—свою стихію своему сознанію, что̀ онъ попытался сдѣлать во второй половинѣ жизни; и въ послѣднемъ случаѣ онъ долженъ былъ неминуемо придти къ выводу, что всякая любовь къ себѣ, всякая жизнь и развитіе обособленной личности есть нѣчто плотское, животное, а слѣдовательно—преступное, злое, бѣсовское, то, чему не слѣдуетъ быть, и уничтоженіе чего есть высшее, единственное благо. Дѣйствительно, онъ и дошелъ до этого

вывода, рѣшилъ до конца возненавидѣть и погубить душу свою, чтобы спасти ее. Когда онъ писалъ „Исповѣдь“, ему казалось, что онъ уже этого окончательно достигъ, что онъ открылъ совершенную истину, и что больше искать нечего. Въ заключительныхъ страницахъ обличаетъ онъ и судитъ уже не себя, а только другихъ, называетъ всю человѣческую культуру „баловствомъ“, людей, принадлежащихъ къ ней,—„паразитами“. Онъ прямо говоритъ: „я возненавидѣлъ себя... теперь мнѣ все ясно стало“.

Но черезъ три-четыре года послѣ „Исповѣди“ это „ясное“ мало-по-малу снова замутилось и запуталось.

Уже въ 1882 году, во время московской переписи и послѣ осмотра Ляпинскаго ночлежнаго дома, когда убѣждалъ онъ знакомыхъ своихъ, богатыхъ людей, соединиться, чтобы посредствомъ частной христіанской благотворительности спасти сначала Москву, потомъ Россію, наконецъ, все человѣчество,—совѣсть его была неспокойна. Напряженность, неувѣренность, дребезжащій ложный звукъ надтреснутаго колокола слышится въ этомъ призывѣ, столь не простомъ, написанномъ на столь несвойственномъ Льву Толстому языкѣ, напоминающемъ слогъ растопчинскихъ афишъ двѣнадцатаго года: „давайте мы, по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христіански, налегнемъ народомъ, не поднимемъ-ли. Дружнѣй, братцы, разомъ“.

Когда, собирая деньги для бѣдныхъ, излагалъ онъ въ знакомыхъ домахъ свой новый планъ спасенія міра, ему казалось, что слушателямъ становится неловко: „имъ было какъ-будто совѣстно, и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такія глупости, про которыя никакъ нельзя прямо сказать, что это глупости. Какъ будто какая-то внѣшняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости“. И послѣ рѣчи въ Думѣ, разговаривая съ руководителями переписи, опять почувствовалъ онъ, что они говорили ему взглядами: „вѣдь вотъ

смазали, изъ уваженія къ тебѣ, твою глупость, а ты опять съ ней лѣзешь!"

Наконецъ, величайшая и новая, какъ онъ полагалъ, истина о томъ, что частная благотворительность—вздоръ, открылась ему изъ самаго простого ариѳметическаго разсчета. Однажды вечеромъ, въ субботу, плотникъ Семенъ, съ которымъ Левъ Николаевичъ пилилъ дрова, подходя къ Дорогомиловскому мосту, подалъ старику-нищему три копѣйки и спросилъ двѣ копѣйки сдачи. Старикъ показалъ на рукѣ двѣ трехкопѣечныя и одну копѣйку. Семенъ посмотрѣлъ, хотѣлъ взять копѣйку, но потомъ раздумалъ, снялъ шапку, перекрестился и прошелъ, оставивъ старику три копѣйки.

У Семена,—какъ извѣстно было Льву Николаевичу,—сбереженіе равнялось 6 рублямъ 50 копѣйкамъ, а у него, Льва Николаевича, 600 тысячъ рублей. „Семенъ,—подумалъ онъ,—далъ 3 копѣйки, а я 20. Что-же далъ онъ и что я. Что-бы я долженъ былъ дать, чтобы сдѣлать то, что сдѣлалъ Семенъ? У него было 600 копѣекъ,—онъ далъ изъ нихъ одну и потомъ еще двѣ. У меня было 600 тысячъ. Чтобъ дать то, что Семенъ, мнѣ надо дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи, и если бы не было сдачи, оставить и эти двѣ тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о томъ, какъ живутъ на фабрикахъ, и почемъ печенка на Смоленскомъ".

Нельзя было не сдѣлать послѣдняго потрясающаго вывода изъ этого разсчета:

„Я дамъ 100 тысячъ и все не стану въ то положеніе, въ которомъ можно дѣлать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысячъ. Только когда у меня *ничего не будетъ*, я въ состояніи дѣлать хоть маленькое добро. То, что съ перваго раза сказалось мнѣ при видѣ голодныхъ и холодныхъ у Ляпинскаго дома, именно то, что я вино-

ватъ въ этомъ, и что такъ жить, какъ я живу, нельзя, и нельзя, и нельзя,—это было одно правда".

Все зданіе, воздвигнутое съ такою мукою, съ такимъ отчаяннымъ напряженіемъ силъ, сразу обвалилось, рухнуло, и снова пришлось ему обличать себя и всенародно каяться:

„Я весь разслабленный, ни на что негодный паразитъ. И я, та вошь, пожирающая листъ дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лѣчить его".

Только теперь, казалось ему, понялъ онъ слово Христа: тотъ, кто не оставитъ всего,—и дома, и дѣтей, и полей,—для того, чтобы идти за Нимъ, тотъ не Его ученикъ.

И новый переворотъ, новое перерожденіе совершилось въ немъ.

Ему стало ясно, что онъ не только не „возненавидѣлъ себя" и не нашелъ истины, какъ думалъ, когда писалъ „Исповѣдь", но и не начиналъ ее искать. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ увѣрился, что на этотъ разъ уже окончательно и навсегда все стало для него яснымъ, и осуществленіе новой истины казалось ему простымъ: „стоитъ только человѣку не желать имѣть земли и денегъ", чтобы войти въ царствіе Божіе. Онъ убѣдился, что зло, отъ котораго міръ погибаетъ,—собственность,—„не есть законъ судьбы, воля Бога или историческая необходимость, а есть суевѣріе, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное", и что освободиться отъ этого суевѣрія, разрушить его—такъ же легко, какъ „разрушить слабую паутину".

И онъ рѣшилъ исполнить заповѣдь Христа, покинуть все—и домъ, и дѣтей, и поля, раздать свои 600 тысячъ и сдѣлаться нищимъ, чтобы имѣть право дѣлать добро.

Вопросъ о томъ, насколько это удалось ему, насколько онъ дѣйствительно отрекся отъ собственности, разрушилъ эту „слабую паутину",—составляетъ предметъ моего дальнѣйшаго изслѣдованія.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

„Многіе подумаютъ,—замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ братъ графини Софьи Андреевны Толстой,—что я умолчалъ, конечно, о томъ, что было бы не въ пользу Льва Николаевича. Но это предположеніе невѣрно, потому что даже нѣтъ ничего такого, что приходилось бы скрывать отъ постороннихъ“.

Вотъ смѣлыя слова. Мы вѣдь знаемъ, что у величайшихъ святыхъ и подвижниковъ были минуты паденія и слабости. У самаго вѣрнаго изъ учениковъ Господнихъ было на душѣ предательство. Но, впрочемъ, г. Берсу и книги въ руки: онъ пишетъ не жизнь, а житіе.

Удивительнѣе подобное признаніе въ устахъ самаго Л. Толстого, который, по свидѣтельству слышавшаго, часто говоритъ въ послѣднее время: „у меня ни отъ кого на свѣтѣ нѣтъ никакихъ тайнъ! Пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю!“

Слова необычайныя. Кто же этотъ, дерзнувшій сказать: „я ничего не стыжусь“? Человѣкъ-ли, безконечно презирающій людей, или въ самомъ дѣлѣ святой?

Бываютъ въ жизни каждаго человѣка минуты особаго значенія, которыя соединяютъ и обнаруживаютъ весь смыслъ его жизни, опредѣляютъ разъ навсегда, кто онъ и чего стоитъ,—даютъ какъ-бы внутренній разрѣзъ всей

его личности до послѣднихъ глубинъ ея сознательнаго и безсознательнаго, минуты, когда вся дальнѣйшая судьба человѣка, рѣшаясь, какъ-бы колеблется на остріѣ меча, готовая упасть въ ту или въ другую сторону.

Такой именно минутой въ жизни Л. Толстого было рѣшеніе раздать имущество. Но вотъ—не странно-ли? Вплоть до этой минуты, мы имѣемъ самые подробные дневники его, исповѣди, покаянія, признанія, которые позволяютъ слѣдить за каждымъ движеніемъ его сознанія и совѣсти. Но тутъ они вдругъ измѣняютъ намъ, обрываются. Онъ, который столько говорилъ о себѣ, вдругъ умолкаетъ и—навсегда. Конечно, мы не нуждались бы ни въ какихъ признаніяхъ, если-бы уже не слова, а дѣла его говорили о немъ съ достаточной ясностью. Но именно внѣшняя жизнь его, дѣла еще болѣе, чѣмъ слова, оставляютъ насъ въ недоумѣніи. Что́-же касается внутренней стороны его жизни, о ней мы узнаемъ только изъ намековъ, изъ немногихъ, какъ-бы нечаянно вырвавшихся у него и подслушанныхъ, но едва-ли понятыхъ свидѣтелями словъ, или изъ ихъ собственныхъ поверхностныхъ разсказовъ, узнаемъ нѣчто столь неожиданное и противорѣчивое, что наше недоумѣніе увеличивается.

„Объ отношеніи къ своему состоянію, — сообщаетъ г. Берсъ,—Левъ Николаевичъ говорилъ мнѣ, что онъ хотѣлъ избавиться отъ него, какъ отъ зла, которое тяготило его при его убѣжденіяхъ; но онъ поступалъ сначала неправильно, желая перенести это зло на другого, то-есть, *непремѣнно раздать его* и этимъ породилъ другое зло, а именно — *энергическій протестъ и большое неудовольствіе своей жены*. Вслѣдствіе этого протеста онъ предлагалъ ей перевести все состояніе на ея имя, и когда она отказалась, онъ то-же, и безуспѣшно, предлагалъ своимъ дѣтямъ".

Однажды, — разсказываетъ другой свидѣтель (г. Сер-

гѣенко, „Какъ живетъ и работаетъ гр. Л. Н. Толстой“),— встрѣтилъ онъ на улицѣ одного знакомаго и разговорился съ нимъ. „Оказалось, что тотъ живетъ холостякомъ, обѣдаетъ, гдѣ ему нравится, и можетъ во всякое время уединиться въ Москвѣ, какъ на необитаемомъ островѣ“. Разсказавъ объ этой встрѣчѣ, Левъ Николаевичъ добавилъ съ улыбкою:

— И такъ я позавидовалъ ему, что даже совѣстно сказать. Подумайте только: человѣкъ можетъ, *какъ ему угодно*, жить, не причиняя никому страданій. Право-же, это — счастіе!

Что это? Что за шутка? Что за „улыбка?“ И какая недосказанная горечь въ ней?

А вотъ еще болѣе странное, даже какъ будто жуткое признаніе:

„Друга я себѣ буду искать между мужчинами. И никакая женщина не можетъ замѣнить мнѣ друга. Зачѣмъ же мы лжемъ нашимъ женамъ, что мы считаемъ ихъ нашими истинными друзьями? Вѣдь это не правда-же!“

Неужели и это говорилъ онъ съ улыбкою? И это шутка? Счастливѣйшій семьянинъ, подобіе въ современной жизни древне-библейскихъ патріарховъ, Авраама, Исаака и Іакова, прожившій со своею супругою тридцать семь лѣтъ душа въ душу, вдругъ, въ концѣ жизни, завидуетъ свободѣ холостяка, какъ будто собственная семейная жизнь его—тайное рабство, и даетъ понять почти чужому человѣку, что онъ не считаетъ жену свою достойной имени друга.

И тотъ-же самый свидѣтель, который только-что прославлялъ семейное счастіе Л. Толстого, тутъ-же, походя, съ легкимъ сердцемъ, съ невозмутимой ясностью, замѣчаетъ: „въ міровоззрѣніяхъ своихъ они (Левъ Николаевичъ и Софія Андреевна), однако, расходятся“. Но вѣдь „міровоззрѣнія“—это самое святое, что есть у него. И

если расходятся они въ этомъ, то въ чемъ-же сходятся? Развѣ можно отдѣлываться отъ этого шуткою?

Еще, однако, поразительнѣе то, что сообщаетъ Берсъ о чувствахъ „переродившагося“ Л. Толстого къ женѣ:

„Теперь къ женѣ своей Левъ Николаевичъ относится съ оттѣнкомъ требовательности, упрека и даже неудовольствія, обвиняя ее въ томъ, что она препятствуетъ ему раздать состояніе и продолжаетъ воспитывать дѣтей въ прежнемъ духѣ. Жена его, въ свою очередь, считаетъ себя правою и сѣтуетъ на такое отношеніе къ ней мужа. Въ ней поневолѣ развились страхъ и отвращеніе къ ученію (толстовскому) и послѣдствіямъ его. Между ними даже установился тонъ взаимнаго противорѣчія, въ которомъ слышатся жалобы другъ на друга. Раздать состояніе чужимъ людямъ и пустить дѣтей по міру, когда никто не хочетъ исполнять того-же, она не только не находитъ возможнымъ, но и считала своимъ долгомъ воспрепятствовать этому, какъ мать. Высказавъ мнѣ это, она со слезами на глазахъ прибавила:

— Мнѣ теперь трудно, я все должна дѣлать одна, тогда какъ прежде была только помощницей. Состояніе и воспитаніе дѣтей—все на моихъ рукахъ. Меня-же обвиняютъ за то, что я дѣлаю это и не иду просить милостыню! Неужели я не пошла-бы съ нимъ, если-бъ у меня не было малыхъ дѣтей? А онъ все забылъ для своего ученія“.

И, наконецъ, послѣднее, уже самое неимовѣрное признаніе:

„Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояніе для дѣтей, *готова была просить власти объ учрежденіи опеки надъ его имуществомъ*“.

Опека, учреждаемая гр. Софіей Андреевной надъ Л. Толстымъ! Да вѣдь это трагедія, можетъ быть, величайшая въ современной русской, и ужъ во всякомъ случаѣ—въ

его жизни. Это и есть то остріе меча, на которомъ вся судьба человѣческая, рѣшаясь, колеблется. И мы объ этомъ узнаемъ отъ случайныхъ наблюдателей, отъ праздно любопытствующихъ. И это ужасное происходитъ въ самомъ темномъ, тайномъ углу его жизни, глухо и нѣмо. Ни слова отъ него самого, который всю жизнь только и дѣлалъ, что исповѣдывался, который и теперь утверждаетъ, что ему нечего скрывать отъ людей.

Какъ-же онъ, однако, вышелъ изъ этой трагедіи? Или почувствовалъ, что опять ошибся въ дѣйствительныхъ размѣрахъ силъ своихъ, что казавшееся легкимъ и простымъ—на самомъ дѣлѣ безконечно трудно и сложно, и что „суевѣріе собственности"—не „слабая паутина", а самая тяжкая изъ житейскихъ цѣпей, послѣднее звено которой въ сердцѣ, въ плоти и въ крови человѣка, такъ что вырвать его изъ сердца можно только съ плотью и кровью. Понялъ-ли онъ великое и страшное слово Учителя: враги человѣку домашніе его?

Мы знаемъ, какъ поступали въ такихъ-же точно случаяхъ христіанскіе подвижники прошлыхъ вѣковъ. Когда Пьетро Бернардоне, отецъ св. Франциска Ассизскаго, подалъ епископу жалобу, обвиняя сына въ томъ, что онъ расточаетъ имѣніе, хочетъ раздать его бѣднымъ,—Францискъ, снявъ съ себя одежду до послѣдней рубашки, сложилъ платье вмѣстѣ съ деньгами къ ногамъ отца и сказалъ: „до сей поры называлъ я Пьетро Бернардоне отцомъ моимъ. Но теперь, желая послужить Богу, возвращаю этому человѣку все, что я взялъ отъ него, и отнынѣ буду говорить: не отецъ мой Пьетро Бернардоне, а Господь, небесный мой Отецъ". И совершенно голымъ, какимъ вышелъ изъ утробы матери,—прибавляетъ легенда,—бросился Францискъ въ объятія Христа.

Такъ-же поступилъ любимый русскимъ народомъ угод-

никъ, Алексѣй-Божій человѣкъ, тайно бѣжавшій изъ родительскаго дома. Такъ и донынѣ поступаютъ всѣ русскіе подвижники, пожелавшіе исполнить заповѣдь Христа: кто не покинетъ и дома, и полей, и дѣтей во имя Мое, тотъ не достоинъ Меня.

Роздалъ Власъ свое имѣніе,
Самъ остался босъ и голъ
И сбирать на построеніе
Храма Божьяго пошелъ.—
Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла.
. . . . . .
Съ той поры мужикъ скитается
Вотъ ужъ скоро тридцать лѣтъ,
Подаяніемъ питается,
Строго держитъ свой обѣтъ.

Такъ вотъ, что должно было совершиться: великій писатель русской земли долженъ былъ сдѣлаться подвижникомъ русскаго народа,—явленіе небывалое, единственное въ нашей культурѣ,—снова найденный религіозный путь черезъ бездну, вырытую Петровскимъ преобразованіемъ между нами и народомъ.

Не даромъ взоры людей съ такою жадностью устремлены на него—не только на все, что онъ пишетъ, но еще гораздо больше на все, что онъ дѣлаетъ, на самую частную, внутреннюю, семейную и домашнюю жизнь его.—Нѣтъ, тутъ не одно праздное любопытство. Тутъ слишкомъ важное для всѣхъ насъ, для всего будущаго русской культуры. Тутъ уже никакое опасеніе быть нескромнымъ не должно насъ удерживать. Не самъ-ли онъ сказалъ: „у меня нѣтъ никакихъ тайнъ ни отъ кого на свѣтѣ,—пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю“.

Что-же онъ дѣлаетъ?

„Не желая противиться женѣ насиліемъ, — говоритъ г. Берсъ,—онъ сталъ относиться къ своей собственности такъ, какъ будто ея не существуетъ, и отказался отъ своего состоянія, сталъ игнорировать его судьбу и пересталъ имъ пользоваться, *если не считать того, что онъ живетъ подъ кровлею Яснополянскаю дома*". Какъ-же, однако, „если не считать"? Что это значитъ? Онъ исполнилъ заповѣдь Христа: покинулъ и домъ, и поля, и дѣтей,—„если не считать того", что по прежнему остался съ ними? Онъ сдѣлался нищимъ, бездомнымъ, роздалъ свое имѣніе, если не считать того, что согласился, изъ боязни огорчить жену, сохранить свое имѣніе? И о какомъ тутъ „злѣ", о какомъ „насиліи надъ женою" идетъ рѣчь? Конечно, Христосъ насилія не проповѣдывалъ. Онъ не требовалъ, чтобы человѣкъ отнималъ имѣніе у жены и дѣтей, чтобы раздать его бѣднымъ, но онъ дѣйствительно требовалъ,—и какъ точно, какъ ясно,—чтобы, если нельзя человѣку освободиться иначе отъ собственности, онъ покинулъ вмѣстѣ со своими полями, домомъ, имѣніемъ и жену, и дѣтей, взялъ крестъ свой и шелъ за Нимъ, чтобы онъ по крайней мѣрѣ понялъ до конца это слово: враги человѣку домашніе его.

Но вѣдь это свыше силъ человѣческихъ, это—возстаніе на собственную плоть и кровь?—А развѣ все ученіе Христа, по крайней мѣрѣ, понятое съ одной стороны, именно такъ, какъ понимаетъ его и Толстой,—не есть возстаніе на собственную плоть и кровь? Господь и не считалъ это легкимъ, не говорилъ, что отречься отъ собственности значитъ разрушить „слабую паутину". Онъ предвидѣлъ, что это—самая тяжелая цѣпь для человѣка, послѣднее звено которой можно вырвать изъ сердца только съ плотью и съ кровью, что нельзя освободиться отъ нея иначе, какъ расторгнувъ самыя живыя, любовныя, кров-

ныя человѣческія связи, покинувъ вмѣстѣ съ имуществомъ и отца, и мать, и жену, и дѣтей. Вотъ, почему сказалъ Онъ съ такой безконечно-грустною и безконечно-милосердною усмѣшкою: истинно, истинно говорю вамъ—легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти въ царствіе Божіе.

Такъ Онъ сказалъ.—Что-же говоритъ Л. Толстой? Но онъ молчитъ, какъ будто дѣла его говорятъ за него, или какъ будто тутъ никакого противорѣчія нѣтъ, никакой трагедіи нѣтъ, какъ будто все для него по прежнему легко, ясно и просто. Только странная легенда, житіе этого современнаго святого отвѣчаетъ за него: *„онъ старается закрывать глаза* и весь уходитъ въ исполненіе своей программы жизни. Онъ не хочетъ видѣть денегъ, по возможности избѣгаетъ даже брать ихъ въ руки и никогда не носитъ при себѣ“ (Анна Сейронъ). И ему настолько удалось примирить волю жены съ волею Бога, что „въ послѣднее время,—замѣчаетъ Берсъ,—Софья Андреевна стала относиться спокойнѣе къ ученію своего мужа,—она свыклась“.—Такъ вотъ новый способъ, оставаясь верблюдомъ, проходить сквозь игольное ушко—„не брать денегъ въ руки“, „не носить ихъ при себѣ“ и „закрывать глаза“.

Полно, не иронія-ли это, не самая-ли злая насмѣшка надъ нимъ, надъ нами и надъ ученіемъ Христа? И ежели это имѣетъ какой-нибудь смыслъ передъ судомъ человѣческимъ, то передъ Божьимъ судомъ,—что-же, наконецъ, исполнилъ-ли онъ заповѣдь Христа или не исполнилъ, роздалъ-ли имѣніе или не роздалъ? Тутъ не можетъ быть двухъ отвѣтовъ, не можетъ быть середины, тутъ одно: или да, или нѣтъ.

Мы не знаемъ, что онъ самъ объ этомъ думаетъ и что чувствуетъ, не видимъ внутренней стороны его жизни,

за то внѣшнюю—знаемъ до послѣдней подробности: благодаря рысьимъ глазамъ безчисленныхъ газетныхъ вѣстовщиковъ, стѣны дома его сдѣлались прозрачными, какъ-бы стеклянными. Мы видимъ, какъ онъ ѣстъ, пьетъ, спитъ, одѣвается, работаетъ, тачаетъ сапоги и читаетъ книги. Можетъ быть, мелочи эти, иногда столь знаменательныя, дадутъ намъ ключъ къ тайнику его совѣсти?—Но вотъ, по мѣрѣ того, какъ мы наблюдаемъ, вникаемъ, — наше смущеніе не только не проходитъ, а еще усиливается.

Съ особенною тщательностью свидѣтели описываютъ довольство и обиліе, до края полную хозяйственную чашу, или, какъ одинъ изъ нихъ выражается—„выдержанность и солидность стариннаго барства“ въ домѣ Толстыхъ. Мы видимъ этотъ небольшой двухъ-этажный, въ Долго-Хамовническомъ переулкѣ, особнякъ, который зимнею ночью издали свѣтится окнами между бѣлыми, опушенными инеемъ, деревьями стариннаго сада. Внутри все дышетъ привѣтливой, уютной веселостью и „неуловимою благородною простотою“,—широкая лѣстница, высокія, свѣтлыя, немного пустынныя залы, лишенныя всякихъ ненужныхъ украшеній, старинная гладкая мебель краснаго дерева и „учтивый лакей“ во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ, встрѣчающій посѣтителей, о которомъ мы должны помнить, что Левъ Николаевичъ не пользуется его услугами, такъ какъ самъ убираетъ свою комнату, даже возитъ воду въ бочкѣ, не на лошади, а на себѣ. Кабинетъ „напоминаетъ простотою кабинетъ Паскаля“. Это—небольшая низкая комната съ тянущейся подъ потолкомъ желѣзною трубою. „Когда въ началѣ 80-хъ годовъ,—сообщаетъ г. Сергѣенко,—шла перестройка всего дома, то Левъ Николаевичъ не хотѣлъ отдавать свой кабинетъ въ жертву богу роскоши, увѣряя графиню, что многіе полезнѣйшіе дѣятели живутъ и работаютъ въ несравненно

худшихъ помѣщеніяхъ, чѣмъ онъ". Но едва-ли не съ большимъ правомъ могъ-бы онъ сказать, что немногіе „дѣятели" живутъ и работаютъ въ лучшихъ комнатахъ, чѣмъ онъ.—Въ ней нѣтъ ничего лишняго—ни картинъ, ни ковровъ, ни бездѣлушекъ. Но опытные работники знаютъ, что все ненужное только развлекаетъ, мѣшаетъ сосредоточенію мысли. Желѣзная труба подъ потолкомъ кажется некрасивою. Но она устроена для него нарочно, по требованіямъ новѣйшей гигіены, однимъ изъ его знакомыхъ: „особенность ея заключается въ томъ, что она, при помощи одной лампы, отлично вентилируетъ и отчасти согрѣваетъ рабочій кабинетъ". Всегда чистый воздухъ, равномѣрное тепло. Чего-же лучше?—Но главное достоинство этой комнаты—тишина. Послѣ перестройки дома оставшійся неприкосновеннымъ кабинетъ Льва Николаевича очутился „какъ-бы между небомъ и землею". Это испортило боковой фасадъ дома. „Зато въ отношеніи тишины и спокойствія кабинетъ только выигралъ". Окна выходятъ въ садъ. Ни одинъ звукъ не долетаетъ съ улицы. Отдаленное отъ жилыхъ покоевъ дома убѣжище это „всегда полно тишины, располагающей къ размышленію". Только тѣ, кто всю жизнь проводитъ въ созерцаніи, умѣютъ цѣнить по достоинству величайшее удобство комнаты—ея совершенное уединеніе и спокойствіе, ненарушимое, надежное безмолвіе. За это можно отдать все. Это—блаженство и глубокая нѣга, единственная и незамѣнимая роскошь мыслителей. И какъ она рѣдко, какъ трудно достижима въ современныхъ большихъ городахъ. Въ сравненіи съ этою истинною роскошью, какими варварскими кажутся мѣщанскія затѣи нашего изнѣженнаго и въ самой изнѣженности огрубѣлаго, на американскій ладъ одичалаго вкуса.

Еще пріятнѣе, еще безмолвнѣе рабочая комната Льва

Николаевича въ Ясно-Полянскомъ домѣ, въ затишьи стариннаго парка съ аллеями вѣковыхъ березъ и липъ, въ заповѣдномъ дворянскомъ гнѣздѣ, одномъ изъ прелестнѣйшихъ уголковъ средней Россіи. Комната эта, съ некрашеннымъ поломъ, сводчатымъ потолкомъ и толстыми стѣнами, прежде была кладовою. Въ самые знойные лѣтніе дни здѣсь „прохладно, какъ въ погребѣ“. Различные инструменты—лопата, коса, пила, щипцы, напилки—придаютъ убранству наивную, напоминающую дѣтство, свѣжую прелесть Робинзоновскаго жилища. Эти два рабочихъ кабинета—зимній и лѣтній—настоящія тихія, роскошно-простыя кельи современнаго ученика Эпикура, умѣющаго, какъ никто, извлекать изъ тѣлесной и духовной жизни самыя чистыя, невинныя, никогда не измѣняющія радости.

И все въ домѣ, по мѣрѣ силъ и возможности, соотвѣтствуютъ благородному, утонченному вкусу хозяина, его любви къ *роскошной простотѣ*. Гр. Софія Андреевна заботится, чтобы никакая житейская мелочь не оскорбляла его, не тревожила. „Все сложное и хлопотливое дѣло по хозяйству и по управленію дѣлами находится на ея попеченіи.—Помощниковъ у нея нѣтъ“. А между тѣмъ величайшій порядокъ царствуетъ въ домѣ. Кучеръ Толстыхъ недаромъ говорилъ г. Сергѣенкѣ, что графиня „страсть какъ порядокъ любитъ“.—„Она неутомима и всюду вноситъ свою живую энергію, домовитость и распорядительность. Стоитъ ей уѣхать по дѣламъ на день, на два изъ Ясной Поляны, и сложная машина, называемая „домомъ“, уже начнетъ поскрипывать и давать перебои.—Она превосходная хозяйка, внимательная, обходительная, хлѣбосольная. Ѣстся и спится въ Ясной Полянѣ какъ дома“.

За всегда обильнымъ, умѣренно простымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ роскошнымъ столомъ Льву Николаевичу подаются особыя растительныя блюда. Вегетаріанство доставляетъ

графинѣ множество хлопотъ: „она относится къ нему отрицательно и только терпитъ его въ домѣ, какъ своего рода крестъ“,—такъ оно трудно и сложно. Но не ропщетъ, сама иногда слѣдитъ на кухнѣ за приготовленіемъ новыхъ блюдъ, и она достигла, наконецъ, того, что растительный столъ въ Ясной Полянѣ такъ-же вкусенъ, питателенъ и даже почти такъ-же разнообразенъ, какъ мясной. Левъ Николаевичъ, можетъ быть, никогда не узнаетъ, чего ей это стоило, и что такія растительныя блюда, какія онъ имѣетъ, при всей простотѣ своей, на самомъ дѣлѣ, *роскошпе*, изысканнѣе мясныхъ, потому что требуютъ гораздо большой изобрѣтательности, новаго творческаго искусства, любовнаго вниманія и терпѣнія хозяйки. И ужъ конечно, если-бы онъ, подобно дядѣ Власу, ходилъ по большимъ дорогамъ или, какъ это онъ совѣтовалъ старшему сыну, нанялся-бы въ батраки къ мужику, ему не удалось бы съ такою точностью соблюдать вегетаріанскій постъ, можетъ быть, даже пришлось-бы поневолѣ ѣсть запретную „убоину“, какую нибудь селедку или печенку со Смоленскаго. Зато теперь жидкая овсяная похлебка, которую онъ любитъ, едва-ли не вкуснѣе самыхъ дорогихъ и сложныхъ суповъ, приготовляемыхъ тысячными поварами, ячменный кофе съ миндальнымъ молокомъ, если не такъ душистъ, какъ чистый мокка, за то насколько здоровѣе. Къ тому-же, тѣлесная усталость, голодъ и жажда—лучшія приправы блюдъ: онъ помнитъ воду въ брусницѣ, которой послѣ косьбы старый крестьянинъ угостилъ однажды Левина.

— „Ну-ка, кваску моего! А, хорошъ?—говорилъ мужикъ, подмигивая.

„И дѣйствительно, Левинъ никогда не пивалъ такого напитка, какъ эта теплая вода съ плавающею зеленью и ржавымъ отъ жестяной брусницы вкусомъ.—Старикъ накрошилъ въ чашку хлѣба, размялъ его стеблемъ ложки,

налилъ воды изъ брусницы, еще разрѣзалъ хлѣба и, посыпавъ солью, сталъ на востокъ молиться.

— „Ну-ка, баринъ, моей тюрьки.

„Тюрька была такъ вкусна, что Левинъ раздумалъ ѣхать домой обѣдать".

Вотъ, кто умѣетъ ѣсть и пить. Пресыщеннымъ гостямъ Тримальхіона или современнымъ гастрономамъ не снились такія наслажденія, которыя всегда испытываетъ этотъ совершенный эпикуреецъ.

Одежда его такъ-же проста, какъ пища, и настолько пріятнѣе, роскошнѣе нашего некрасиваго, унизительно стѣсняющаго тѣло, не русскаго, презираемаго народомъ и, въ сущности, угрюмо-аскетическаго платья.—Левъ Николаевичъ носитъ зимою сѣрыя, фланелевыя, очень мягкія и теплыя—а лѣтомъ свободныя, прохладныя блузы своеобразнаго покроя. И никто не умѣетъ ихъ шить такъ, чтобы онѣ сидѣли на немъ удобно и просторно,—по всей вѣроятности, искуснѣйшіе портные Парижа и Лондона не угодили-бы ему,—никто, кромѣ старухи Варвары изъ Ясно-Полянской деревни, да, можетъ быть, еще Софіи Андреевны. Верхнее платье—кафтаны, тулупы, полушубки, баранья шапка, высокіе кожаные сапоги—тоже все не случайнаго, а глубоко обдуманнаго покроя, приноровленнаго къ ведру и ненастью. Они такъ удобны и пріятны, что ими часто, соблазняясь, пользуются гости и домашніе. Это настоящая одежда сельскаго и притомъ сѣвернаго эпикурейца.

И въ этой одеждѣ свойственно ему даже нѣкоторое особое, неожиданное щегольство. Въ юности огорчался онъ тѣмъ, что лицо у него „совсѣмъ какъ у простого мужика". Теперь онъ этимъ хвастаетъ. Онъ любитъ разсказывать, какъ на улицахъ и въ незнакомыхъ домахъ принимаютъ его за настоящаго мужика или даже за бродягу.

— „Значитъ, аристократизмъ, — заключаетъ онъ, — не написанъ на лицѣ!“

Однажды Пьеръ Безуховъ, тоже нарядившись въ мужицкое платье, съ ребяческою гордостью залюбовался на свои босыя ноги, „съ удовольствіемъ переставляя ихъ въ различныя положенія, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякій разъ, какъ онъ взглядывалъ на свои босыя ноги, на лицѣ его пробѣгала улыбка оживленія и самодовольства“.—Въ юности Левъ Николаичъ страстно мечталъ о георгіевскомъ крестикѣ и флигель-адъютантскихъ аксельбантахъ. Теперь его плѣняютъ уже иные, болѣе современные знаки отличія. Но въ концѣ концовъ, не все-ли равно, какіе именно ордена—дырявыя-ли онучи или блестящіе аксельбанты? Да и онъ вѣдь только утѣшается: аристократизмъ все-таки написанъ на лицѣ его неизгладимыми чертами, и подъ мужичьимъ полушубкомъ виденъ въ немъ прежній безукоризненно свѣтскій человѣкъ, и даже въ этой внѣшней грубой оболочкѣ свѣтскость, можетъ, быть, еще замѣтнѣе, еще обаятельнѣе. Такъ иногда у самыхъ великолѣпныхъ восточныхъ тканей основа дѣлается нарочно грубой и шероховатой, чтобы тѣмъ роскошнѣе выступали по ней тонкія искрящіяся нити золотыхъ и шелковыхъ узоровъ.

Мягкихъ постелей, пуховыхъ подушекъ онъ терпѣть не можетъ: ему на нихъ томно и душно. Онъ предпочитаетъ прохладныя кожаныя изголовья. Но сибаритъ, который, томясь безсонницей на опостылѣвшемъ ложѣ изъ розъ, мучится неловко подвернувшимся лепесткомъ, какъ-бы долженъ завидовать сну Льва Николаевича на его эпикурейски-мудромъ, жесткомъ и сладостномъ ложѣ.

Идиллическій запахъ навоза трогалъ чуть не до слезъ одного изъ самыхъ чувственныхъ и чувствительныхъ баловней-баричей XVIII вѣка — Жанъ-Жака Руссо. Левъ

Николаевичъ также любитъ запахъ навоза. „Однажды утромъ,—разсказываетъ Анна Сейронъ,—пришелъ онъ къ завтраку прямо со свѣже-унавоженнаго поля. Въ то время въ Ясной Полянѣ собралось еще нѣсколько пришельцевъ, охотно занимавшихся удобреніемъ поля вмѣстѣ съ графомъ. Окна и двери въ комнатѣ стояли всѣ настежъ открытыми, иначе нелья было-бы дышать. Графъ оглядывался на насъ весело, съ довольной улыбкой". Онъ любитъ и благоуханія. Послѣ косьбы, уходя съ луга,—сообщаетъ г. Берсъ,—непремѣнно вытащитъ изъ копны клочекъ сѣна и, восхищаясь запахомъ, нюхаетъ его. „Лѣтомъ онъ всегда держитъ при себѣ цвѣтокъ, одинъ, но пахучій. Онъ держитъ его на столѣ, или въ рукѣ, или заткнутымъ за кожаный поясъ". Надо видѣть, съ какимъ наслажденіемъ онъ прижимаетъ его къ своимъ ноздрямъ и „при этомъ во взглядѣ его на окружающихъ удивительно-нѣжное выраженіе". Ему также чрезвычайно нравятся французскіе духи и надушенное бѣлье. „Графиня заботится, чтобы въ шкафу его съ бѣльемъ всегда лежало саше". Такъ, Левъ Николаевичъ изобрѣлъ новый, утонченный способъ наслаждаться ароматами: послѣ навоза—запахъ цвѣтка и духовъ еще упоительнѣе. Вотъ символъ, вотъ соединеніе: подъ крестьянскимъ, христіанскимъ полушубкомъ—бѣлье, надушенное сладострастнымъ шипромъ или дѣвственною Пармскою фіалкою.

Веселый мудрецъ, который нѣкогда въ Аттикѣ, обрабатывая собственными руками крошечный садъ, училъ людей довольствоваться малымъ и ни во что не вѣрить, ни на небесахъ, ни на землѣ, кромѣ счастья, какое можетъ дать лучъ солнца, цвѣтокъ, немного хвороста, горящаго зимой, и лѣтомъ—немного студеной воды изъ глиняной чаши,—призналъ-бы въ Л. Толстомъ своего вѣрнаго и, кажется, единственнаго ученика въ этотъ варварскій вѣкъ,

когда, среди безумно-изнѣженнаго и все-таки нищенски-грубаго, одичалаго американскаго „комфорта“, мы всѣ давно забыли, что такое—истинная роскошь.

И графиня Софья Андреевна, уже переставшая спорить о раздачѣ имѣнія и потихоньку, съ нѣжно-хитрой, материнской улыбкой прячущая въ бѣлье Льва Николаевича саше съ его любимыми духами, услуживаетъ, помогаетъ ему, вѣрная и тайная сообщница въ этой новой, трудной и необычайной роскоши. „Она смотритъ ему въ глаза“—замѣчаетъ одинъ изъ наблюдателей. „Она, какъ неусыпная нянька, заботится о немъ,—сообщаетъ другой,—и только на самое короткое время разстается съ нимъ.—Изучивши подробно, въ теченіе многихъ лѣтъ, привычки мужа, она, по выходѣ Льва Николаевича изъ кабинета, уже по одному его виду знаетъ, какъ ему работалось, и въ какомъ онъ настроеніи. И если нужно что-нибудь переписать для него, то она немедленно всѣ свои дѣла, которыхъ у нея всегда полны руки, отложитъ; и солнце въ этотъ день можетъ не появляться, а къ извѣстному часу все, что̀ нужно, непремѣнно будетъ ею четко переписано и положено на письменный столъ“. И пусть онъ кажется неблагодарнымъ, пусть говоритъ, что жена ему не другъ, пусть даже не чувствуетъ ея любви, какъ воздуха, которымъ дышетъ,—ей вѣдь и не нужно награды иной, кромѣ сознанія, что безъ нея не могъ-бы онъ прожить ни дня, что она его сдѣлала тѣмъ, что̀ онъ есть. И „неусыпная нянька“ лелѣетъ, балуетъ, баюкаетъ, окружаетъ своими заботами и ласками, какъ невидимыми, мягкими и крѣпкими сѣтями—„слабою паутиною“—этого вѣчно-непокорнаго и безпомощнаго семидесятилѣтняго ребенка.

Но, можетъ быть, все-таки тайный червь грызетъ ему сердце? Можетъ быть, преслѣдуетъ и мучаетъ его сознаніе, что не исполнилъ онъ заповѣди Христа, и пока тѣло

его наслаждается, душа скорбитъ смертельно? Не замѣчаетъ-ли и гр. Софья Андреевна въ томъ самомъ письмѣ, гдѣ говоритъ о совершившемся въ немъ христіанскомъ переворотѣ,—что онъ „посѣдѣлъ, ослабъ здоровьемъ и сталъ тише, унылѣе, чѣмъ былъ“. Г. Берсъ также увѣряетъ, будто-бы, пріѣхавъ къ нему послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки, сразу почувствовалъ, „что веселое и оживляющее другихъ расположеніе духа, которое постоянно жило въ Львѣ Николаевичѣ, теперь совсѣмъ исчезло“.—„Ласковый, а вмѣстѣ съ тѣмъ и серьезный тонъ его встрѣчи какъ будто давалъ мнѣ понять, что радость моя велика теперь, но истинныя радости вовсе не эти“.

Вникая, однако, въ жизнь Л. Толстого, нельзя не придти къ выводу, что этому „унынію“ не должно придавать особеннаго значенія. Едва-ли не было оно въ связи съ временнымъ нездоровьемъ, однимъ ихъ тѣхъ, свойственныхъ ему, періодически повторяющихся колебаній, отливовъ и приливовъ тѣлесной бодрости, которые соотвѣтствуютъ такимъ-же періодически совершающимся въ немъ духовнымъ переворотамъ. По крайней мѣрѣ, г. Берсъ сообщаетъ, что уже и въ день его пріѣзда Левъ Николаевичъ не выдержалъ своего „серьезнаго тона“, своей новой, какъ-бы монашеской, тихости: „навѣрно угадывая мою грусть по поводу произведеннаго имъ на меня впечатлѣнія, онъ, къ удовольствію всѣхъ насъ, пошутилъ со мною, внезапно вскочивъ мнѣ на спину, когда я ходилъ по залѣ“. И по этой шалости, которой дѣйствительно трудно было ожидать отъ человѣка, однимъ своимъ видомъ желавшаго показать, что „истинныя радости совсѣмъ не эти“,—посѣтитель тотчасъ-же узналъ въ немъ прежняго Льва Николаевича.

Нѣтъ, радость жизни не изсякла въ немъ и донынѣ: и можетъ быть, даже именно теперь, въ старости, неисчер-

паемый родникъ этой вѣчно-дѣтской радости кипитъ и бьетъ въ немъ съ еще большею силою, чѣмъ въ юности.

„Нельзя передать съ достаточной полнотой того веселаго и привлекательнаго настроенія, которое царитъ въ Ясной полянѣ,—разсказываетъ очевидецъ,—и котораго источникъ всегда Левъ Николаевичъ.—Вспоминаю игру въ крокетъ. Въ ней участвовали всѣ—и взрослые, и дѣти. Она начиналась обыкновенно послѣ обѣда и кончалась со свѣчами. Игру эту я и теперь готовъ считать *азартною*, потому что я игралъ въ нее съ Львомъ Николаевичемъ.—Дѣти особенно дорожатъ его обществомъ, наперерывъ желаютъ играть съ нимъ въ одной партіи; радуются когда онъ затѣетъ для нихъ какое-нибудь упражненіе.—Со мною онъ косилъ, вѣялъ, дѣлалъ гимнастику, бѣгалъ на перегонки, игралъ въ чехарду и городки". Это было нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Но г. Сергѣенко, который разсказываетъ о жизни его за послѣдніе, годы, сообщаетъ что онъ и теперь по-прежнему играетъ цѣлыми днями въ лаунъ-теннисъ и „бѣгаетъ съ мальчиками взапуски". Вѣчный праздникъ, какъ-бы новый золотой вѣкъ. „Въ домѣ у Толстыхъ,—говоритъ Сергѣенко,—всегда получается такое впечатлѣніе, какъ будто у нихъ назначенъ любительскій спектакль и цѣлый цвѣтникъ молодежи готовится къ этому событію, наполняя весь домъ шумнымъ оживленіемъ, въ которомъ иногда принимаетъ дѣятельное участіе и Левъ Николаевичъ. Особенно, если возникаетъ какая-нибудь забава, требующая движенія, выносливости и проворства, тогда Л. Н. поминутно будетъ поглядывать на играющихъ и участвовать душою въ ихъ удачахъ и неудачахъ; часто онъ и самъ не выдерживаетъ и вмѣшивается въ игру, обнаруживая при этомъ еще столько молодого жара и мускульной гибкости, что часто даже завидно дѣлается, когда глядишь на него". Да, вѣчный

праздникъ вѣчная игра—то въ полѣ за сохою, то въ лаунъ-теннисѣ, то на лугу съ косцами, то за расчисткою снѣга для конькобѣжнаго катка, то за постройкою печки для бѣдной бабы. И напрасно Софья Андреевна тревожится сомнѣніями, могутъ-ли быть Льву Николаевичу въ его годы полезными тридцативерстныя прогулки на велосипедѣ. Что-бы ни говорили врачи, онъ чувствуетъ, что это постоянное, какъ будто-бы даже чрезмѣрное напряженіе мышцъ и мускуловъ, эта вѣчная гимнастика или игра, которая еще забавнѣе и пріятнѣе, когда называется „работою",—необходимы для его здоровья, для его жизни.

— Она укрѣпляетъ меня,—признается онъ самъ,—даетъ мнѣ крѣпкій сонъ бодрое настроеніе и дѣлаетъ меня похожимъ на рабочую травяную лошадь. Дайте ей только отдохнуть, да накормите ее, и она опять годна для работы.

Берсъ разсказываетъ объ одной игрѣ, изобрѣтенной Львомъ Николаевичемъ, которая возбуждала въ дѣтяхъ особенно-рѣзвый и шумный восторгъ. Эта игра, подъ названіемъ „Нумидійская конница", заключалась въ томъ, что „Левъ Николаевичъ совершенно внезапно вскакивалъ съ мѣста и, поднявъ одну руку вверхъ и предоставивъ свободу этой кисти, слегка пробѣгалъ по комнатамъ. Всѣ дѣти, а иногда и взрослые, слѣдовали его примѣру съ такой-же внезапностью". Въ этомъ старикѣ, который, какъ маленькій мальчикъ, съ внезапной рѣзвостью бѣгаетъ по комнатамъ и даже взрослыхъ увлекаетъ въ игру, я узнаю того, кто говоритъ о себѣ съ младенчески-ясною улыбкою: „я человѣкъ веселый, я всѣхъ люблю, я—дядя Ерошка!"

Изображая первыя, какъ сны, волшебныя и темныя воспоминанія самаго далекаго дѣтства, когда ему было года три-четыре, описываетъ онъ одно изъ наиболѣе счастливыхъ и сильныхъ впечатлѣній своихъ—купаніе въ корытѣ: „я въ пер-

вый разъ замѣтилъ и *полюбилъ свое тѣльце* съ видными мнѣ ребрами на груди и гладкое темное корыто засученныя руки няни и теплую, парную, стращеную воду, и звукъ ея, и въ особенности ощущеніе гладкости мокрыхъ краевъ корыта, когда водилъ по нимъ рученками". Можно сказать, что съ того мгновенія, какъ трехлѣтнимъ ребенкомъ впервые замѣтилъ онъ и *полюбилъ* свое маленькое голое тѣло, онъ такъ и не переставалъ любить и жалѣть его всю жизнь. Глубочайшая стихійная основа всѣхъ его чувствъ и мыслей—именно это первое, чистое, безпримѣсное ощущеніе плотской жизни—любовь къ плоти. Это чувство выразилъ онъ, описывая радостное сознаніе животной жизни, которое однажды овладѣло Вронскимъ передъ свиданіемъ съ Анной Карениной. „Чувство это было такъ сильно, что онъ невольно улыбался. Онъ спустилъ ноги, заложилъ одну на колѣно другой и, взявъ ее въ руку, ощупалъ упругую икру ноги, зашибленной вчера при паденіи, и, откинувшись назадъ, вздохнулъ нѣсколько разъ всею грудью: „хорошо, очень хорошо"!—сказалъ онъ самъ себѣ. Онъ и прежде часто испытывалъ радостное сознаніе своего тѣла, но *никогда онъ такъ не любилъ себя, своего тѣла*".

Кажется, ни въ комъ эта чистая животная радость плотской жизни, знакомая древнимъ, теперь сохранившаяся только у дѣтей, не выражалась съ такой откровенною, первобытною и невинно-безстыдною обнаженностью, какъ во Л. Толстомъ. И съ годами она не только не уменьшается, но даже увеличивается, какъ-бы отстаивается, очищается отъ всякихъ постороннихъ примѣсей. Какъ вино, она въ немъ,—„чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй". Весна его жизни кажется мрачной и бурной по сравненію съ этой золотой лучезарно-тихою осенью. Какъ выразился одинъ итальянскій дипломатъ XVI вѣка о другомъ великомъ жизнелюбцѣ и эпикурейцѣ—папѣ Александрѣ Борджіа,—

Левъ Николаевичъ „къ старости молодѣетъ“. Думая готовиться только къ земному безсмертію:

И ежели жизнью земною
Творецъ ограничилъ летучій нашъ вѣкъ,
И насъ за могильной доскою,
За міромъ явленій не ждетъ ничего,—
Творца оправдаетъ могила его.

„Кто не былъ въ этомъ небольшомъ деревянномъ домѣ, выкрашенномъ темною охрою?—умиляется Сергѣенко,—ученые и писатели, художники и артисты, государственные и финансовые дѣятели, губернаторы, сектанты, земцы, сенаторы, студенты, военные, фабричные, рабочіе, крестьяне, корреспонденты всѣхъ цвѣтовъ и націй и проч., и проч. Не проходитъ дня зимою, чтобы въ Долго-Хамовническомъ переулкѣ не появилось какое-нибудь новое лицо, ищущее свиданія съ знаменитымъ русскимъ писателемъ.—Кто только не обращается къ нему съ привѣтствіемъ, съ сочувствіемъ, съ мучительными запросами и обвиненіями? Русская и французская молодежь, американцы, голландцы, поляки, англичане, баронесса Берта Сутнеръ и набожный браминъ изъ Индіи, умирающій Тургеневъ и мечущійся, какъ раненый звѣрь, разбойникъ Чуркинъ.

— „Радостно узнавать,—сказалъ однажды Левъ Николаевичъ,—про вліяніе на другихъ людей, потому что только тогда убѣждаешься, что огонь, который въ тебѣ—настоящій,—настоящій, если зажигаетъ“.

Эти слова напоминаютъ его-же признаніе другому собесѣднику нѣсколько лѣтъ назадъ:

—„Я не заслужилъ генерала-отъ-артиллеріи, зато сдѣлался генераломъ-отъ-литературы“.

Теперь онъ могъ-бы сказать, что заслужилъ генерала не только отъ литературы, но и отъ новой, грядущей въ

міръ, соціально-демократической религіи.—И второе повышеніе выгоднѣе перваго.

Такъ сумѣлъ онъ соединить утонченнѣйшую роскошь и нѣгу плоти съ послѣднею роскошью и сладострастіемъ духа—славою.

Гдѣ-же, однако, заповѣдь Христа объ отреченіи отъ собственности, о совершенномъ смиреніи и совершенной бѣдности, какъ единственномъ пути въ царствіе Божіе? Гдѣ этотъ соединяющій путь, какъ-бы мостъ, перекинутый надъ пропастью, которую вырыли между нашей вѣрою и вѣрою русскаго народа преобразованія Петра? Гдѣ великій писатель земли русской въ образѣ великаго подвижника? И что сталось—увы,—съ нашей надеждою на возможность чуда въ исторіи русской культуры,—того, что этотъ, не только плотскими, но и духовными сокровищами, богатѣйшій изъ людей будетъ дѣйствительно въ потѣ лица своего зарабатывать хлѣбъ свой или, какъ дядя Власъ, „въ армякѣ, съ открытымъ воротомъ, съ обнаженной головой“,—протягивать руку за милостыней на построеніе еще невѣдомаго русскаго и всемірнаго храма. До этого веселаго „охотника“, стараго язычника, дяди Ерошки, до этого обновленнаго барина-эпикурейца, роскошнаго въ самомъ воздержаніи и простотѣ, какое дѣло—не американскимъ квакерамъ, не „корреспондентамъ всѣхъ цвѣтовъ и націй“, не баронессѣ Бертѣ Сутнеръ и Полю Деруледу, не губернаторамъ, студентамъ, сенаторамъ, государственнымъ и финансовымъ дѣятелямъ и проч., и проч.,—а тому, у кого не только на словахъ—

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла,

тому, кто не только на словахъ „роздалъ имѣніе“,—

Самъ остался босъ и голъ,

кто и донынѣ скитается по слѣдамъ „Царя небеснаго, въ рабскомъ видѣ обошедшаго родную землю“?

Полонъ скорбью неутѣшною,
Смуглолицъ, высокъ и прямъ,
Ходитъ онъ стопой неспѣшною
По селеньямъ, городамъ.
. . . . . .
Ходитъ съ образомъ и съ книгою,
Самъ съ собой все говоритъ
И желѣзною веригою
Тихо на ходу звенитъ.

Удивительно, съ какимъ единодушнымъ сочувствіемъ всѣ жизнеописатели не нарадуются на уютность, теплоту и довольство свитаго Львомъ Николаевичемъ и Софіей Андреевной семейнаго гнѣзда. Хоть бы у кого-нибудь изъ нихъ промелькнула мысль о противорѣчіи между словомъ и дѣломъ того, кто обличаетъ въ противорѣчіяхъ всю человѣческую культуру. Но имъ, повидимому, и въ голову не приходитъ, что объ этомъ надо говорить поосторожнѣе, позастѣнчивѣе, что это прославляемое ими довольство и барская, даже какъ-бы нѣсколько мѣщанская сытость „благопристойной и добродѣтельной семьи“ можетъ произвести впечатлѣніе, неожиданное на тѣхъ, кому случится вспомнить слѣдующія слова:

„Одна степенно ведомая въ предѣлахъ приличія, роскошная жизнь благопристойной, такъ называемой добродѣтельной семьи, проѣдающей, однако, на себя столько рабочихъ дней, сколько достаточно-бы на прокормленіе тысячъ людей, въ нищетѣ живущихъ рядомъ съ этой семьей,—болѣе развращаетъ людей, чѣмъ тысячи неистовыхъ оргій грубыхъ купцовъ, офицеровъ, рабочихъ, предающихся пьянству и разврату, разбивающихъ для потѣхи зеркала, посуду и т. п.“

Не собственную-ли степенно ведомую и роскошную жизнь въ Ясной Полянѣ разумѣлъ Левъ Николаевичъ въ этихъ словахъ своихъ? И не должно-ли заключить изъ нихъ, что онъ чувствуетъ себя въ своемъ домѣ, какъ въ разбойничьемъ вертепѣ? Или это только страшныя слова—не болѣе?

Одинъ изъ наивныхъ списателей толстовской легенды, сообщивъ, что графъ, хотя и не роздалъ имѣнія, но пересталъ имъ пользоваться, „не считая того, что остался подъ кровлей Яснополянскаго дома", прибавляетъ, какъ будто для того, чтобы заглушить уже всякія возможныя сомнѣнія и тревоги въ совѣсти читателя: „они (супруги Толстые) ежегодно раздаютъ отъ двухъ до трехъ тысячъ рублей бѣднымъ". По математическому расчету, который въ 80-хъ годахъ произвелъ такое дѣйствіе на совѣсть Льва Николаевича, эти двѣ-три тысячи равнялись-бы, пятнадцать лѣтъ назадъ, двумъ-тремъ копейкамъ плотника Семена, а въ настоящее время—одной копейкѣ или даже полушкѣ, ибо состояніе Льва Николаевича именно за послѣдніе годы значительно выросло и не перестаетъ расти, благодаря дѣловитости графини Софіи Андреевны, которая, „по совѣту одной подруги,—какъ сообщаетъ Анна Сейронъ,—начала извлекать сама выгоды изъ сочиненій графа". „Дѣла у нея идутъ такъ хорошо, что прежніе издатели изъ зависти стараются ей мѣшать, но она энергично ведетъ съ ними борьбу. Положеніе графа при этомъ выходитъ страннымъ. Его убѣжденіе говоритъ ему, что деньги—вредъ и кладутъ начало всякой порчѣ.—„Кто даетъ деньги—тотъ даетъ зло".—Теперь-же вдругъ открылся новый источникъ золота въ собственныхъ изданіяхъ. Сначала онъ не хотѣлъ слушать, когда заводилась рѣчь о деньгахъ и книгахъ; лицо его принимало выраженіе смущенія и страданія. Но графиня твердо стояла на своемъ,

чтобы обезпечить будущность дѣтей. Положеніе вещей, какъ оно было раньше, не могло продолжаться съ увеличеніемъ семьи и при возрастающихъ расходахъ".

Тогда-то именно Левъ Николаевичъ „постарался закрыть глаза" и „весь ушелъ въ исполненіе своей программы жизни", своихъ „четырехъ упряжекъ". Но чѣмъ неумолимѣе разоблачалъ онъ противорѣчія современнаго буржуазнаго общества, чѣмъ искреннѣе проповѣдывалъ исполненіе заповѣди Христа, отреченіе отъ собственности, тѣмъ лучше расходились изданія Софіи Андреевны, тѣмъ большій доходъ получала она съ нихъ. И то, что, казалось, грозило,—на самомъ дѣлѣ только способствовало имущественному благополучію семьи.

Однажды „отецъ Льва Николаевича, — разсказываетъ Сергѣенко,—будучи въ 1813 году, послѣ блокады города Эрфурта, посланъ съ депешами въ Петербуръ, на возвратномъ пути, при мѣстечкѣ Сентъ-Оби, былъ взятъ въ плѣнъ вмѣстѣ со своимъ крѣпостнымъ денщикомъ. Послѣдній незамѣтно спряталъ въ сапогъ все золото своего барина и въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, пока они были въ плѣну, *ни разу не разувался*. Онъ натеръ себѣ ногу и нажилъ рану, но все время и виду не показывалъ, что ему больно. Зато, по пріѣздѣ въ Парижъ, графъ Николай Ильичъ могъ жить, ни въ чемъ не нуждаясь, и сохранилъ о преданномъ денщикѣ навсегда доброе воспоминаніе".

На преданности такихъ „людей", какъ этотъ денщикъ, зиждется все патріархальное счастіе, вся „степенно-ведомая жизнь такъ-называемой добродѣтельной семьи", какъ на гранитномъ основаніи. Помнитъ-ли объ этомъ случаѣ столѣтняя Яснополянская ключница Агафья? По крайней мѣрѣ о томъ, какъ старый баринъ Николай Ильичъ Толстой, Николай Ильичъ Ростовъ, „сжимая свой сангвини-

ческій кулакъ", говаривалъ: „крестьянъ нужно держать вотъ какъ"!—она ужъ, конечно, помнитъ. Это та самая Агафья, которая, разсказывая о дѣтствѣ Льва Николаевича, утверждаетъ, что онъ былъ „хорошимъ ребенкомъ, только слабохарактернымъ", когда-же слышитъ объ его новыхъ причудахъ, только усмѣхается странною усмѣшкою. Еще болѣе хитрую, тонкую усмѣшку видѣлъ я на лицѣ Василія Сютаева, тверского крестьянина, тоже проповѣдника евангельской бѣдности, одного изъ умнѣйшихъ русскихъ людей, съ которымъ случилось мнѣ однажды бесѣдовать о Л. Толстомъ, немного времени спустя послѣ того, какъ Левъ Николаевичъ, побывалъ у него. И вотъ, теперь мнѣ все кажется, что нѣчто подобное этой усмѣшкѣ должно иногда мелькать и въ лицѣ давно уже примиренной, „свыкшейся съ ученіемъ мужа", графини Софіи Андреевны.

Да, дѣды и прадѣды, бабушки и прабабушки, которыхъ старинные портреты смотрятъ со стѣнъ веселыхъ Яснополянскихъ покоевъ, съ выраженіемъ заботы въ глазахъ, свойственной глазамъ предковъ,—„только-бы дома было все благополучно!"—могутъ быть спокойны: дома все благополучно, все по-старому,—какъ было при нихъ, такъ есть и будетъ. Знаменитыя „четыре упряжки" оказались не такими страшными, какъ можно было думать сначала. Пока Левъ Николаевичъ отдыхаетъ отъ велосипедной прогулки или отъ крестьянской работы въ полѣ, отъ игры въ лаунъ-теннисъ или кладки печи для бѣдной бабы, графиня Софія Андреевна всю ночь не спитъ за корректурами для новаго изданія, „новаго источника золота", часть котораго недаромъ сохранилъ для барина въ сапогѣ своемъ вѣрный денщикъ.

И лица предковъ благосклонно улыбаются въ потускнѣвшихъ рамахъ.

Однажды „при мнѣ пріѣхалъ къ Льву Николаевичу

больной и погорѣвшій мужикъ,—разсказываетъ Берсъ,—просить у него лѣса для сарая. Онъ пригласилъ меня, мы взяли топоры и вдвоемъ мигомъ срубили въ Яснополянскомъ лѣсу нѣсколько деревъ, обрубили сучья и увязали бревна на телѣжномъ ходу мужика. Я долженъ сознаться, что дѣлалъ это съ увлеченіемъ. Я испытывалъ неизвѣданное еще чувство радости, можетъ быть, вслѣдствіе вліянія Льва Николаевича, а можетъ быть и только оттого, что дѣлалъ это для несчастнаго, то-есть, на самомъ дѣлѣ больного, измученнаго и неимущаго человѣка. Мужикъ стоялъ въ то время поодаль съ покорнымъ видомъ. Левъ Николаевичъ, конечно, замѣчая мою радость, нарочно уступалъ мнѣ работу, и я срубилъ почти всѣ деревья, какъ будто этимъ онъ хотѣлъ открыть мнѣ новыя ощущенія. Когда мы отправили мужика, онъ (Левъ Николаевичъ) сказалъ:

— „Развѣ можно сомнѣваться въ необходимости и въ удовольствіи такой помощи?“

Въ самомъ дѣлѣ, можно-ли въ этомъ сомнѣваться?— Почему, однако, все-таки кажется, что мужикъ стоялъ не только съ покорнымъ, но и съ унылымъ видомъ въ то время, какъ господа наслаждались своимъ добрымъ дѣломъ? Чего ему еще нужно было? На что онъ разсчитывалъ? Ужъ не на обыкновенную-ли милостыню деньгами? Но вѣдь Левъ Николаевичъ при себѣ денегъ не носитъ. Или больному просто было холодно, скучно и томно ждать окончанія барской работы? Кто, впрочемъ, угадаетъ, какія насмѣшливыя и неблагодарныя мысли проходятъ въ умѣ мужика, когда ему помогаютъ господа съ особеннымъ удовольствіемъ,—ибо люди вообще, а Яснополянскіе мужики въ особенности, по природѣ своей насмѣшливы и неблагодарны.

„Большинство мужиковъ,—признается самъ Левъ

Николаевичъ,—смотритъ на меня, какъ на рогъ изобилія, и только. Да и можно-ли требовать отъ нихъ иныхъ отношеній? Вѣдь жизнь ихъ и взгляды слагались вѣками подъ вліяніемъ множества неотразимыхъ условій. И развѣ можетъ одинъ человѣкъ измѣнить все это?"

Это, однакоже, и есть именно то самое, что возражала ему и графиня Софія Андреевна, по поводу раздачи имѣнія: „Я не могу пустить дѣтей по-міру, когда никто не хочетъ исполнять того-же!" Въ чемъ-же собственно Левъ Николаевичъ съ нею расходится? Это и есть главный какъ будто неопровержимый доводъ „князя міра сего", великаго Логика, который убаюкиваетъ насъ въ нашей языческой мерзости, и вслѣдствіе котораго христіанство, вотъ уже скоро двадцать вѣковъ, все никакъ нигдѣ „не удается": если не можетъ одинъ человѣкъ измѣнить все это, то пусть все и остается по прежнему. Это и есть та серединная пошлость, на которой стоитъ міръ, по крайней мѣрѣ, нашъ демократически-мѣщанскій міръ, и которая дѣлаетъ для него „слабую паутину собственности" желѣзною цѣпью. Это и есть то, что придаетъ всѣмъ нашимъ христіанскимъ чувствамъ благоразумную, безопасную „теплоту", о которой сказано въ Апокалипсисѣ ангелу Лаодикійской церкви: „о, если-бы ты былъ холоденъ или горячъ, но поелику ты теплъ, изблюю тебя изъ устъ моихъ".

— Я далъ вамъ, что могъ, и больше не могу,—говоритъ Левъ Николаевичъ „съ страдальческой ноткой" обступившимъ его просителямъ.

„Мы направляемся черезъ садъ. Но намъ перерѣзываетъ путь мужиченка съ золотушнымъ мальчикомъ. Левъ Николаевичъ останавливается.

— „Что тебѣ?

„Мужикъ толкаетъ впередъ мальчика. Мальчикъ мнется

и, смущаясь и растягивая слова, обращается ко Льву Николаевичу:

— „Да-ай... жере-бе-ночка...

„Мнѣ дѣлается неловко, и я не знаю, куда глядѣть.

„Левъ Николаевичъ пожимаетъ плечами.

— „Какого жеребеночка? Что за глупость! У меня нѣтъ никакого жеребеночка.

— „Нѣтъ есть,—заявляетъ мужиченка и съ быстротою выдвигается впередъ.

— „Ну, я ничего этого не знаю. Иди съ Богомъ!—говоритъ Левъ Николаевичъ и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, легко перепрыгиваетъ черезъ канаву".

Но совершенно-ли онъ увѣренъ въ томъ что у него дѣйствительно нѣтъ никакого жеребеночка?

Въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ" Л. Толстой разсказываетъ, какъ однажды, забывъ сказать объ одномъ грѣхѣ духовнику на исповѣди, поѣхалъ онъ къ нему снова исповѣдываться. Возвращаясь домой изъ монастыря на извозчикѣ, почувствовалъ онъ радостное умиленіе и нѣкоторую гордость отъ сознанія своего добраго поступка. И ему захотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, подѣлиться этимъ чувствомъ. Но такъ какъ подъ рукой никого не было, кромѣ извозчика, онъ обратился къ нему, разсказалъ ему все и описалъ всѣ свои прекрасныя чувства.

— „Такъ-съ,—сказалъ извозчикъ недовѣрчиво.

„И долго послѣ этого онъ молчалъ и сидѣлъ неподвижно.—Я уже думалъ, что онъ думаетъ про меня то-же, что̀ духовникъ, то-есть, что такого прекраснаго молодого человѣка, какъ я, другого нѣтъ на свѣтѣ, но вдругъ онъ обратился ко мнѣ.

— „А что, баринъ, ваше дѣло господское?

— „Что?—спросилъ я.

— „Дѣло-то, дѣло господское?—повторилъ онъ, шамкая беззубыми губами.

„Нѣтъ, онъ меня не понялъ,—подумалъ я, но уже больше не говорилъ съ нимъ до самаго дома."

И Льву Николаевичу стало стыдно.

„Я даже теперь,—прибавляетъ онъ,—краснѣю при этомъ воспоминаніи".

Мнѣ кажется, что больной крестьянинъ, который съ покорнымъ и унылымъ видомъ смотрѣлъ, какъ добрые господа собственными руками рубятъ для него деревья, и тотъ нелѣпый мужиченка, который требовалъ отъ Льва Николаевича несуществующаго жеребеночка, могли бы сказать ему точно такъ-же, какъ извозчикъ:

— А что, баринъ, дѣло-то, дѣло ваше господское?

Такъ вотъ, какъ онъ исполнилъ заповѣдь Христа, какъ разрушилъ слабую паутину собственности: „ну, я этого ничего не знаю. Иди съ Богомъ!"

Одинъ изъ очевидцевъ увѣряетъ, будто-бы Левъ Николаевичъ, что-бы ни дѣлалъ, „никогда не бываетъ *смѣшонъ*".—Хотѣлось-бы этому вѣрить. Но я все-таки боюсь, что въ ту минуту, когда, убѣгая отъ нелѣпаго мужиченки, съ удивительной для семидесятилѣтняго старика быстротой и легкостью, перепрыгивалъ Левъ Николаевичъ черезъ канаву,—онъ былъ нѣсколько смѣшонъ. О, я слишкомъ чувствую, что тутъ—не одно смѣшное, но и жалкое, и страшное для него и для всѣхъ насъ. И какъ почти всегда это бываетъ въ современной жизни—чѣмъ смѣшнѣе, тѣмъ страшнѣе.

Не страшно-ли, въ самомъ дѣлѣ, то, что и этотъ человѣкъ, который такъ безконечно жаждалъ правды, такъ неумолимо обличалъ себя и другихъ, какъ никто никогда, что и онъ допустилъ въ свою совѣсть такую вопіющую ложь, такое безобразное противорѣчіе? Самый

маленькій, и въ то-же время самый сильный изъ дьяволовъ, современный дьяволъ собственности, мѣщанскаго довольства, серединной пошлости, такъ называемой „душевной теплоты“, не одержалъ-ли въ немъ своей послѣдней и величайшей побѣды?

Если-бы толстовская легенда сложилась въ сумеркахъ среднихъ вѣковъ, можно-бы подумать, что въ образѣ нелѣпаго мужиченки, который требовалъ невозможнаго жеребеночка, воплотился этотъ дьяволъ. И когда Левъ Николаевичъ убѣгалъ отъ него—все равно—со стыдомъ-ли, съ ужасомъ или съ невозмутимою безпечностью,—какъ, должно быть, Искуситель торжествовалъ, какъ смѣялся, повторяя одну изъ своихъ любимыхъ страшныхъ шутокъ:

„А развѣ ты не зналъ, что я вѣдь тоже Логикъ?“

ПЯТАЯ ГЛАВА.

„Ты царь—живи одинъ“,—говорилъ себѣ Пушкинъ; но, несмотря на великое, внутреннее одиночество, онъ болѣе, чѣмъ кто-либо, всю жизнь окруженъ былъ „друзьями“. Удивительна въ немъ эта способность быстрой и какъ будто даже опрометчивой дружбы, простого и легкаго общенія съ людьми, равно съ великими и малыми, съ Гоголемъ и Ариной Родіоновной, съ императоромъ Николаемъ, Баратынскимъ, Дельвигомъ, Языковымъ и Богъ вѣсть еще съ кѣмъ, чуть-ли не съ первымъ встрѣчнымъ.

Нѣтъ, ты не проклялъ насъ!.. Ты любишь съ высоты
Скрываться въ тѣнь долины малой,
Ты любишь громъ небесъ и также внемлешь ты
Журчанью пчелъ надъ розой алой.

Въ немъ столько естественнаго, безсознательно-христіанскаго прощенія, снихожденія къ малымъ. И ни тѣни зависти, корысти или злобы—къ великимъ. Съ какою безпечностью отдаетъ онъ сердце свое, съ какою царственною щедростью, даже расточительностью. Онъ кажется всѣмъ человѣкомъ, какъ всѣ, „добрымъ малымъ“ Пушкинымъ. И почти никто изъ „друзей“ не подозрѣваетъ страшнаго величія его, безнадежнаго одиночества. Оно обнаружилось вдругъ только передъ самою смертью,

когда онъ могъ сказать себѣ съ тихою послѣднею горечью: „ты царь—*умри* одинъ!“

И Гете, еще болѣе одинокій, чѣмъ Пушкинъ, умѣлъ „скрываться въ тѣнь долины малой“ со своихъ ледяныхъ, безмолвныхъ вершинъ, гдѣ обитаютъ ужасныя *Матери*,— для дружбы съ пламеннымъ и столь земнымъ, несмотря на свою „небесность“, Шиллеромъ.

Въ жизни Л. Толстого поражаетъ особое одиночество, не то, которое свойственно геніямъ, а иное, земное, житейское, человѣческое. Онъ пріобрѣлъ себѣ почти все, что можетъ человѣкъ пріобрѣсти на землѣ, кромѣ друга. Его отношенія къ Фету нельзя назвать дружбою: онъ смотритъ на него слишкомъ свысока. Да и могъ-ли Фетъ быть другомъ Толстому? Это скорѣе пріятельство двухъ барскихъ, помѣщичьихъ семей — не болѣе. Всю жизнь окружаютъ его только родственники, поклонники, наблюдатели или наблюдаемые и, наконецъ, ученики,—послѣдніе, кажется, дальше всѣхъ отъ него. И съ годами увеличивается въ немъ эта слишкомъ благоразумная, разсчетливая замкнутость, бережливость сердца, совершенная неспособность къ дружбѣ. Одинъ только разъ судьба, какъ бы желая испытать его, послала ему достойнаго, великаго друга. И онъ самъ оттолкнулъ его или не сумѣлъ приблизить. Я разумѣю Тургенева.

Ихъ отношенія—одна изъ труднѣйшихъ и любопытнѣйшихъ психологическихъ загадокъ въ исторіи русской литературы. Какая-то таинственная сила влекла ихъ другъ къ другу, но когда они сходились до извѣстной близости,— отталкивала, для того, чтобы потомъ снова притягивать. Они были непріятны, почти невыносимы и вмѣстѣ съ тѣмъ единственно-близки, нужны другъ другу. И никогда не могли они ни сойтись, ни разойтись окончательно.

Тургеневъ первый понялъ и привѣтствовалъ въ Толстомъ

великаго русскаго писателя: „Когда это молодое вино перебродитъ, выйдетъ напитокъ, достойный боговъ“,—еще въ 1856 году писалъ онъ Дружинину. А черезъ двадцать лѣтъ слишкомъ—Фету. „Имя Л. Толстого начинаетъ пріобрѣтать европейскую знаменитость; мы, русскіе, давно знаемъ, что у него нѣтъ соперниковъ“.

„Мнѣніе человѣка,—признается Л. Толстой,—котораго я не люблю, и тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе выростаю,—мнѣ дорого,—Тургенева“.

„Въ отдаленіи,—хотя это звучитъ довольно странно,—пишетъ онъ самому Тургеневу,—сердце мое къ вамъ лежитъ, какъ къ брату. Однимъ словомъ, *я васъ люблю*,—это несомнѣнно“.

Григоровичъ разсказываетъ о вечерахъ „Современника“ на квартирѣ Некрасова въ 50-хъ годахъ. „Толстой лежитъ въ средней проходной комнатѣ на сафьянномъ диванѣ и дуется, а Тургеневъ, раздвинувъ полы своего короткаго пиджака, съ заложенными въ карманы руками, продолжаетъ ходить взадъ и впередъ по всѣмъ тремъ комнатамъ. Въ предупрежденіе катастрофы, Григоровичъ подходитъ къ Толстому.

— „Голубчикъ, Толстой, не волнуйтесь. Вы знаете, какъ онъ васъ цѣнитъ и любитъ.

— „Я не позволю ему ничего дѣлать мнѣ на зло,—говоритъ Толстой съ раздувающимися ноздрями.—Это вотъ онъ нарочно теперь ходитъ взадъ и впередъ мимо меня и виляетъ своими демократическими ляжками!..

Наконецъ „катастрофа“, которой недаромъ боялся Григоровичъ, разразилась въ Степановкѣ, имѣніи Фета, въ 1861 году,—ссора изъ-за пустяковъ, которая, однако, едва не довела ихъ до поединка. Тургеневъ былъ виноватъ. Онъ погорячился, сказалъ лишнее. Толстой былъ правъ,—какъ во всѣхъ своихъ житейскихъ отношеніяхъ, безуко-

ризненъ и несмотря на кажущійся внѣшній пылъ, внутренно холоденъ, замкнутъ и сдержанъ. А между тѣмъ, какъ это ни странно, виноватый Тургеневъ производитъ менѣе тягостное впечатлѣніе въ этой ссорѣ, чѣмъ правый Толстой. Тургеневъ тотчасъ опомнился и какъ мужественно, какъ просто и великодушно извинился. Толстой принялъ или только хотѣлъ принять его извиненіе за трусость.

„Я этого человѣка презираю", — писалъ онъ Фету, зная, что слова его будутъ переданы врагу.

„Я чувствовалъ, — признавался Тургеневъ, — что онъ меня ненавидитъ, и не понималъ, почему онъ постоянно ко мнѣ обращается. Я долженъ былъ-бы по-прежнему держаться отъ него въ сторонѣ, я-же попробовалъ приблизиться къ нему, и это чуть не привело насъ къ дуэли. Я никогда не любилъ его. И какъ я не понялъ всего этого раньше".

Казалось-бы, все между ними кончено безповоротно. Но вотъ, черезъ семнадцать лѣтъ, Толстой дѣлаетъ снова первый шагъ къ Тургеневу, снова къ нему „обращается" и предлагаетъ ему помириться. Тургеневъ тотчасъ отвѣчаетъ съ радостною готовностью, какъ будто самъ только и хотѣлъ, и ждалъ этого примиренія, встрѣчаетъ его, какъ, послѣ долгой невольной разлуки, самаго близкаго родного человѣка.

И послѣдняя мысль умирающаго Тургенева обращена къ „другу", къ Толстому:

„Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ-бы я былъ счастливъ, если-бъ могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ!—Другъ мой, великій писатель земли русской, внемлите моей просьбѣ!"

Въ этихъ словахъ есть недоговоренный страхъ за Толстого, безмолвное недовѣріе къ его христіанскому пере-

рожденію. Толстой ничего не отвѣтилъ,—по крайней мѣрѣ, предъ лицомъ русскаго народа, какъ обратился къ нему Тургеневъ,—не отвѣтилъ ему. И какъ знать, не уязвило-ли его это письмо, исполненное той безконечной силы правды, которую люди говорятъ только на краю гроба, больнѣе, чѣмъ какое-либо изъ ихъ прежнихъ столкновеній? Не повторилъ-ли онъ въ тайнѣ сердца своего, съ пробудившеюся снова, неодолимою ненавистью, съ напраснымъ желаніемъ презрѣнія: я этого человѣка презираю. Какъ всегда въ тѣхъ именно случаяхъ, когда, казалось-бы, слѣдуетъ ожидать отъ него самаго великаго, правдиваго, всерѣшающаго слова,—онъ замолчалъ и пропустилъ мимо ушей эту послѣднюю мольбу умирающаго друга и врага своего,—какъ недостойную отвѣта.

Однажды Тургеневъ сказалъ, можетъ быть, самое глубокое и проникновенное слово, которое когда-либо говорилось о Л. Толстомъ: главный недостатокъ его заключается въ отсутствіи *духовной свободы.*

О Левинѣ, который,—какъ это было Тургеневу ясно,—есть двойникъ самаго Льва Толстого, онъ писалъ одному пріятелю:

„Развѣ могъ-бы ты хоть на секунду допустить... *что Левинъ вообще способенъ кого-нибудь любить?* Нѣтъ, любовь—это одна изъ тѣхъ страстей, которыя уничтожаютъ наше „я“.—Левинъ же, узнавъ, что онъ любимъ и счастливъ, не перестаетъ заниматься своимъ собственнымъ „я“, не перестаетъ ухаживать за самимъ собою.—*Левинъ—эгоистъ до мозга костей*“.

— „У васъ есть удивительное, рѣдкое качество—откровенность“,—замѣчаетъ Нехлюдовъ Иртеньеву.

— „Да,—соглашается Иртеньевъ не безъ тайнаго самодовольства,—я всегда говорю именно тѣ вещи, въ которыхъ мнѣ стыдно признаться“.

Странное, однако, впечатлѣніе производитъ „откровенность“ Толстого, если глубже вникнуть въ нее: начинаетъ казаться, что этою откровенностью онъ еще больше скрываетъ послѣднюю глубину и тайну свою, такъ что, чѣмъ откровеннѣе онъ—тѣмъ скрытнѣе. Всегда говоритъ именно тѣ вещи, въ которыхъ стыдно ему признаться, кромѣ одной, главной, самой стыдной и страшной: о ней онъ ни съ кѣмъ, даже съ самимъ собою никогда не говоритъ. Тургеневъ былъ единственный человѣкъ, съ которымъ онъ не могъ, какъ со всѣми, ни молчать, ни быть скрытно откровеннымъ. Тургеневъ слишкомъ зналъ, что такое Левинъ, слишкомъ ясно видѣлъ, что никогда никого не можетъ онъ полюбить, кромѣ себя, и что въ этомъ—послѣдній стыдъ, послѣдній страхъ его, въ которыхъ признаться не имѣетъ онъ силы. Въ чрезмѣрномъ ясновидѣніи Тургенева заключается, можетъ быть, главная причина той загадочной, то притягивающей, то отталкивающей силы, которая такъ чудесно играла ими всю жизнь. Они были какъ два зеркала, поставленныя другъ противъ друга, отражающія, углубляющія другъ друга до безконечности; оба они боялись этой слишкомъ прозрачной и темной безконечности.

Столь-же замѣчательны отношенія Л. Толстого къ Достоевскому.

Они никогда не видались. Левъ Николаевичъ въ теченіе долгихъ лѣтъ собирался съ нимъ познакомиться: „я его считалъ моимъ другомъ, и иначе не думалъ, какъ то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое“. Все собирался, но такъ и не собрался, неудосужился, и только послѣ знаменитыхъ похоронъ Достоевскаго, когда всѣ сразу заговорили, закричали о немъ, засуетились, какъ будто впервые открыли его, и Левъ Николаевичъ наконецъ присоединился къ общему хору, тоже заторопился навстрѣчу всенародному признанію, вспомнилъ

и о своей заочной, заноздалой любви и „*вдругъ*“ почувствовалъ, что это былъ „самый близкій, дорогой, нужный“ ему человѣкъ. „Опора какая-то отскочила отъ меня. Я растерялся... я плакалъ и теперь плачу... На-дняхъ, до его смерти, я прочелъ „Униженные и Оскорбленные“ и умилялся“.

Удивительно, однако, какъ ему до конца не везло съ Достоевскимъ: ну, почему-бы, кажется, ужъ если „плакать и умиляться“, не выбрать чего-нибудь болѣе заслуживающаго, — хотя-бы „Преступленіе и Наказаніе“, „Идіота“, „Братьевъ Карамазовыхъ?“ Почему остановился онъ именно на одномъ изъ немногихъ, посредственныхъ, юношескихъ и устарѣлыхъ, не имѣющихъ будущности, произведеній Достоевскаго — на „Униженныхъ и Оскорбленныхъ?“ Опять—досадная случайность, опять „не пришлось“, не удосужился?

Но вотъ, что еще болѣе удивительно въ этомъ „похоронномъ“ письмѣ:

...„Никогда мнѣ въ голову не приходило мѣряться съ инмъ, никогда,—увѣряетъ Л. Толстой.—Все, что онъ дѣлалъ (хорошее, настоящее, что онъ дѣлалъ)“—не предполагаютъ-ли, однако, эти скобки, что Достоевскій дѣлалъ и не настоящее, не хорошее, о чемъ онъ, Левъ Николаевичъ, здѣсь, надъ гробомъ, считаетъ пристойнымъ умолчать?—„все, что онъ дѣлалъ, было такое, что чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше. Искусство вызываетъ во мнѣ зависть, умъ то-же, но дѣло сердца — только радость“.

Что это? Какъ понять? Слишкомъ-ли онъ тутъ скрытенъ, или слишкомъ откровененъ? Признается въ зависти вообще, но отнюдь не въ зависти къ величайшему сопернику: въ произведеніяхъ Достоевскаго, молъ, только „дѣло сердца“—не болѣе. Неужели, однако, не болѣе? Неужели во всемъ Достоевскомъ такъ-таки и нѣтъ ничего, кромѣ

„дѣла сердца“,—ни ума, ни искусства, которымъ бы иногда могъ и Л. Толстой позавидовать? Или-же въ сравненіи съ „дѣломъ сердца“ искусство и умъ у Достоевскаго такъ не важны, такъ мелки, что о нихъ и говорить не стоитъ? Но вѣдь отъ такой похвалы не поздоровится. А Левъ Николаевичъ плакалъ, конечно, искренне плакалъ и умилялся надъ Достоевскимъ.—Не цѣлый-ли лабиринтъ въ этихъ немногихъ словахъ? Попробуйте-ка, разберитесь въ нихъ. Снаружи—какъ просто, какъ сложно—внутри. Кажется, мысль его смотритъ мнѣ прямо въ глаза, невинная, голая, но только-что я пытаюсь поймать ее, она, какъ оборотень, ускользаетъ изъ рукъ моихъ, и нѣтъ ея, и я не знаю, что это было,—только холодно и жутко.

И въ этомъ письмѣ, какъ впрочемъ всегда, не обмолвился онъ ни словомъ о самомъ важномъ, любопытномъ, вызывающемъ на неизбѣжную послѣднюю откровенность—объ отношеніи не только своемъ къ Достоевскому, но и Достоевскаго къ нему. А вѣдь именно Достоевскій говорилъ, и еще незадолго до смерти, объ ученіи Л. Толстого, о христіанскомъ перерожденіи его такъ прямо, такъ искренно, какъ никто никогда не говорилъ. Или опять „непришлось“, не случилось Льву Николаевичу заглянуть въ „Дневникъ Писателя“, или онъ просто не полюбопытствовалъ? А вѣдь какъ-бы не полюбопытствовать, кажется, не узнать, что думаетъ о святомъ-святыхъ его этотъ „самый близкій, нужный ему, дорогой человѣкъ“, эта внутренняя „опора“ всей духовной жизни его? И о чемъ-бы, кажется, и кому говорить, какъ не объ этомъ Льву Толстому съ Достоевскимъ, и особенно въ такую торжественную минуту, когда онъ вдругъ почувствовалъ, что опоздалъ къ живому другу, и что ему остается только плакать надъ мертвымъ?

Достоевскій первый пророчески указалъ на будущее,

въ то время почти никому еще непонятное, да и донынѣ едва-ли вполнѣ понятое, *всемірное* значеніе художественныхъ произведеній Толстого. И такъ-же ясно, какъ силу, видѣлъ онъ и слабость его. О Левинѣ Достоевскій говоритъ почти то-же самое, что Тургеневъ:—„Левинъ эгоистъ до мозга костей"—только другими словами. Онъ спрашиваетъ себя: „отчего произошло столь *мрачное обособленіе Левина и столь угрюмое отъединеніе въ сторону?*" И возвращается не разъ къ этому вопросу, между прочимъ, размышляя и о такъ-называемомъ „опрощеніи" Левина и Льва Толстого, объ ихъ попыткахъ „вернуться къ народу". Достоевскій сознавалъ, что онъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ русскихъ культурныхъ людей, имѣетъ право высказать свое мнѣніе по этому поводу: „я видѣлъ народъ нашъ и знаю его, жилъ съ нимъ довольно лѣтъ, ѣлъ съ нимъ спалъ съ нимъ и самъ „къ злодѣямъ причтенъ былъ", работалъ съ нимъ настоящей мозольной работой.—Не говорите-же мнѣ, что я не знаю народа! Я его знаю".

Достоевскій думалъ, что бездна, отдѣляющая такихъ людей, какъ Левинъ и Левъ Толстой, отъ народа, гораздо глубже и непереступнѣе, чѣмъ они полагаютъ. „Ничего нѣтъ ужаснѣе, какъ жить не въ своей средѣ. Мужикъ, переселенный изъ Таганрога въ Петропавловскій портъ, тотчасъ-же найдетъ тамъ такого-же точно русскаго мужика, тотчасъ-же сговорится и сладится съ нимъ. Не то для „благородныхъ". Они раздѣлены съ простонародіемъ глубочайшею бездной, и это замѣчается *вполнѣ* только тогда, когда *благородный* вдругъ самъ, силою внѣшнихъ обстоятельствъ, дѣйствительно, на дѣлѣ лишится прежнихъ правъ своихъ и обратится въ простонародье. Не то, хоть всю жизнь свою знайтесь съ народомъ, хоть сорокъ лѣтъ сряду каждый день сходитесь съ нимъ... по-дружески, въ видѣ благодѣтеля или въ нѣкоторомъ смыслѣ

отца,—никогда самой сущности не узнаете. Все будетъ только оптическій обманъ и ничего больше. Я вѣдь знаю, что всѣ, рѣшительно всѣ, читая мое замѣчаніе, скажутъ, что я преувеличиваю. Но я убѣжденъ, что оно вѣрно... Можетъ быть, впослѣдствіи всѣ узнаютъ, до какой степени это справедливо".

„... Надо дѣлать только то, что велитъ сердце: велитъ отдать имѣніе—отдайте, велитъ идти работать на всѣхъ—идите, но и тутъ не дѣлайте такъ, какъ иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: дескать, я не баринъ, я хочу работать какъ мужикъ. Тачка опять-таки мундиръ.—Не раздача имѣнія обязательна и не одѣваніе зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви*, все, что возможно вамъ, что искренно признаете для себя возможнымъ. Всѣ же эти старанія „опроститься" — лишь одно только переряживаніе, невѣжливое даже къ народу и васъ унижающее".

„... Сомнѣнія кончились, и Левинъ увѣровалъ,—во что? Онъ еще этого строго не опредѣлилъ, но онъ уже вѣруетъ. Но вѣра-ли это?—Надобно полагать, что еще нѣтъ. Мало того: врядъ-ли у такихъ, какъ Левинъ, и можетъ быть окончательная вѣра. Левинъ любитъ называть себя народомъ, но *это баричъ, московскій баричъ средне-высшаго круга*, историкомъ котораго и былъ по преимуществу графъ Л. Толстой.—Я хочу только сказать, что вотъ эти—какъ Левинъ, сколько-бы ни прожили съ народомъ или подлѣ народа, но народомъ вполнѣ не сдѣлаются, мало того—во многихъ пунктахъ такъ и не поймутъ его никогда вовсе. Мало одного самомнѣнія или акта воли, да еще столь причудливой, чтобы захотѣть и стать народомъ. Пусть онъ помѣщикъ, и работящій помѣщикъ, и работы мужицкія знаетъ, и самъ коситъ, и телѣгу запречь умѣетъ,—все-

7*

таки въ душѣ его, какъ онъ ни старайся, останется оттѣнокъ чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайствомъ*,—тѣмъ самымъ праздношатайствомъ физическимъ и духовнымъ, которое, какъ онъ ни крѣпись, а все-же досталось ему по наслѣдству, и которое ужъ, во всякомъ случаѣ, видитъ во всякомъ баринѣ народъ.—А вѣру свою онъ разрушитъ опять, разрушитъ самъ, долго не продержится: выйдетъ какой-нибудь новый сучекъ и разомъ все рухнетъ.—Однимъ словомъ, эта чистая душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе онъ не былъ-бы современнымъ русскимъ интеллигентнымъ бариномъ, да еще средне-высшаго дворянскаго круга".

Не знаменательно-ли совпаденіе въ отзывѣ о Левинѣ и Львѣ Толстомъ двухъ столь своеобразныхъ, чуждыхъ другъ другу и даже противоположныхъ умовъ, какъ „западникъ" Тургеневъ и „славянофилъ" Достоевскій? „Никогда не любилъ, кромѣ себя самого",—„эгоистъ до мозга костей",—„московскій баричъ средне-высшаго круга",—„праздно-хаотическая душа", — „праздношатайство".—Неужели, однако, это послѣдній приговоръ?

Кажется, Тургеневъ и Достоевскій справедливы, но не *до конца* справедливы; въ пылу слишкомъ близкой и страстной борьбы не захотѣли или не сумѣли они высказать все, что можетъ быть, имъ самимъ уже смутно чуялось и въ Левинѣ и во Львѣ Толстомъ, какъ искателяхъ новой религіи. Кажется, теперь для насъ, болѣе далекихъ и болѣе спокойныхъ, возможно и большее проникновеніе въ эту все-таки единственно-великую человѣческую душу, потому что для насъ возможно большее милосердіе. А вѣдь только послѣднее милосердіе есть въ то-же время и послѣдняя справедливость.

Ежели есть въ жизни, въ дѣйствіяхъ Л. Толстого то, что я называю „эпикурействомъ" или „охотничествомъ"

дяди Ерошки, что Достоевскій, пожалуй, съ чрезмѣрною рѣзкостью, называлъ „праздношатайствомъ московскаго барича“,—то все-таки во внѣжизненномъ, творческомъ созерцаніи и въ своей безсознательной стихіи—онъ глубже эпикурейства. Все-таки первая основа души его такъ-же, какъ у всѣхъ людей нашего времени—бездонно-глубокая, трагическая и ужасная. Стоитъ взглянуть на это лицо, до грубости сильное, лицо еще слѣпого подземнаго титана, чтобы почувствовать, что это—*не только* „эпикуреецъ“, *не только* „баричъ средне-высшаго дворянскаго круга“, и что ужъ во всякомъ случаѣ это—не обыкновенный, безмятежный и беззастѣнчивый эпикуреецъ, какъ, напримѣръ, наши русскіе баре XVIII вѣка, что это—не даромъ въ образѣ нищаго Лазаря отъ самого себя скрывающійся богачъ, огорченный, испуганный и застыдившійся эпикуреецъ. Сквозь лучезарнѣйшую радость жизни, хотя и не въ живомъ, не въ явномъ, не въ дневномъ, а въ темномъ, закрытомъ, еще слѣпомъ, подземномъ и точномъ лицѣ его я узнаю каинову печать нашего вѣка, печать неисцѣлимой скорби и гордыни. И тѣ, кого назвалъ Боратынскій

Поэзіи таинственныхъ скорбей
Могучія и сумрачныя дѣти,

могли-бы иногда привѣтствовать въ немъ одного изъ своихъ—

Ты съ нами пилъ изъ общей чаши,
Какъ мы, отравленъ и великъ.

Будущаго онъ не достигъ, но и къ прошлому нѣтъ возврата. Онъ не доплылъ до другого берега, не долетѣлъ до другого края бездны,—онъ погибаетъ, но его величіе—въ гибели его.

Онъ никогда никого не любилъ, даже и себя не дерзнулъ любить послѣднею безстрастною и безстрашною любовью,—но кто съ большею мукою жаждалъ любви, чѣмъ онъ? Онъ никогда ни во что не вѣрилъ,—но кто съ боль-

шею неутолимостью жаждалъ вѣры, чѣмъ онъ? Это не-все, но развѣ этого мало?

„Пускай,—говоритъ онъ въ „*Исповѣди*,—пускай я, выпавшій птенецъ, лежу на спинѣ, пищу въ высокой травѣ, но я пищу оттого, что знаю, что меня въ себѣ выносила мать, высиживала, грѣла, кормила, любила. Гдѣ она, эта мать? Если забросили меня, то кто-же забросилъ? Не могу я скрыть отъ себя, что, любя, родилъ меня кто-то. Кто-же этотъ кто-то?"

Я не вѣрю ему, когда онъ увѣряетъ, будто-бы нашелъ истину и навсегда успокоился, что теперь ему „все ясно стало". И кажется, когда онъ это говоритъ,—онъ всего дальше отъ Бога и отъ истины. Но я не могу ему не повѣрить, когда онъ говоритъ о себѣ, какъ о жалкомъ, выпавшемъ изъ гнѣзда, птенцѣ. Да, какъ ни страшно,—а это такъ. И онъ, этотъ титанъ, со всей своей силою—только жалкій птенецъ, который выпалъ изъ гнѣзда, лежитъ на спинѣ и пищитъ въ высокой травѣ, какъ я и вы, и всѣ мы до единаго. Нѣтъ, ничего не нашелъ онъ,—никакой вѣры, никакого Бога. И все его оправданіе—только въ этой безнадежной мольбѣ, въ этомъ пронзительно-жалобномъ крикѣ безпредѣльнаго одиночества и ужаса. Да, и онъ, и всѣ мы только смутно чувствуемъ, но еще не знемъ, какіе мы дѣйствительно жалкіе, покинутые птенцы, лишенные нашей единственной всечеловѣческой Матери-Церкви,—я разумѣю Церковь не прошлаго и не настоящаго, а грядущаго Іерусалима, ту, которая всегда говоритъ людямъ: сколько разъ хотѣла я собрать васъ, какъ мать собираетъ птенцовъ подъ крылья свои, и вы не захотѣли.

Какъ близокъ онъ былъ къ тому, чего искалъ. Кажется—еще одинъ мигъ, одно усиліе—и все открылось-бы ему. Почему-же не сдѣлалъ онъ этого шага? Какая черта отдѣляла его отъ грани будущаго? Какая безконечная

слабость въ безконечной силѣ его помѣшала ему разорвать послѣднюю завѣсу, уже прозрачную, тонкую, какъ „слабая паутина“,—и увидѣть Свѣтъ?

И нынѣ — исполнилъ-ли онъ все, что назначено ему было исполнить на землѣ? Закончилъ-ли кругъ своего духовнаго развитія? Остановился ли и окаменѣлъ, или снова оживетъ и снова совершится въ немъ послѣднее, уже дѣйствительно послѣднее перерожденіе?

Кому предсказывать будущность такого человѣка? Но не кажется-ли всѣмъ намъ, что слова и дѣла его жизни для насъ уже не любопытны, незначительны, что мы знаемъ заранѣе, что больше того, что́ сказалъ и сдѣлалъ—онъ уже не скажетъ и не сдѣлаетъ, и что онъ будетъ жить, какъ жилъ всегда. Но какъ онъ будетъ умирать?

Гете говоритъ: „благо тому, кто сумѣетъ соединить конецъ своей жизни съ началомъ ея“—это значитъ—соединить „змѣиную мудрость“ старости своей съ „голубиною простотою“ свего дѣтства.—Сумѣетъ-ли соединить ихъ Л. Толстой? Произойдетъ-ли въ немъ, если не въ жизни, то, по крайней мѣрѣ, въ смерти, это послѣднее Воскресеніе, о которомъ я говорю? Спадетъ-ли съ очей слѣпого титана послѣдняя пелена и прозрѣетъ-ли онъ окончательно при „бѣломъ свѣтѣ смерти“?

Въ первой книгѣ его есть изображеніе весеней природы послѣ грозы, какой она является глазамъ ребенка.

„... Я высовываюсь изъ брички и жадно впиваю въ себя освѣженный душистый воздухъ.—Все мокро и блеститъ на солнцѣ, какъ покрытое лакомъ. Съ одной стороны дороги—необозримое озимое поле, кое-гдѣ перерѣзанное неглубокими овражками, блеститъ мокрою землею и зеленью и разстилается тѣнистымъ ковромъ до самаго горизонта; съ другой стороны—осиновая роща, поросшая орѣховымъ и черемушнымъ подсѣдомъ, какъ-бы въ избыткѣ счастія,

стоитъ—не шелохнется и медленно роняетъ съ своихъ обмытыхъ вѣтвей свѣтлыя капли дождя на сухіе, прошлогодніе листья. Со всѣхъ сторонъ вьются съ веселою пѣснью и быстро падаютъ хохлатые жаворонки; въ мокрыхъ кустахъ слышно хлопотливое движеніе маленькихъ птичекъ, и изъ середины рощи ясно долетаютъ звуки кукушки. Такъ обаятеленъ этотъ чудный запахъ лѣса, послѣ весенней грозы, запахъ березы, фіалки, прѣлаго листа, сморчковъ, черемухи, что я не могу усидѣть въ бричкѣ соскакиваю съ подножки, бѣгу къ кустамъ и, несмотря на то, что меня осыпаетъ дождевыми каплями, рву мокрыя вѣтки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь ихъ чуднымъ запахомъ. Не обращая даже вниманія на то, что къ сапогамъ моимъ липнутъ огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бѣгу къ окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда нѣсколько вѣтокъ черемухи,—посмотри, какъ хорошо!

Дѣвочки пищатъ, охаютъ; Мими кричитъ, чтобы я ушелъ, а то меня непремѣнно раздавятъ.

— Да ты понюхай, какъ пахнетъ!—кричу я".

Мелькнетъ-ли въ предсмертномъ бреду его это воспоминаніе дѣтства? Почудится-ли ему снова упоительный запахъ черемухи и свѣжее, какъ дѣтскій поцѣлуй, прикосновеніе мокрыхъ вѣтокъ къ лицу? И почувствуетъ-ли онъ тогда, что въ этой безконечной радости земной и этой любви къ земному, даже только къ земному, было и начало неземного? Пойметъ-ли онъ, что неодолимая, нечеловѣческая, животная и вмѣстѣ съ тѣмъ божественная любовь его къ плоти, съ которою онъ всю жизнь такъ тщетно боролся, могла-бы остаться такой-же невинной, какъ въ еще болѣе далекомъ, незапамятномъ дѣтствѣ, когда онъ, купаясь въ корытѣ, въ первый разъ замѣтилъ и полюбилъ

„свое маленькое голое тѣльце съ выступавшими ребрами"; и что эта любовь его къ себѣ, къ себѣ одному, была-бы святою, если-бы только онъ любилъ себя до конца,—а это значитъ, любилъ себя не для себя, а для Бога, такъ-же вѣдь, какъ и другихъ велѣлъ Господь любить не для нихъ самихъ, а для Него? Пойметъ-ли онъ, наконецъ, что тутъ нѣтъ высшаго и низшаго, что это два противоположныхъ и равно-истинныхъ пути, ведущихъ къ одному и тому-же; что это, въ сущности, даже и не два пути, а одинъ, только до времени кажущійся двумя, что не противъ и не отъ земли, а только черезъ землю можно притти къ неземному, не противъ и не безъ плоти, а только черезъ плоть—къ тому, что за плотью?—И намъ-ли бояться плоти,—намъ, дѣтямъ Того, Кто сказалъ: кровь Моя истинно есть питіе и плоть Моя истинно есть пища,—намъ, чей Богъ, чье *„Слово стало плотью"*

Какъ нужно и важно было-бы для всѣхъ насъ, чтобы и Л. Толстой, этотъ въ настоящее время все-таки величайшій, сильнѣйшій изъ русскихъ людей, увидѣлъ то, что мы уже видимъ и въ жизни, и въ смерти нашими едва прозрѣвшими и свѣтомъ ослѣпленными глазами, послѣдній свѣтъ, послѣднее соединеніе,—чтобы и онъ *это* увидѣлъ, если не въ жизни, то хоть въ смерти своей, чтобы онъ успѣлъ, если не написать, то хоть сказать намъ объ *этомъ*,—о, мы вѣдь услышимъ и поймемъ слова его, сказанныя даже въ предсмертномъ бреду, какъ-бы ни казались они другимъ неясными, ибо сказанное для насъ уже важнѣе, нужнѣе написаннаго,—говорится, что есть и будетъ, пишется лишь то, что было и чего уже нѣтъ: нашу послѣднюю истину еще нельзя написать,—ее можно только сказать и совершить.

Но успѣетъ-ли онъ?—Дай Богъ ему и намъ, чтобъ онъ успѣлъ.

ШЕСТАЯ ГЛАВА.

Въ противоположность Л. Толстому, Достоевскій не любитъ говорить о себѣ.

Этому, повидимому, столь нескромному, даже какъ будто жестокому и циническому разоблачителю чужихъ сердецъ—въ высшей степени свойственно относительно собственнаго сердца то цѣломудріе, которое Тютчевъ находитъ въ сѣверной природѣ—то, какъ онъ выражается,

Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ
Возвышенной стыдливостью страданья.

„Никогда,—говоритъ Страховъ,—не было замѣтно въ немъ—Достоевскомъ—никакого огорченія или ожесточенія отъ перенесенныхъ имъ страданій, и никогда ни тѣни желанія играть роль страдальца.—Ѳедоръ Михаиловичъ велъ себя такъ, какъ будто въ прошломъ у него ничего особеннаго не было, не выставлялъ себя ни разочарованнымъ, ни сохраняющимъ рану въ душѣ, а, напротивъ, глядѣлъ весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, какъ одна дама, въ первый разъ попавшая на редакціонные вечера Михаила Михаиловича (брата Достоевскаго), съ большимъ вниманіемъ вглядывалась въ Ѳедора Михаиловича и наконецъ сказала:

„Смотрю на васъ и, кажется, вижу въ вашемъ лицѣ тѣ страданія, какія вы перенесли".

Ему были видимо досадны эти слова.

— „Какія страданія!—воскликнулъ онъ, и принялся шутить о совершенно постороннихъ предметахъ".

Достоевскій не умѣлъ возбуждать любопытства своей частною жизнью. Самообличеній у него такъ-же мало, какъ упрековъ. Только въ послѣдніе годы, въ „Дневникѣ Писателя", иногда обращался онъ къ воспоминаніямъ дѣтства; но и здѣсь не только ни на кого не жаловался, а, напротивъ, старался оправдать и облагородить въ своемъ воображеніи ту среду, изъ которой вышелъ, какъ будто хотѣлъ убѣдить себя и другихъ, что жизнь его была счастливѣе, чѣмъ на самомъ дѣлѣ.

„Я былъ, можетъ быть, однимъ изъ тѣхъ, которымъ наиболѣе облегченъ былъ возвратъ къ народному корню, къ узнанію русской души, къ признанію духа народнаго. Я происходилъ изъ семейства русскаго и благочестиваго. Съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, я помню любовь ко мнѣ родителей. Мы въ семействѣ нашемъ знали Евангеліе чуть не съ перваго дѣтства. Мнѣ было всего лишь десять лѣтъ, когда я уже зналъ почти всѣ главные эпизоды русской исторіи изъ Карамзина, котораго вслухъ по вечерамъ читалъ намъ отецъ. Каждый разъ посѣщеніе Кремля и соборовъ московскихъ было для меня чѣмъ-то торжественнымъ".

Однажды въ разговорѣ съ братомъ, помянувъ своихъ покойныхъ родителей, онъ воодушевился и горячо сказалъ:

— „Да знаешь-ли, братъ, вѣдь это были люди передовые, и въ настоящую минуту они были-бы передовыми!—А ужъ такими семьянинами, такими отцами намъ съ тобою не быть, братъ!"

Трудно однако рѣшить, насколько заслуживаютъ довѣ-

рія эти счастливыя воспоминанія Достоевскаго. По словамъ его брата, отецъ ихъ „былъ чрезвычайно взыскателенъ и нетерпѣливъ, а главное—очень вспыльчивъ“. По другимъ извѣстіямъ, это былъ „человѣкъ угрюмый, нервный, подозрительный“. „Мнѣ жаль бѣднаго отца,—пишетъ самъ Достоевскій въ 1838 году, то-есть, когда ему было 16 лѣтъ,—странный характеръ! Ахъ, сколько несчастій перенесъ онъ. Горько до слезъ, что нечѣмъ его утѣшить“.

Судя по нѣкоторымъ другимъ, столь-же неяснымъ намекамъ, въ судьбѣ или въ самой личности этого дѣйствительно, кажется, „страннаго“ человѣка было что-то загадочное и трагическое; во всякомъ случаѣ, весьма вѣроятно, что тяжелый нравъ отца, его угрюмость, вспыльчивость и подозрительность имѣли вліяніе на Ѳедора Михаиловича глубокое, хотя, къ сожалѣнію, для изслѣдованія, по недостатку свидѣтельствъ, почти недоступное. Только одинъ изъ жизнеописателей приподымаетъ покровъ надъ этою семейною тайною, но тотчасъ и опускаетъ; говоря о происхожденіи падучей болѣзни у Достоевскаго, замѣчаетъ этотъ біографъ очень сдержанно и глухо: „есть еще одно совершенно особое свидѣтельство о болѣзни Ѳедора Михайловича, относящее ее къ самой ранней его юности и связывающее ее съ *трагическимъ случаемъ* въ ихъ семейной жизни. Но, хотя это и передано мнѣ на словахъ очень близкимъ къ Ѳ. М. человѣкомъ, я ни откуда болѣе не встрѣтилъ подтвержденія этому слуху, а потому и не рѣшаюсь подробно и точно его изложить“.

Должно быть, случай этотъ въ жизни „семейства русскаго и благочестиваго“, какъ выражается самъ Достоевскій, былъ дѣйствительно страшный, если отъ него могла произойти у ребенка падучая, и если жизнеописатель не рѣшается сообщить этотъ слухъ, опираясь на свидѣтельство человѣка, даже „очень близкаго къ Ѳедору Михайло-

вичу". И пусть это только „слухъ",—нельзя-ли заключить изъ трагическаго свойства легенды, что въ „дѣтствѣ и въ отрочествѣ" Достоевскаго не все было такъ свѣтло и отрадно, какъ оно чудилось ему сквозь даль воспоминаній? Едва-ли не свою собственную жизнь, по сравненію съ жизнью Л. Толстого, разумѣлъ Достоевскій, когда называлъ героя романа „Подростокъ" *членомъ случайнаго семейства*—„въ противоположность еще недавнимъ родовымъ нашимъ типамъ, имѣвшимъ столь отличныя дѣтство и отрочество". Едва-ли также не о себѣ, не о своемъ собственномъ дѣтствѣ и отрочествѣ говоритъ онъ и этимъ еще болѣе горькимъ словомъ того-же героя: „созданіе, что у меня, во мнѣ, какъ-бы я ни казался смѣшонъ и униженъ, лежитъ то сокровище силы, которое заставитъ ихъ всѣхъ когда-нибудь измѣнить обо мнѣ мнѣніе, это сознаніе, уже съ самыхъ почти дѣтскихъ униженныхъ лѣтъ моихъ, составляло единственный источникъ жизни моей, мой свѣтъ и мое утѣшеніе,—иначе я-бы, можетъ быть, убилъ себя еще ребенкомъ".

По сравненію со Л. Толстымъ, потомкомъ, со стороны матери, великаго князя св. Михаила Черниговскаго, замученнаго въ Ордѣ, со стороны отца—Петра Андреевича Толстого, любимца Петра Великаго, начальника Тайной Канцеляріи, поимщика царевича Алексѣя,—Достоевскій, сынъ штабъ-лекаря и купеческой дочки, родившійся въ больницѣ для бѣдныхъ, въ Москвѣ, на Божедомкѣ, близъ Марьиной Рощи, есть, въ самомъ дѣлѣ, членъ „случайнаго семейства". Первое впечатлѣніе дѣтства его была, если не нужда, то крайняя стѣсненность. Отецъ, имѣвшій пятерыхъ человѣкъ дѣтей, занималъ квартиру, состоявшую собственно изъ двухъ комнатъ, кромѣ передней и кухни. Передняя была въ одно окно, и задняя часть этой комнаты отдѣлялась досчатой столярной перегородкой, образуя

полутемный уголъ, служившій дѣтскою для двухъ старшихъ братьевъ,—Михаила и Ѳедора Михайловича. „Отецъ—разсказываетъ одинъ изъ братьевъ, Андрей Михайловичъ,—любилъ повторять, что онъ—человѣкъ бѣдный, что дѣти его, въ особенности мальчики, должны готовиться пробивать себѣ сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими“.—Въ 1838 году Достоевскій писалъ изъ Инженернаго Училища: „милый, добрый родитель мой, неужели вы можете думать, что сынъ вашъ, прося отъ васъ денежной помощи, проситъ у васъ лишняго?“

„Уважая вашу нужду,—заключалъ онъ,—не буду пить чаю“.—„Ты жалуешься на свою бѣдность,—сообщаетъ онъ брату почти въ это-же время,—нечего сказать, и я не богатъ. Вѣришь-ли, что я во время выступленія изъ лагерей не имѣлъ ни копѣйки денегъ; заболѣлъ дорогою отъ простуды (дождь лилъ цѣлый день, а мы были открыты) и отъ голода, и не имѣлъ ни гроша, чтобы смочить горло глоткомъ чаю“.

Такъ жизнь Достоевскаго начинается бѣдностью, которой не суждено прекратиться почти до смерти его, и которая зависѣла не столько отъ внѣшнихъ случайностей, сколько отъ внутреннихъ свойствъ природы его. Есть люди, не умѣющіе тратить,—естественно, даже какъ-бы помимо воли своей, предопредѣленные къ накопленію; есть другіе, не умѣющіе беречь,—столь-же естественно предназначенные къ расточительности.

По свидѣтельству брата, Ѳедоръ, Михаиловичъ никогда не зналъ, „сколько у него чего“ — денегъ, платья, бѣлья. Докторъ Ризенкампфъ, нѣмецъ, по просьбѣ того-же брата, поселившійся съ Достоевскимъ въ 1843 году въ Петербургѣ и старавшійся пріучить своего сожителя къ нѣмецкой аккуратности, „засталъ Ѳедора Михаиловича безъ копѣйки, кормящагося молокомъ и хлѣбомъ, да и то въ

долгъ изъ лавочки". — „Ѳедоръ Михаиловичъ — говоритъ Ризенкампфъ,—принадлежалъ къ тѣмъ личностямъ, около которыхъ живется всѣмъ хорошо, но которыя сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но при своей довѣрчивости и добротѣ, онъ не хотѣлъ вникать въ дѣло и обличать прислугу и ея приживалокъ, пользовавшихся его безпечностью".—„Самое сожительство съ докторомъ,—прибавляетъ жизнеописатель,—чуть было не обратилось для Ѳедора Михаиловича въ постоянный источникъ новыхъ расходовъ. Каждаго бѣдняка, приходившаго къ доктору за совѣтомъ онъ готовъ былъ принять, какъ дорогого гостя".

Л. Толстой въ статьѣ своей о Переписи разсказываетъ, что въ Ляпинскомъ ночлежномъ домѣ искалъ онъ людей, достаточно нуждающихся, которые заслуживали-бы денежной помощи, и которомъ-бы онъ могъ раздать ввѣренные ему московскими богачами-благотворителями и остававшіеся у него на рукахъ 37 рублей,—искалъ и не нашелъ. Можно сказать съ увѣренностью, что Достоевскій не затруднился-бы въ подобномъ случаѣ.

Вообще любопытно сравнить эту естественную щедрость Достоевскаго — склонность его бросать деньги на вѣтеръ — съ такою-же естественною, если не бережливостью, то, по крайней мѣрѣ, несклонностью Л. Толстого быть расточительнымъ. У того и у другого эти свойства— внѣ воли и внѣ сознанія. Такимъ каждый изъ нихъ родился — одинъ собирателемъ, домостроителемъ, другой— расточителемъ, вѣчно-бездомнымъ скитальцемъ.

Достоевскому не нужно было доказывать себѣ, что деньги—зло, что слѣдуетъ отречься отъ собственности: онъ мучился бѣдностью и придавалъ деньгамъ, по крайней мѣрѣ въ своемъ сознаніи, большое значеніе; но только что онѣ оказывались у него въ рукахъ, — обращался съ

ними такъ, какъ будто считалъ ихъ даже не зломъ, а совершеннымъ вздоромъ. Онъ любилъ или воображалъ, что любитъ ихъ; но онѣ его не любили. Л. Толстой ненавидитъ или думаетъ, что ненавидитъ ихъ, но онѣ любятъ его и сами идутъ къ нему. Одинъ, всю жизнь мечтая о богатствѣ, прожилъ и, по всей вѣроятности, если-бы недѣловитость жены, умеръ-бы нищимъ. Другой, всю жизнь мечтая о бѣдности, не только не роздалъ, но и пріумножилъ свое имѣніе. Можетъ быть, все это—мелочь для такихъ людей; знаменательно, однако, что и въ этой жизненной мелочи они такъ противоположны.

Не только, впрочемъ, относительно денегъ, но и всѣхъ прочихъ благъ мірскихъ, въ судьбѣ Л. Толстого есть какъ-бы сила притягивающая, въ судьбѣ Достоевскаго—сила отталкивающая. Повидимому, Достоевскій отчасти сознавалъ присутствіе въ своей жизни этой роковой силы накликающей бѣдствія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣлъ наклонность приписывать причину своихъ страданій себѣ самому, своей „порочности". „У меня ужасный порокъ,—признается онъ брату,—неограниченное самолюбіе и честолюбіе".—„Я тщеславенъ такъ, какъ будто съ меня кожу содрали, и мнѣ ужъ отъ одного воздуха больно",—говоритъ герой „Записокъ изъ подполья", многими чертами напоминающій самого Достоевскаго.—„На дняхъ Тургеневъ и Бѣлинскій разбранили меня за безпорядочную жизнь".—„Я боленъ нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно я жить не могу, до того я безпутенъ". Едва-ли, впрочемъ, въ подобныхъ признаніяхъ есть дѣйствительное раскаяніе. Это скорѣе—нѣсколько грустныя и удивленныя самонаблюденія. „Чортъ знаетъ,—замѣчаетъ онъ,—давай мнѣ хорошаго, я непремѣнно самъ сдѣлаю своимъ характеромъ худшее". И въ другой разъ, много лѣтъ спустя, по поводу проигрыша на рулеткѣ въ

Баденѣ: *„вездѣ-то и во всѣмъ я до послѣдняго предѣла дохожу, всю жизнь за черту переходилъ“*. Вотъ чего, можетъ быть, не прощало Достоевскому провидѣніе нашего вѣка, столь боящагося „послѣднихъ предѣловъ“, вотъ за что оно мстило ему такъ насмѣшливо и такъ безпощадно. Въ этомъ отношеніи, такъ-же, какъ и во многихъ другихъ, онъ—человѣкъ въ высшей степени несовременный и несвоевременный. Что касается Л. Толстого, то замѣчательно, что, несмотря на всю видимую страстность своихъ увлеченій въ области созерцательной, никогда въ самой жизни, въ дѣйствіяхъ своихъ не доходилъ онъ „до послѣдняго предѣла“, не „переступалъ черты“.

Достоевскій началъ съ успѣха. „Неужели вправду я такъ великъ, стыдливо думалъ я про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ,—разсказываетъ онъ свои мысли по по воду впечатлѣнія, произведеннаго „Бѣдными людьми“ на Некрасова и Григоровича.—О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, — и какіе люди, какіе люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ-же прекраснымъ, какъ и они, — пребуду „вѣренъ“! О, какъ я легкомысленъ, и еслибъ Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи“.—Слѣдующій романъ „Двойникъ“ провалился. Друзья отвернулись отъ него, почуявъ, что ошиблись, что приняли его за другого. Судьба, какъ будто нарочно, послала ему мгновенный успѣхъ, чтобы тѣмъ больнѣе сдѣлать рядъ слѣдовавшихъ ударовъ и пораженій. Съ того времени вся литературная дѣятельность Достоевскаго была ожесточенной борьбой съ такъ-называемымъ „русскимъ общественнымъ мнѣніемъ“ и съ критикой. И какой несоотвѣтственной, какой случайной кажется намъ, начинающимъ понимать дѣйствительную мѣру заслугъ его, та слава, которая выпала ему на долю незадолго передъ

смертью,—особенно по сравненію съ прижизненною славою Л. Толстого.

„Давай мнѣ хорошаго, я непремѣнно самъ сдѣлаю своимъ характеромъ худшее“—вѣрность этого самонаблюденія, кажется, съ особенною очевидностью оправдалась въ дѣлѣ Петрашевскаго, изъ-за котораго Достоевскій такъ жестоко поплатился.

Трудно себѣ представить, что именно заставило его вмѣшаться въ это дѣло. Мечты соціалистовъ были не только чужды, но и враждебны его природѣ. „Онъ говорилъ,—замѣчаетъ одинъ изъ біографовъ,—что жизнь въ Икарійской коммунѣ или фаланстерѣ представляется ему ужаснѣе и противнѣе всякой каторги“. Если сравнить тогдашнее его показаніе на судѣ съ тѣмъ, что онъ впослѣдствіи, безъ всякаго внѣшняго принужденія, проповѣдывалъ, то едва-ли возможно будетъ заподозрить искренность его утвержденія, что „онъ не принадлежитъ ни къ какой соціальной системѣ, будучи увѣренъ, что примѣненіе ихъ не только къ Россіи, но даже къ Франціи поведетъ за собою неминуемую гибель“.

Главное, что уже и тогда отвращало его отъ соціализма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заставляло такъ упорно вдумываться въ попытку современнаго человѣчества устроиться на землѣ безъ Бога, безъ религіи,—былъ нравственный матеріализмъ этого ученія. По свидѣтельству очевидца, Петрашевскій производилъ на Ѳедора Михаиловича отталкивающее впечатлѣніе тѣмъ, что былъ „безбожникъ и глумился надъ вѣрою“. Точно такъ-же легкомысленное отношеніе Бѣлинскаго къ религіи пробудило въ Достоевскомъ ту неудержимую, ослѣпляющую ненависть, которая черезъ многіе годы разгоралась въ немъ каждый разъ все съ новою силою, когда вспоминалъ онъ о Бѣлинскомъ, объ этомъ будто-бы „самомъ смрадномъ, тупомъ и позорномъ явле-

нiи русской жизни“ (письмо Н. Н. Страхову изъ Дрездена отъ 18—30 мая 1871 года). Въ „Дневникѣ“ за 1873 годъ онъ очень зло и тонко передаетъ какъ будто-бы тоже насмѣшливый, на самомъ дѣлѣ только въ высшей степени простодушный, чтобы не сказать больше, разсказъ Бѣлинскаго объ ихъ философскихъ бесѣдахъ, въ которыхъ русскiй критикъ старался обратить будущаго творца „Идiота“ въ безбожiе: „Каждый-то разъ, — говоритъ Бѣлинскiй, — когда я вотъ такъ помяну Христа, у него все лицо измѣняется, точно заплакать хочетъ“.—„Да повѣрьте-же, наивный вы человѣкъ, набросился онъ опять на меня,—вспоминаетъ Достоевскiй,—повѣрьте-же, что вашъ Христосъ, если-бы родился въ наше время, былъ-бы самымъ незамѣтнымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ; такъ и стушевался-бы при нынѣшней наукѣ и при нынѣшнихъ двигателяхъ человѣчества“. — „Этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ Христа!“—вдругъ не выдерживаетъ Ѳедоръ Михайловичъ, черезъ тридцать лѣтъ, какъ будто бесѣда происходила только наканунѣ, и разражается яростною бранью. — „Этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ Христа, и между тѣмъ никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей всего мiра сопоставить со Христомъ для сравненiя. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбiя, злобы, нетерпѣнiя, раздражительности подлости, а главное — самолюбiя. Онъ не сказалъ себѣ никогда: что-же мы поставимъ вмѣсто Него? Неужели себя, тогда какъ мы такъ гадки? Нѣтъ, онъ никогда не задумался надъ тѣмъ, что онъ самъ гадокъ; онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость“. (Письмо къ Н. Н. Страхову отъ 18 мая 1871 г., см. полн. собр. соч. Достоевскаго, т. I, стр. 312, СПБ., 1883).

Итакъ, если кто-либо когда-нибудь былъ невиненъ въ

соціализмѣ, по крайней мѣрѣ, въ томъ соціализмѣ, за который преслѣдовало тогдашнее русское правительство,— то это, конечно, Достоевскій. Онъ сдѣлался мученикомъ и едва не погибъ за то, во что не только ни минуты не вѣрилъ, но что ненавидѣлъ всѣми силами души. Что-же влекло его къ этимъ людямъ? Не то-же-ли, что̀ всю жизнь заставляло искать его самаго труднаго, бѣдственнаго, жестокаго и страшнаго, какъ будто онъ чувствовалъ, что ему нужно „пострадать", чтобы вырости до полной мѣры силъ своихъ? Или—онъ переходилъ за черту, играя опасностью среди политическихъ заговорщиковъ, — такъ-же, какъ игралъ онъ ею всегда и вездѣ, — какъ впослѣдствіи — въ карточной игрѣ, въ сладострастіи, въ мистическихъ ужасахъ.

Восемь мѣсяцевъ просидѣлъ онъ въ Петропавловской крѣпости. Одинъ изъ его товарищей по заключенію сталъ мѣшаться въ умѣ. Ѳедоръ Михаиловичъ прочелъ здѣсь два путешествія по Св. Мѣстамъ и сочиненія св. Дмитрія Ростовскаго. „Послѣднія,—пишетъ онъ,—меня очень заняли". Онъ ожидалъ смертнаго приговора и дѣйствительно услышалъ его.

Когда осужденныхъ привезли на Семеновскій плацъ и троихъ уже привязали къ столбамъ,—разсказываетъ Спѣшневъ, — Ѳедоръ Михаиловичъ, какъ ни былъ онъ потрясенъ, не потерялся. Онъ былъ блѣденъ, но довольно быстро взошелъ на эшафотъ,—„скорѣе былъ торопливъ, чѣмъ подавленъ. Оставалось произнести: „пли!" и все было-бы кончено. Тутъ махнули платкомъ—и казнь была остановлена. Но, когда Григорьева, того самого, который уже въ крѣпости сталъ мѣшаться въ умѣ, отвязали отъ столба,—онъ былъ блѣденъ, какъ смерть. Умственныя способности окончательно ему измѣнили". По словамъ одного изъ приговоренныхъ, „многимъ изъ нихъ вѣсть о

помилованіи вовсе не представилась радостною, а какъ будто-бы даже обидною",—какъ впослѣдствіи выразился Достоевскій, — „безобразнымъ и ненужнымъ ругательствомъ".

Мгновенія, проведенныя Достоевскимъ не съ вѣроятіемъ, а съ увѣренностью въ ожидающей его черезъ „пять минутъ" смерти, имѣли на всю его послѣдующую духовную жизнь неизгладимое вліяніе: они какъ-бы передвинули уголъ зрѣнія его на весь міръ: онъ что-то понялъ, чего не можетъ понять человѣкъ, не испытавшій этого ожиданія вѣрной смерти. Судьба послала ему нѣкоторое великое познаніе, рѣдкій опытъ, какъ-бы новое *измѣреніе* всего существующаго, которые не пропали даромъ, которыми впослѣдствіи сумѣлъ онъ воспользоваться для поразительныхъ открытій.

„Подумайте,—устами „Идіота" говоритъ Достоевскій,—подумайте, если, напримѣръ, пытка; при этомъ страданія и раны, мука тѣлесная и, стало быть, все это отъ душевнаго страданія отвлекаетъ, такъ что однѣми только ранами и мучаешься вплоть, пока умрешь. А вѣдь главная, самая сильная боль, можетъ, не въ ранахъ, а вотъ,—что вотъ знаешь навѣрно, что вотъ черезъ часъ, потомъ черезъ десять минутъ, потомъ черезъ полминуты, потомъ теперь, вотъ сейчасъ—душа изъ тѣла вылетитъ, и что человѣкомъ ужъ больше не будешь, и что это ужъ навѣрно; главное то, что *навѣрно*. Вотъ какъ голову кладешь подъ самый ножъ и слышишь, какъ скользнетъ надъ головой, вотъ эти-то четверть секунды всего и страшнѣе.—Кто сказалъ, что человѣческая природа въ состояніи вынести это безъ сумашествія? Зачѣмъ такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Можетъ быть, и есть такой человѣкъ, которому прочли приговоръ, дали помучиться, а потомъ сказали; „ступай, тебя прощаютъ". Вотъ этакой человѣкъ,

можетъ быть, могъ-бы разсказать. Объ этой мукѣ и объ этомъ ужасѣ и Христосъ говорилъ".

Каторгу принялъ онъ съ покорностью. И самъ не жаловался, и не любилъ, когда другіе жалѣли его. Онъ старался возвысить и облагородить свои воспоминанія о каторгѣ такъ-же, какъ о дѣтствѣ своемъ, видѣлъ въ ней суровый, но спасительный урокъ судьбы, безъ котораго не было ему выхода на новые пути жизни. „Я не ропщу—пишетъ онъ брату изъ Сибири,—это мой крестъ, и я его заслужилъ". Но если онъ въ самомъ дѣлѣ не ропталъ, то не слѣдуетъ забывать, чего ему стоила эта покорность.

„Я почти въ отчаяніи. Трудно передать, сколько я выстрадалъ".—„Тѣ четыре года считаю я за время, въ которое я былъ похороненъ живой и закрытъ въ гробу. Что за ужасное было это время, не въ силахъ я разсказать тебѣ, другъ мой. Это было страданіе невыразимое, безконечное, потому что всякій часъ всякая минута тяготѣла какъ камень у меня на душѣ. Во всѣ четыре года не было мгновенія, въ которое-бы я не чувствовалъ, что я въ каторгѣ. Но что разсказывать! Даже если-бы я написалъ къ тебѣ 100 листовъ, то и тогда ты не имѣлъ-бы понятія о тогдашней жизни моей. Это нужно по крайней мѣрѣ, видѣть самому,—я уже не говорю испытать".

Итакъ если вообще утѣшать себя мыслью о пользѣ каторги для Достоевскаго, то, конечно не въ прямомъ житейскомъ, какъ онъ однако самъ любилъ это дѣлать, а лишь въ сверхжизненномъ значеніи этой пользы. Не встрѣчаемся-ли мы и здѣсь опять съ тѣми таинственными силами, которыя какъ будто невидимо бодрствуютъ надъ всѣми земными судьбами Достоевскаго и ведутъ его къ особой цѣли? Въ этомъ смыслѣ каторга дѣйствительно была однимъ изъ ударовъ, на которые онъ самъ иногда какъ будто напрашивался, которые раздавили-бы и унич-

тожили всякаго другого на его мѣстѣ а ему нужны были, во всякомъ случаѣ, нужнѣе, чѣмъ, напримѣръ, столь же сверхжизненное, роковое счастіе Л. Толстого,—потому что удары эти выковывали Достоевскому душу, необходимую, чтобы создать то, что онъ создалъ:

Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Все, о чемъ Л. Толстой мечталъ, къ чему стремился, и что, можетъ быть, иногда въ его созерцаніи было глубокимъ, но только-что переходило въ дѣйствіе, становилось похожимъ на забаву,—лишеніе собственности, трудъ тѣлесный, сліяніе съ народомъ,—все это пришлось Достоевскому испытать на дѣлѣ, и притомъ съ такою подавляющею суровостью, съ какой это только возможно.

Арестанскій полушубокъ и кандалы были для него отнюдь не отвлеченнымъ символомъ, а дѣйствительнымъ знакомъ гражданской смерти и отверженія отъ общества. Сколько-бы Л. Толстой ни рубилъ деревьевъ для бѣдныхъ поселянъ, сколько-бы ни пахалъ землю въ потѣ лица своего, это все-таки менѣе трудъ, чѣмъ охота, аскетическое упражненіе и гимнастика. Сущность труда, все равно физическаго или умственнаго, заключается въ сознаніи не только нравственной, но и тѣлесной необходимости, въ дѣйствительной опасности, въ дѣйствительномъ страхѣ, униженіи и безпомощности нужды: если не заработаю, то черезъ день, черезъ мѣсяцъ или годъ останусь безъ куска хлѣба. Это кажется общеизвѣстнымъ, но на самомъ дѣлѣ вовсе не такъ легко понятно, въ послѣдней жизненной глубинѣ своей, для людей съ такимъ воспитаніемъ и прошлымъ, какъ Л. Толстой. Подобно тому, какъ человѣкъ, никогда не испытавшій извѣстной физической боли, не можетъ имѣть представленія о ней, сколько-бы

ни старался вообразить ее, такъ тотъ, кто никогда не испыталъ нужды, не можетъ ее понять, сколько-бы ни думалъ и ни разсуждалъ о ней.

Въ этомъ отношеніи Достоевскій былъ счастливѣе Л. Толстого: судьба послала ему случай испытать на каторгѣ трудъ и нужду простыхъ людей точно такъ-же, какъ онъ узналъ страхъ смерти не въ отвлеченныхъ мысляхъ о ней, а въ ея дѣйствительной близости, стоя на эшафотѣ.

Лѣтомъ, въ первый годъ его острожной жизни, около двухъ мѣсяцевъ продолжалась носка кирпичей съ береговъ Иртыша къ строившейся казармѣ, саженъ на семьдесятъ разстоянія, черезъ крѣпостной валъ. „Работа эта,—говоритъ Достоевскій,—мнѣ даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мнѣ плечи. Но мнѣ нравилось то, что отъ работы во мнѣ очевидно развилась сила“. Какая разница со Л. Толстымъ, пашущимъ или носящимъ кирпичи для печки бѣдной бабы.

Если ему пріятно ощущеніе развивающейся силы, все-таки—не отвлеченный, иносказательный трудъ, не одна изъ „четырехъ упряжекъ“, не эпикурейскій спортъ или гимнастика: онъ знаетъ, что отъ тѣлесной силы зависитъ жизнь его, спасеніе, вопросъ о томъ, вынесетъ-ли онъ или не вынесетъ каторгу. Онъ также знаетъ, что хотя ему и нравится носить кирпичи, но если-бы онъ вздумалъ отказаться отъ работы, его ожидаютъ брань и побои конвойныхъ, розги острожнаго начальства. И нешуточность, необходимость труда даютъ ему жизненный смыслъ.

Достоевскому не нужно въ отвлеченныхъ умозрѣніяхъ отвергать собственность и условія культурнаго общества: онъ самъ отверженъ. Л. Толстой сдѣлалъ вполнѣ вѣрный и точный, но, въ сущности, оказавшійся безплоднымъ для

послѣдующей жизни его, математическій разсчетъ, что ему слѣдовало-бы дать нищему старику двѣ тысячи рублей для того, чтобы милостыня его равнялась двумъ копѣйкамъ плотника Семена. Онъ приведенъ былъ къ сомнѣнію, имѣетъ-ли онъ вообще право помогать бѣднымъ, и, кажется, это сомнѣніе еще и по сію пору не разрѣшилось. Для каторжника Достоевскаго подобныхъ сомнѣній вовсе не могло существовать: сама жизнь разрѣшила ихъ за него, поставивъ его въ такое положеніе, въ которомъ пришлось ему не давать, а принимать милостыню. „Это было скоро по прибытіи моемъ въ острогъ, — разсказываетъ Достоевскій, — я возвращался съ утренней работы одинъ, съ конвойнымъ. На встрѣчу мнѣ прошли мать и дочь, дѣвочка лѣтъ десяти, хорошенькая, какъ ангельчикъ. Я уже видѣлъ ихъ разъ. Мать была солдатка, вдова. Ея мужъ, молодой солдатъ, былъ подъ судомъ и умеръ въ госпиталѣ, въ арестантской палаткѣ, въ то время, когда и я тамъ лежалъ больной. Жена и дочь приходили къ нему прощаться; обѣ ужасно плакали. Увидя меня, дѣвѣчка закраснѣлась, пошептала что-то матери, та тотчасъ-же остановилась, отыскала въ узелкѣ четверть копѣйки и дала ее дѣвочкѣ. Та бросилась бѣжать за мной. — На, „несчастный“, возьми, Христа ради, копѣечку! — кричала она, забѣгая впередъ меня и суя мнѣ въ руки монетку. Я взялъ ея копѣечку, и дѣвочка возвратилась къ матери, совершенно довольная. Эту копѣечку я долго берегъ у себя“. — Сколько-бы ни увѣряли насъ жизнеописатели Толстого, что хотя онъ и не роздалъ своего имѣнія, но что это все равно, потому что онъ пересталъ имъ „пользоваться“,—мы все-таки чувствуемъ, что того стыда и той гордости, той боли и того наслажденія, которыя испыталъ Достоевскій, принимая милостыню отъ дѣвочки, Л. Толстому ни разу въ жизни не дано было испытать; мы

чувствуемъ, что тутъ есть великая разница въ *подлинности*, если не мыслей и намѣреній, то дѣйствій и ощущеній.

Во время говѣнія „въ церкви,—разсказываетъ Достоевскій,—мы становились тѣсной кучей, у самыхъ дверей, на самомъ послѣднемъ мѣстѣ.—Я припоминалъ, какъ бывало еще въ дѣтствѣ, стоя въ церкви, смотрѣлъ я иногда на простой народъ, густо тѣснившійся у входа и подобострастно разступавшійся передъ густымъ эполетомъ, передъ толстымъ бариномъ, передъ расфуфыренной, но чрезвычайно-богомольной барыней, которые непремѣнно проходили на первыя мѣста и готовы были поминутно ссориться изъ-за перваго мѣста. Тамъ, у входа, казалось мнѣ тогда, и молились-то не такъ, какъ у насъ, молились смиренно, ревностно, земно и съ какимъ-то полнымъ сознаніемъ своей приниженности. — Теперь и мнѣ пришлось стоять на этихъ же мѣстахъ; даже и не на этихъ: мы были закованные и ошельмованные, отъ насъ всѣ сторонились, насъ всѣ даже какъ будто боялись, насъ каждый разъ одѣляли милостыней, и, помню, мнѣ это было даже какъ-то пріятно, какое-то утонченное, особенное ощущеніе сказывалось каждый разъ въ этомъ удовольствіи. „Пусть-же, коли такъ!“—думалъ я. Арестанты молились очень усердно, и каждый изъ нихъ каждый разъ приносилъ свою нищенскую копѣйку на свѣчку или клалъ на церковный сборъ. „Тоже вѣдь и я человѣкъ“,—можетъ быть, думалъ онъ или чувствовалъ, подавая—„передъ Богомъ-то всѣ равны“.—Причащались мы за ранней обѣдней. Когда священникъ съ чашей въ рукахъ читалъ слова: „но яко разбойника мя пріими“.—почти всѣ повалились на землю, звуча кандалами, кажется, принявъ эти слова буквально на свой счетъ“.

Такой опытъ давалъ право Достоевскому утверждать впослѣдствіи, что онъ жилъ съ народомъ и знаетъ его

Когда вмѣстѣ съ другими каторжниками повторялъ онъ въ сердцѣ своемъ: „яко разбойника мя пріими“,—онъ не отвлеченно созерцалъ, а дѣйствительно всѣмъ существомъ своимъ чувствовалъ и мѣрилъ бездну, отдѣляющую народъ отъ культурнаго общества, по краю которой Л. Толстой всю жизнь только скользилъ въ художественныхъ и нравственныхъ созерцаніяхъ своихъ.

Начало своей эпилепсіи Достоевскій приписывалъ каторгѣ. Мы знаемъ, что, по другому свидѣтельству, болѣзнь эта началась у него еще въ дѣтствѣ. По всей вѣроятности, въ необычайно-повышенной и утонченной чувствительности таилась главная причина недуга, который только развился и усилился во время каторги. Въ письмѣ къ императору Александру II „бывшаго государственнаго преступника“ Достоевскаго онъ утверждаетъ, будто-бы болѣзнь его началась въ первый-же годъ каторжной работы. „Болѣзнь моя,—прибавляетъ онъ,—усиливается болѣе и болѣе. Отъ каждаго припадка я, видимо, теряю память, воображеніе, душевныя и тѣлесныя силы. Исходъ моей болѣзни—разслабленіе, смерть или сумасшествіе“. Намъ извѣстно, что въ жизни его дѣйствительно бывали времена, когда падучая грозила ему совершеннымъ помраченіемъ умственныхъ способностей. Припадки болѣзни, по словамъ Страхова, случались съ нимъ приблизительно разъ въ мѣсяцъ,—таковъ былъ обыкновенный ходъ. Но иногда, хотя очень рѣдко, бывали чаще; бывало даже и по два припадка въ недѣлю.

„Самому мнѣ,—продолжаетъ Страховъ свой замѣчательный разсказъ,—довелось разъ быть свидѣтелемъ, какъ случился съ Ѳедоромъ Михайловичемъ припадокъ обыкновенной силы. Это было, вѣроятно, въ 1863 году, какъ разъ наканунѣ Свѣтлаго Воскресенія. Поздно, часу въ 11-мъ, онъ зашелъ ко мнѣ, и мы очень оживленно разго-

ворились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это былъ очень важный отвлеченный предметъ. Ѳедоръ Михайловичъ очень оживился и зашагалъ по комнатѣ, а я сидѣлъ за столомъ. Онъ говорилъ что-то высокое и радостное; когда я поддержалъ его мысль какимъ-то замѣчаніемъ, онъ обратился ко мнѣ съ вдохновеннымъ лицомъ, показывавшимъ, что одушевленіе его достигло высшей степени. Онъ остановился на минуту, какъ-бы ища слова для своей мысли, и уже открылъ ротъ. Я смотрѣлъ на него съ напряженнымъ вниманіемъ, чувствуя, что онъ скажетъ что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровеніе. Вдругъ изъ его открытаго рта вышелъ странный, протяжный и безсмысленный звукъ, и онъ безъ чувствъ опустился на полъ среди комнаты".

„Въ это мгновеніе вдругъ чрезвычайно искажается лицо, особенно взглядъ,—описываетъ припадокъ самъ Достоевскій въ „Идіотѣ". — Конвульсіи и судороги овладѣваютъ всѣмъ тѣломъ и всѣми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожій вопль вырывается изъ груди; въ этомъ воплѣ вдругъ исчезаетъ какъ-бы все человѣческое, и никакъ невозможно, по крайней мѣрѣ, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричитъ этотъ-же самый человѣкъ. Представляется даже, что кричитъ какъ-бы кто-то другой, находящійся внутри этого человѣка. Многіе, по крайней мѣрѣ, изъясняли такъ свое впечатлѣніе, на многихъ-же видъ человѣка въ падучей производитъ рѣшительный и невыносимый ужасъ, имѣющій въ себѣ даже нѣчто мистическое".

Древніе называли падучую *„священною болѣзнью"*. Народы Востока видѣли въ ней тоже, — какъ выражается Достоевскій,—„нѣчто мистическое", связанное съ даромъ пророчества и ясновидѣнія, божеское или бѣсовское. Въ исторіи великихъ религіозныхъ движеній мы встрѣчаемся

иногда съ этою малоизслѣдованною или, по крайней мѣрѣ мало объясненною болѣзнью, особенно—въ ихъ первомъ началѣ, въ ихъ самыхъ темныхъ подземныхъ родникахъ. Въ одномъ изъ глубочайшихъ произведеній своихъ,—въ „Бѣсахъ", Достоевскій нѣсколько разъ съ упорною вдумчивостью возвращается къ легендѣ о знаменитомъ кувшинѣ эпилептика Магомета, не успѣвшемъ, будто-бы, пролиться въ то время, какъ пророкъ на конѣ Аллаха облетѣлъ небеса и преисподнюю. Замѣчательно, что и въ разсказѣ Страхова намѣчена эта-же связь чего-то „высокаго и радостнаго", видимо религіознаго, какого-то „откровенія", для котораго Достоевскій искалъ и не находилъ словъ, съ мгновенно затѣмъ наступившимъ припадкомъ.

Во всякомъ случаѣ, на жизнь его, не только тѣлесную но и духовную, на все его художественное творчество и даже отвлеченную философскую мысль „священная болѣзнь" оказала поразительное дѣйствіе. Въ своихъ произведеніяхъ онъ говоритъ о ней съ особымъ сдержаннымъ волненіемъ, какъ-бы съ мистическимъ ужасомъ. Самые значительные и противоположные изъ его героевъ—извергъ Смердяковъ, „святой" князь Мышкинъ, пророкъ „Человѣкобога", нигилистъ Кирилловъ—эпилептики. Припадки падучей были для Достоевскаго какъ-бы страшными провалами, просвѣтами, внезапно открывавшимися окнами, черезъ которыя онъ заглядывалъ въ потусторонній *свѣтъ*. „Затѣмъ вдругъ какъ-бы что-то разверзлось передъ нимъ: необычайный *внутренній свѣтъ* озарилъ его душу",—говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ описаній. „Много разъ мнѣ разсказывалъ Ѳедоръ Михайловичъ,—вспоминаетъ Страховъ,—что передъ припадкомъ у него бываютъ минуты восторженнаго состоянія". „На нѣсколько мгновеній,—говорилъ онъ,—я испытываю такое счастіе, которое

невозможно въ обыкновенномъ состояніи, и о которомъ не имѣютъ понятія другіе люди. Я чувствую полную гармонію въ себѣ и во всемъ мірѣ, и это чувство такъ сильно и сладко, что за нѣсколько секундъ такого блаженства можно отдать десять лѣтъ жизни, пожалуй, всю жизнь". Но послѣ припадка „душевное состояніе его было очень тяжело; онъ едва справлялся со своею тоскою и впечатлительностью. Характеръ этой тоски, по его словамъ, состоялъ въ томъ, что онъ чувствовалъ себя какимъ-то преступникомъ, ему казалось, что надъ нимъ тяготѣетъ невѣдомая вина, великое злодѣйство".

Великая святость, великое злодѣйство, потусторонняя радость, потусторонняя скорбь,—и оба чувства вдругъ соединяются, разрѣшаются въ мгновенной, ослѣпляющей какъ молнія, точкѣ, въ послѣднюю „четверть секунды", когда „кувшинъ Магомета" не успѣлъ еще пролиться, и когда изъ груди „бѣсноватаго" уже вырывается ужасающій вопль, который заставляетъ думать, что кричитъ не онъ самъ, а кто-то другой, внутри его находящійся,—*не человѣкъ*.

Какъ знать, не касаемся-ли мы здѣсь самаго глубокаго первоначальнаго и неразгаданнаго въ существѣ Достоевскаго, въ его тѣлесномъ и духовномъ составѣ? Не сходятся-ли въ этомъ узлѣ всѣ нити клубка? И не кажется-ли иногда, что именно эти припадки, эти внезапно разражающіяся бури какой-то недоступной нашему изслѣдованію, но, можетъ быть, во всѣхъ насъ безмолвно копящейся, ожидающей силы сдѣлали тѣлесную оболочку Достоевскаго, пелену плоти и крови, отдѣляющую душу отъ того, что за плотью и кровью, болѣе тонкою, болѣе прозрачною, чѣмъ у другихъ людей, такъ что онъ уже могъ видѣть сквозь нее то, чего никогда никто изъ людей не видалъ.

И опять является невольное сравненіе съ Л. Толстымъ,—сравненіе „священной“, демонической „болѣзни“ Достоевскаго, которая, можетъ быть, вовсе не есть слабость, скудость, а напротивъ—грозовой, скопившійся избытокъ жизненной силы, до послѣдняго предѣла доведенное утонченіе, обостреніе, сосредоточеніе духовности,—съ неменѣе священнымъ и демоническимъ избыткомъ тѣлесной *плотскости*, крѣпости, здоровья у Л. Толстого, съ избыткомъ въ концѣ концовъ той-же, какъ у Достоевскаго, столь-же грозовой и оргійной, только иначе проявляющейся, разражающейся жизненной силы. Впослѣдствіи мы увидимъ, что Л. Толстой почерпаетъ свою не мнимую, не лже-христіанскую, а истинную, языческую религіозность изъ безконечнаго углубленія въ тайны этой плотскости, этой *божеской* животности, я говорю—божеской для того, чтобы выразить, что, съ извѣстной религіозной точки зрѣнія, животное въ человѣкѣ столь же свято и небесно, какъ духовное, такъ что плоть и духъ только въ своихъ видимостяхъ, только въ явленіяхъ—противоположны, но въ послѣдней, потусторонней сущности—едины. Застарѣлая дурная привычка лже-христіанства или, лучше сказать, павліанства заставляетъ почти всѣхъ современныхъ людей, даже отрекшихся отъ религіозности, унижать плотское въ пользу духовнаго, отвлеченнаго, разсудочнаго, безплотнаго и безкровнаго, какъ нѣчто низшее, грѣховное или, по крайней мѣрѣ, грубое, стыдное, скотское. Есть, однако глубина религіознаго созерцанія соединяющая, *символическая*—(опять напоминаю: *символъ*—συμβολον—значитъ *соединеніе*)—для которой плоть столь-же потустороння, какъ духъ, для которой бездна животнаго, кажущаяся темною, нижнею, становится равною безднѣ духовнаго, кажущейся свѣтлою, верхнею, ночное полушаріе небесъ—равно дневному. Л. Толстой, какъ мыслитель-художникъ, погружаясь

именно въ эти бездны животнаго, на послѣднихъ его предѣлахъ встрѣчаетъ другое начало, вѣчно ему противоположное и *какъ будто* его отрицающее,—сознаніе грозящаго разрушенія животной личности, сознаніе смерти. Здѣсь-то и начинается его трагедія; здѣсь впервые брезжитъ тотъ „холодный бѣлый свѣтъ", который кажется ему свѣтомъ новаго христіанскаго „воскресенія", и который поражаетъ князя Андрея въ ночь передъ Аустерлицкимъ сраженіемъ.

„И съ высоты этого представленія,—то-есть, представленія о смерти—все, что̀ прежде мучило и занимало его, вдругъ освѣтилось холоднымъ бѣлымъ свѣтомъ, безъ тѣней, безъ перспективы, безъ различія очертаній. Вся жизнь представилась ему волшебнымъ фонаремъ, въ который онъ долго смотрѣлъ сквозь стекло и при искусственномъ освѣщеніи. Теперь онъ увидалъ вдругъ безъ стекла, при яркомъ дневномъ свѣтѣ, эти дурно намалеванныя картины.—„Да, да, вотъ они, тѣ волновавшіе и восхищавшіе и мучившіе меня ложные образы",—говорилъ онъ себѣ, перебирая въ своемъ воображеніи главныя картины своего волшебнаго фонаря жизни, глядя теперь на нихъ при этомъ холодномъ бѣломъ свѣтѣ дня—ясной мысли о смерти.—„Все это ужасно просто гадко!"

Итакъ, для Толстого свѣтъ смерти свѣтитъ на жизнь извнѣ, разлагая, угашая краски и образы жизни; для Достоевскаго онъ свѣтитъ изнутри. Свѣтъ смерти и свѣтъ жизни для него — свѣтъ единаго огня, который зажженъ внутри „волшебнаго фонаря" явленій. Для Толстого весь религіозный смыслъ жизни заключается въ переходѣ отъ жизни къ смерти, — *въ другомъ свѣтѣ*. Для Достоевскаго этого перехода какъ-бы вовсе нѣтъ, онъ какъ-бы все время, пока живетъ, умираетъ. Постоянно зіяющіе провалы, просвѣты, припадки „священнаго недуга"—утопили,

опрозрачили ткань его животной жизни, сдѣлали ее рѣдкою, сквозящею, повсюду просвѣчивающею внутреннимъ свѣтомъ. Для Толстого тайна смерти—за жизнью; для Достоевскаго сама жизнь—такая-же тайна, какъ смерть. Для него холодный свѣтъ будничнаго петербургскаго утра есть въ тоже время и страшный „бѣлый свѣтъ смерти". Для Толстого существуетъ только вѣчная противоположность жизни и смерти, для Достоевскаго—только ихъ вѣчное единство. Толстой смотритъ на смерть изнутри жизни посюстороннимъ взглядомъ; Достоевскій взглядомъ потустороннимъ смотритъ на жизнь изнутри того, что̀ живущимъ кажется смертью.

Кто-же изъ нихъ ближе къ истинѣ? Какая изъ этихъ двухъ жизней прекраснѣе?

Я сознаю что, по первой главѣ моего изслѣдованія, читатель можетъ заподозрить меня въ предубѣжденіи противъ Л. Толстого въ пользу Достоевскаго. Въ дѣйствительности мнѣ только хотѣлось перегнуть и выправить лукъ, слишкомъ натянутый въ противоположную сторону толстовскимъ и вообще современнымъ европейскимъ, черезчуръ узко и односторонне, исключительно-аскетически и разсудочно понимаемымъ христіанствомъ. Но если я былъ одностороннимъ, даже какъ будто несправедливымъ, то это—преднамѣренно и предварительно; я не остановлюсь на этой ступени изслѣдованія; я постараюсь пойти далѣе, углубляясь въ художественное, философское и религіозное творчество обоихъ писателей. До сей поры я сравнивалъ ихъ, какъ людей, съ точки зрѣнія христіанской или кажущейся христіанскою, исчерпывающею то, что у современныхъ людей называется христіанствомъ. Но еслибы я сравнилъ эти двѣ жизни и съ противоположной точки зрѣнія—языческой или опять-таки кажущейся языческою, то не пришлось-ли бы мнѣ заключить, что жизнь Л. Тол-

стого, со своею неувядаемою свѣжестью, крѣпостью, неисчерпаемою, земною, посюстороннею радостью, — совершеннѣе, прекраснѣе, чѣмъ жизнь Достоевскаго. И наконецъ, съ третьей и послѣдней точки зрѣнія — символической, соединяющей оба противоположные религіозные полюса,—не покажутся-ли жизнь Л. Толстого и жизнь Достоевскаго одинаково, хотя и противоположно и несовершенно прекрасными,—несовершенно, потому что все-таки нѣтъ ни у того, ни у другого, въ русской культурѣ уже предзнаменованной Пушкинымъ, степени гармоніи,—у Толстого вслѣдствіе перевѣса плоти надъ духомъ, у Достоевскаго—духа надъ плотью. Тѣмъ не менѣе, обѣ эти жизни, одинаково великія, одинаково русскія, завершаютъ и дополняютъ одна другую, необходимы одна для другой, — какъ будто нарочно созданы для пророческихъ сопоставленій и сравненій.

Это—какъ-бы двѣ, изъ одной точки въ разныя стороны расходящіяся линіи—до сей поры не замкнутаго, но могущаго и долженствующаго быть замкнутымъ круга, такъ-что уже и теперь мы знаемъ, что двѣ эти линіи снова сольются, образуя совершенный кругъ, во второй, противоположной и высшей точкѣ. Это—два до времени кажущіяся противорѣчивыми, на самомъ дѣлѣ уже и теперь согласныя пророчества еще невѣдомаго, но уже нами чаемаго русскаго генія, столь-же стихійнаго и народнаго, какъ Пушкинъ, изъ котораго вышли Толстой и Достоевскій, но вмѣстѣ уже болѣе сознательнаго и, слѣдовательно, болѣе всемірнаго—второго и окончательнаго, соединяющаго, символическаго Пушкина. Это—два великихъ столпа, еще одинокихъ и не соединенныхъ, въ преддверіи храма,—двѣ обращенныя другъ къ другу и противоположныя части одного уже начатаго, но въ цѣлости своей еще невидимаго зданія—зданія русской и въ тоже время всемірной религіозной культуры.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА.

Когда умеръ Пушкинъ, Достоевскому было шестнадцать лѣтъ.

„Не знаю,—вспоминаетъ братъ его, Андрей Михайловичъ,—вслѣдствіе какихъ причинъ извѣстіе о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже послѣ похоронъ матушки. Вѣроятно, наше собственное горе и сидѣніе всего семейства постоянно дома было причиною этому. Помню, что братья чуть съума не сходили, услыхавъ объ этой смерти и о всѣхъ подробностяхъ. Братъ Ѳедоръ въ разговорахъ со старшимъ братомъ нѣсколько разъ повторялъ, что ежели-бы у насъ не было семейнаго траура, то онъ просилъ-бы позволенія отца носить трауръ по Пушкинѣ".

Итакъ, смерть матери не заглушила въ Достоевскомъ горя о смерти Пушкина. Если онъ еще не сознавалъ, то уже чувствовалъ въ шестнадцать лѣтъ такъ-же, какъ впослѣдствіи въ шестьдесятъ, свою съ нимъ живую, кровную связь,—не только благоговѣлъ передъ нимъ, какъ передъ великимъ учителемъ, но и любилъ его, какъ самаго близкаго, родного человѣка.

Въ тѣ-же годы, для Л. Толстого, какъ самъ онъ признается въ „Юности", Пушкинъ и другіе русскіе писатели были только „книжки въ желтомъ переплетѣ, которыя онъ читалъ и училъ ребенкомъ". Онъ со стыдомъ сравниваетъ

свой тогдашній дурной вкусъ со вкусомъ товарищей своихъ, студентовъ Московскаго университета. „Пушкинъ и Жуковскій были для нихъ литература. Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили... гораздо лучше и яснѣе о литературѣ, чѣмъ я“.—„Въ то время только начинали появляться „Монтекристо“ и разныя „Тайны“, и я зачитывался романами Сю, Дюма и Поль-де-Кока. Всѣ самыя неестественныя лица и событія были для меня такъ-же живы, какъ дѣйствительность.—Я не смѣлъ заподозрить автора во лжи.—На основаніи романовъ, у меня даже составились новые идеалы нравственныхъ достоинствъ, которыхъ я желалъ достигнуть.—Я желалъ быть во всѣхъ своихъ дѣлахъ и поступкахъ, къ чему у меня и прежде была наклонность... какъ можно болѣе comme il faut. Я даже наружностью и привычками старался быть похожимъ на героевъ этихъ романовъ“.

Таково художественное воспитаніе Л. Толстого и Достоевскаго. Конечно, уже и въ шестнадцать лѣтъ Достоевскій понималъ грубость и пошлость Дюма и Поль-де-Кока. Его литературные вкусы и сужденія для отрока поразительно тонки, зрѣлы и независимы. Ему одинаково доступна и русская, и западно-европейская литература. Въ одномъ изъ своихъ нѣсколько восторженныхъ юношескихъ писемъ изъ Инженернаго Училища сообщаетъ онъ брату: „мы разговаривали о Гомерѣ, Шекспирѣ, Шиллерѣ, Гофманѣ“. „Я вызубрилъ Шиллера, говорилъ имъ, бредилъ имъ“. „Имя Шиллера стало мнѣ роднымъ“. Но онъ умѣетъ цѣнить не только Шекспира и Шиллера, сравнительно болѣе доступныхъ для пониманія тогдашнихъ русскихъ молодыхъ людей, увлекавшихся романтизмомъ и готикой, а также великихъ французскихъ классиковъ XVII вѣка Расина и Корнеля, о которыхъ впослѣдствіи Бѣлинскій судилъ такъ поверхностно. Достоевскій уже не раздѣляетъ

въ то время моднаго у насъ, навѣяннаго нѣмецкою критикой, педантически презрительнаго отношенія къ такъ называемой „псевдо-классической литературѣ“. И какое глубокое чутье къ самой далекой и чуждой культурѣ сказывается именно въ томъ, что, признавая внутреннюю условность, подражательность французскихъ классиковъ, этотъ русскій мальчикъ изъ „благочестиваго московскаго семейства“, сынъ больничнаго штабъ-лекаря, въ то-же время восхищается совершенствомъ и законченною гармоніей внѣшнихъ формъ придворныхъ поэтовъ Людовика XIV—„А *Phèdre*? Братъ! Ты Богъ знаетъ, что̀ будешь, ежели скажешь, что это не высшая и чистая природа и поэзія. Вѣдь это Шекспировскій очеркъ, хотя статуя изъ гипса, а не изъ мрамора“. Можетъ быть, о „Федрѣ“ во всей русской литературѣ нѣтъ сужденія, болѣе сжатаго и мѣткаго, чѣмъ то, что сказано въ этихъ двухъ строкахъ. Въ другомъ письмѣ защищаетъ онъ Корнеля отъ нападокъ брата: „Читалъ-ли ты „Le Cid?“ Прочти, жалкій человѣкъ, прочти и пади въ прахъ передъ Корнелемъ“.

Если принять въ разсчетъ глубокую религіозность Достоевскаго, которая сказывалась въ немъ уже съ самаго дѣтства и впослѣдствіи заставила его на всю жизнь возненавидѣть Бѣлинскаго за нѣсколько необдуманныхъ словъ о религіи, то слѣдующее сравненіе Христа и Гомера, несмотря на свою наивность и восторженность, покажется многозначительнымъ: „Гомеръ—(баснословный человѣкъ, можетъ быть, какъ Христосъ, воплощенный Богомъ и къ намъ посланный) можетъ быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни въ него, братъ, пойми Иліаду, прочти ее хорошенько (ты вѣдь не читалъ ея, признайся). Вѣдь въ Иліадѣ Гомеръ далъ всему древнему міру организацію и духовной, и земной жизни, совершенно въ такой-же силѣ, какъ Христосъ—новому. Теперь поймешь-ли меня?“

Въ теченіе всей своей жизни Достоевскій сохранилъ это чутье ко всемірной, по его собственному выраженію—„всечеловѣческой“ культурѣ, эту способность чувствовать себя вездѣ дома, пріобщаться къ внутренней, духовной жизни всѣхъ вѣковъ и народовъ — способность, которую онъ всегда считалъ, какъ и высказалъ въ Пушкинской рѣчи, главною особенностью Пушкина и вообще русскаго генія, *всемірнаго* по преимуществу передъ геніями другихъ европейскихъ народовъ.

Онъ пишетъ Страхову лѣтомъ 1863 года, во время первой поѣздки за границу: „Странно: пишу изъ *Рима*, и ни слова о Римѣ! Но что бы я могъ написать вамъ? Боже мой! Да развѣ это можно описывать въ письмахъ? Пріѣхалъ третьяго дня ночью. Вчера утромъ осматривалъ св. Петра. Впечатлѣніе сильное, Николай Николаевичъ, съ холодомъ по спинѣ. Сегодня осматривалъ *Forum* и всѣ его развалины. Затѣмъ *Колизей*! Ну, что-жъ я вамъ скажу?“

Онъ имѣлъ право сказать впослѣдствіи, что Европа для него—нѣчто „святое и страшное“, что у него „двѣ родины“—Россія и Европа, что „Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ и искусствъ, вся исторія ихъ“,—ему иногда были „милѣй, чѣмъ Россія“. И въ этомъ смыслѣ Достоевскій, будучи, послѣ Пушкина, самымъ русскимъ изъ русскихъ писателей, въ то-же время—величайшій изъ русскихъ европейцевъ. Онъ показалъ на себѣ, что быть русскимъ—значитъ быть въ высшей степени европейцемъ—быть всемірнымъ.

Л. Толстой, имѣя самъ, какъ художникъ, всемірное значеніе, обладая другимъ столь-же русскимъ свойствомъ—необъятною силою народной стихійности, въ то-же время вовсе лишенъ этой, казавшейся Достоевскому отличительнымъ русскимъ свойствомъ, способности ко всемірной культурѣ. Несмотря на весь разсудочный, мнимо-христіан-

ской космополитизмъ Л. Толстого, среди великихъ русскихъ писателей нѣтъ, кажется, другого, болѣе стѣсненнаго въ своемъ творчествѣ условіями мѣста и времени, границами своей народности и своего вѣка, чѣмъ Л. Толстой. Все нерусское и несовременное ему не то что враждебно, а просто — чуждо, непонятно, нелюбопытно. Творецъ „Войны и Мира“, произведенія, желающаго быть историческимъ, можетъ быть, умомъ признаетъ и даже отчасти знаетъ исторію, но сердцемъ никогда ея не чувствовалъ, никогда не проникалъ или не старался, не удостаивалъ проникнуть во внутреннюю, духовную жизнь другихъ вѣковъ и народовъ. Для него не существуетъ *вострга дали*“, этого вдохновляющаго чувства Исторіи,—ни живой скорби, ни живой радости прошлаго. Онъ весь до глубочайшихъ корней своихъ—въ *настоящемъ*, въ современной русской дѣйствительности, въ русскомъ рабочемъ народѣ и русскомъ баринѣ. Намъ извѣстно, что въ молодости Л. Толстой былъ въ Италіи, но онъ не вынесъ изъ нея никакихъ впечатлѣній. Если-бы мы не знали навѣрное изъ его біографіи, что онъ дѣйствительно былъ за Альпами, можно бы въ этомъ усомниться. „Осколки святыхъ чудесъ“ не возбудили въ немъ никакого трепета. „Старые чужіе камни“ остались для него мертвыми. Если однажды, походя, съ легкимъ сердцемъ, подобно запоздалому русскому нигилисту г. Стасову, называетъ онъ „Страшный Судъ“ Микель-Анжело „нелѣпымъ“ произведеніемъ, то это не по собственнымъ воспоминаніямъ, а по какому-нибудь случайно видѣнному снимку.

Кажущееся условнымъ во всякой культурѣ, на самомъ дѣлѣ, съ неизвѣстной исторической точки зрѣнія, можетъ быть, столь-же естественное, какъ сама природа, для Л. Толстого—всегда искусственно и слѣдовательно—лживо. Этотъ преувеличенный страхъ всего „условнаго“ перехо-

дитъ у него, наконецъ, въ страхъ всего культурнаго. Такъ проза кажется ему естественнѣе стиховъ. И не думая о томъ, что мѣрная рѣчь на самомъ дѣлѣ первобытнѣе, и что люди именно въ самыхъ страстныхъ, то-есть, въ самыхъ естественныхъ своихъ душевныхъ состояніяхъ имѣютъ наклонность такъ-же, какъ дѣти и младенческіе народы, выражать свои чувства стихами, пѣсней, Л. Толстой рѣшаетъ, что всякое стихотворное произведеніе условно и слѣдовательно—лживо. Еще въ молодости „онъ осмѣивалъ величайшія произведенія русской литературы только потому, что они были написаны въ стихахъ,—замѣчаетъ нѣмецкій біографъ Толстого,—изящная форма въ глазахъ его не имѣла никакого значенія, такъ какъ, по его мнѣнію,—которому онъ, кстати сказать, *всегда оставался вѣрнымъ*,—такая форма налагаетъ оковы на мысль".

Нигдѣ не сказывается это отсутствіе чутья ко всемірной культурѣ такъ ярко, какъ въ одномъ изъ послѣднихъ произведеній Л. Толстого, въ которомъ онъ подводитъ итогъ своимъ художественнымъ сужденіямъ и мыслямъ за цѣлую жизнь,—въ статьѣ „Что такое искусство?"

Относительно новаго, такъ-называемаго „декадентскаго" направленія онъ даетъ обѣщаніе скромности, котораго не сдерживаетъ: „осуждать новое искусство за то, что я, человѣкъ воспитанія первой половины вѣка, не понимаю его,—я не имѣю права и не могу; я могу только сказать, что оно непонятно для меня. Единственное преимущество того искусства, которое я признаю, передъ декадентскимъ состоитъ въ томъ, что это, мною признаваемое, искусство понятно большему числу людей, чѣмъ теперешнее". Не довольствуясь, однако, признаніемъ своего непониманія, онъ судитъ и осуждаетъ безъ разбора, такъ сказать, валитъ въ одну кучу всѣхъ: Беклина и Клингера, Ибсена и Бодлэра, Нитче и Вагнера. О мистеріяхъ Метерлинка и

Гауптмана выражается такъ: какіе-то слѣпые, которые, сидя на берегу моря, для чего-то повторяютъ все одно и то-же; или какой-то колоколъ, который слетаетъ въ озеро и тамъ звонитъ". Нитче кажется ему такъ-же, какъ самымъ безпечнымъ русскимъ газетчикамъ, только полоумнымъ.

Казалось-бы, по крайней мѣрѣ, что для человѣка, воспитаннаго въ первой половинѣ столѣтія, должны быть особенно дороги и понятны не „декадентскіе" художники и поэты прошлыхъ вѣковъ. На самомъ дѣлѣ ниспровергаетъ онъ съ еще большею безпощадностью несомнѣнныя древнія славы, чѣмъ новыя, сомнительныя. Такъ, онъ увѣряетъ, будто-бы „произведеніе, основанное на заимствованіи, какъ, напримѣръ, *Фаустъ* Гете, можетъ быть очень хорошо обдѣлано, исполнено ума и всякихъ красотъ, но оно не можетъ произвести настоящаго художественнаго впечатлѣнія, потому что лишено главнаго свойства произведенія искусства—цѣльности, органичeнности. Сказать про такое произведеніе, что оно хорошо, потому что поэтично,—все равно, что сказать про монету, что она хорошая, потому что похожа на настоящую". (Т. XV, стр. 124). „Фаустъ" для него фальшивая монета—потому что это произведеніе слишкомъ культурно-условно. Любовныя новеллы Боккаціо уже съ другой, аскетически-христіанской точки зрѣнія считаетъ онъ „размазываніемъ половыхъ мерзостей". Произведенія Эсхила, Софокла, Еврипида, Данте, Шекспира, музыку Вагнера и послѣдняго періода Бетховена называетъ сначала „разсудочными, выдуманными", а затѣмъ „грубыми, дикими и часто безсмысленными" (Т. XV, стр. 136—137). Во время представленія „Гамлета", онъ испытывалъ „то особенное страданіе, которое производятъ фальшивыя произведенія", и вмѣстѣ съ тѣмъ, по одному описанію охотничьей драмы изъ театра Вогуловъ, заключаетъ, что

„это — произведеніе истиннаго искусства“ (Т. XV, стр. 167—168).

На человѣка западно-европейской культуры столь простодушныя кощунства, которыя могутъ казаться „русскимъ варварствомъ“, и которыя на самомъ дѣлѣ суть варварство общеевропейское, зависящее отъ современнаго демократическаго и мнимо-христіанскаго одичанія вкуса, должны производить впечатлѣніе неистовства дикаря Калибана, разбивающаго Эгинскіе мраморы, рѣжущаго на куски портретъ моны Лизы.

Но не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ. Этотъ Геростратъ, который подымаетъ руку на Эсхида и Данте, для котораго Пушкинъ въ настоящее время, если не учебникъ въ „желтомъ переплетѣ“, то—распутный человѣкъ, „писавшій неприличные стихи о любви“, наивно преклоняется передъ Бертольдомъ, Ауэрбахомъ, Элліотъ и „Хижиною дяди Тома“.—Въ концѣ концовъ, не столько по тому, что онъ отрицаетъ, сколько по тому, что онъ признаетъ,—убѣждаешься, что въ своихъ *сознательныхъ* сужденіяхъ о чуждыхъ ему областяхъ искусства Л. Толстой на склонѣ дней своихъ не далеко ушелъ отъ самой первой молодости, когда зачитывался Февалемъ, Дюма и Польде-Кокомъ. И всего печальнѣе, можетъ быть, именно то, что изъ подъ страшной маски Калибана выглядываетъ слишкомъ знакомое и не страшное лицо русскаго помѣщика-демократа, барина-позитивиста шестидесятыхъ годовъ.

Еще поразительнѣе сказывается у Л. Толстого эта безпомощность культурнаго сознанія въ его отношеніи къ собственному творчеству.

„Я сталъ писать изъ тщеславія, корыстолюбія и гордости“,—увѣряетъ онъ въ „Исповѣди“.—„Я—художникъ, поэтъ—писалъ, училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это

платили деньги, у меня было прекрасное кушаніе, помѣщеніе, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я училъ, было очень хорошо".—„Настоящимъ задушевнымъ разсужденіемъ нашимъ было то, что мы хотимъ какъ можно больше получать денегъ и похвалъ. Для достиженія этой цѣли мы ничего другого не умѣли дѣлать, какъ только писать книжки и газеты. Мы это и дѣлали". „Та дѣятельность,—вспоминаетъ онъ уже послѣ религіознаго переворота восьмидесятыхъ годовъ,—которая называется художественной и которой я прежде отдавалъ всѣ свои силы, не только потеряла для меня прежде приписываемую ей важность, но стала прямо непріятна мнѣ по тому несвойственному мѣсту, которое она занимала въ моей жизни и занимаетъ вообще въ понятіяхъ людей въ богатыхъ классахъ". Свидѣтельство Берса о томъ, что со своей теперешней „христіанской" точки зрѣнія Л. Толстой „все прежнее свое творчество считаетъ вреднымъ, потому что въ немъ описывается любовь въ смыслѣ полового влеченія и насилія",—заслуживаетъ тѣмъ большого довѣрія, что это сужденіе находится въ совершенно правильной логической связи съ остальными сужденіями Л. Толстого объ искусствѣ. Не самъ-ли онъ въ концѣ жизни, подводя итогъ всей своей художественной дѣятельности, рѣшаетъ со свойственной ему смѣсью сознательной искренности и безсознательнаго притворства: „еще долженъ замѣтить, что свои художественныя произведенія я причисляю къ области дурного искусства, за исключеніемъ разсказа „Богъ правду видитъ" и „Кавказскаго плѣнника",—то-есть, за исключеніемъ двухъ, какъ нарочно, самыхъ слабыхъ нравоучительныхъ разсказовъ.

И не только въ послѣдніе годы, то-есть во время сравнительнаго ущерба своей творческой силы, но и гораздо ранѣе—въ пору высшаго подъема ея—думалъ онъ или, по

крайней мѣрѣ, старался думать, желалъ убѣдить себя и другихъ, что думаетъ о своихъ произведеніяхъ почти такъ-же, какъ теперь: „Берусь,—пишетъ онъ Фету въ 1875 году,—за скучную и пошлую Анну Каренину съ однимъ желаніемъ—поскорѣе опростать себѣ мѣсто—досугъ для другихъ занятій".

Искренно-ли считалъ онъ „Анну Каренину" „скучною и пошлою?" Неужели дѣйствительно не любилъ ея даже въ то время, когда писалъ? Если и любилъ, то во всякомъ случаѣ не сознательною или менѣе сознательною любовью, чѣмъ, напримѣръ, Гете—своего „Фауста", Пушкинъ—„Евгенія Онѣгина".

Въ этихъ степеняхъ культурнаго сознанія и заключается одно изъ главныхъ отличій Л. Толстого и Достоевскаго. Будучи великимъ писателемъ, Л. Толстой никогда не былъ великимъ *литераторомъ*, въ томъ смыслѣ, какъ Пушкинъ, Гете, Достоевскій, которые сами себя считали не только владыками, но и работниками Слова, для которыхъ оно было не только духовнымъ, но и насущнымъ хлѣбомъ. Литература въ томъ значеніи, въ которомъ я употребляю здѣсь это понятіе, не есть нѣчто болѣе искусственное, условное, а только болѣе сознательное, чѣмъ стихійное творчество поэзіи, хотя столь-же естественное, какъ вообще культура не есть нѣчто противорѣчащее, а только продолжающее дочеловѣческую природу въ мірѣ человѣческаго сознанія. Съ этой окончательной соединяющей точки зрѣнія культура и природа суть единое, и тотъ, кто идетъ противъ условности культуры, идетъ противъ естества человѣческаго, противъ одной изъ самыхъ божественныхъ и вѣчныхъ силъ природы.

Въ презрѣніи Л. Толстого къ собственной художественной дѣятельности есть нѣчто темное и сложное, чего, кажется, онъ самъ себѣ никогда не выяснялъ до конца.

По крайней мѣрѣ, въ его литературномъ самолюбіи замѣтны очень странныя колебанія и непослѣдовательности. „Никогда не было писателя, столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я“,—увѣряетъ онъ однажды Фета. Однако, по выходѣ въ свѣтъ „Войны и Мира“, проситъ того-же Фета съ трогательною откровенностью: „напишите, что будутъ говорить въ знакомыхъ Вамъ различныхъ мѣстахъ, и главное—какъ на массу. Вѣрно, пройдетъ незамѣченнымъ. Я жду этого и желаю—только-бы не ругали, а то ругательства разстраиваютъ“.—По собственнымъ словамъ его (такъ, по крайней мѣрѣ, утверждаетъ,—мы уже знаемъ,—одинъ изъ его самыхъ простодушныхъ и правдивыхъ жизнеописателей), въ немъ было всегда „пріятное сознаніе того, что онъ писатель и аристократъ“, именно *писатель* или—какъ въ старину говорили—„свободный художникъ“, но не *литераторъ*, въ томъ смыслѣ, какъ Пушкинъ и Гете. Л. Толстой всю свою жизнь стыдился литературы и съ сознательной, будто-бы народной, и съ безсознательной, аристократической точки зрѣнія презиралъ ее, какъ нѣчто серединное, мѣщанское, не святое и не благородное. Но въ этомъ стыдѣ и презрѣніи едва-ли сказывается откровенный аристократизмъ генія, а не дурно, хотя и тщательно, скрытый, коренящійся въ немъ глубже, чѣмъ это можетъ казаться съ перваго взгляда, сословный аристократизмъ,—само себя отрицающее, стыдящееся, но все-таки иногда прорывающееся наружу барство.

„Достоевскій,—говоритъ Страховъ,—любилъ литературу.—Онъ принималъ ее, какъ она есть, со всѣми ея условіями, никогда не становился отъ нея въ сторонѣ и не бросалъ на нее взглядовъ свысока. Это отсутствіе малѣйшаго *литературнаго аристократизма* есть въ немъ черта прекрасная и даже трогательная. Русская литература была... *почвою*, на которой выросъ Ѳедоръ Михаиловичъ, отъ ко-

торой онъ никогда не отрывался, къ которой питалъ кровную любовь и преданность. Онъ хорошо зналъ, что, выступая въ публику и въ литературную сферу, выходитъ на базаръ, на площадь, и нимало не думалъ стыдиться ни своего ремесла, ни своихъ собратій по ремеслу. Напротивъ, онъ гордился этимъ дѣломъ, считалъ его великимъ, священнымъ".

Какъ люди прежней барской брезгливости находили для себя унизительнымъ зарабатывать насущный хлѣбъ ручнымъ трудомъ, точно такъ-же Л. Толстой, съ точки зрѣнія, хотя новаго, но едва-ли менѣе высокомѣрнаго и брезгливаго міросозерцанія, считаетъ позорнымъ брать плату за умственный трудъ. Съ младенческимъ незнаніемъ нужды и труда, онъ только презрительно пожимаетъ плечами, когда слышитъ, что истинный художникъ можетъ творить ради денегъ.

„Я всю жизнь мою,—говоритъ Достоевскій,—ни разу не продавалъ сочиненій, не бравъ впередъ деньги. Я литераторъ-пролетарій, и если кто захочетъ моей работы, то долженъ меня впередъ обезпечить". Этотъ человѣкъ, у котораго такая гордыня, такое—какъ онъ самъ выражается—тщеславіе, „какъ будто съ него кожу содрали, и ему отъ одного воздуха больно",—который, можетъ быть, не меньше Л. Толстого дорожитъ свободой художника,—не стыдится, однако, „творить ради денегъ", принимать плату за трудъ, какъ простой поденщикъ. Онъ самъ себя называетъ „почтовою клячею". Онъ пишетъ къ сроку по три съ половиною печатныхъ листа въ два дня и двѣ ночи. И съ откровенностью, которая Льву Николаевичу должна казаться предѣломъ рыночной наглости столь презираемыхъ имъ „литераторовъ", Достоевскій признается: „Очень часто случалось въ моей литературной жизни, что начало главы романа или повѣсти было уже въ типографіи и въ наборѣ,

а окончаніе сидѣло еще въ моей головѣ, но непремѣнно должно было написаться къ завтрему".—„Работа изъ-за нужды, изъ-за денегъ задавила и съѣла меня".—„Кончатся-ли когда-нибудь мои бѣдствія?—Ахъ, кабы деньги, да обезпеченіе!"—это—не затихающая боль и стонъ всей его жизни. Иногда въ изнеможеніи отъ борьбы съ нуждою проклинаетъ онъ ее, но никогда не стыдится. У него—особая внутренняя гордость среди внѣшняго позора, свойственнаго положенію умственнаго работника въ современномъ буржуазномъ обществѣ. Однажды въ минуту подобной гордости онъ воскликнулъ: „мое имя стоитъ милліона".

Почти тотчасъ по выходѣ изъ каторги, послѣ испытаннаго имъ христіанскаго просвѣтлѣнія, впадаетъ онъ въ грѣхъ, повидимому, самой грубой и циничесской зависти: „я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но вѣдь не слишкомъ-же хуже, и наконецъ, я надѣюсь написать совсѣмъ не хуже. Зачѣмъ-же я-то съ моими нуждами беру только 100 р., а Тургеневъ, у котораго 2000 душъ, по 400? Отъ бѣдности я *принужденъ* торопиться и писать для денегъ, слѣдовательно, *непремѣнно портить*". Въ припискѣ говорится, что Каткову онъ пошлетъ всего 15 листовъ по 100 р.—1500 р. „Взялъ я у него 500, да еще, пославъ $^3/_4$ романа, просилъ 200 на дорогу, итого взято 700. Пріѣду въ Тверь безъ копѣйки, но зато въ самомъ непродолжительномъ времени получаю съ Каткова 700 или 800 р. Это еще ничего. Можно обернуться".— И такъ далѣе, все одно и то-же. Безконечными рядами цифръ и счетовъ, прерываемыхъ отчаянными мольбами о помощи,—„Ради Христа, спаси меня",—пишетъ онъ однажды брату,—наполнены всѣ письма Достоевскаго. Это—сплошной мартирологъ, одно изъ самыхъ великихъ сказаній о мученикѣ умственнаго труда.

Особенно тяжелыми были для него четыре года отъ 1865 до 1869, которые, можетъ быть, стоили четырехъ лѣтъ каторги. Такъ-же, какъ передъ первымъ несчастіемъ, судьба сначала приласкала его. Издаваемый имъ журналъ „Время“ имѣлъ успѣхъ и приносилъ доходъ, такъ что онъ уже мечталъ отдохнуть отъ нужды, когда его постигла неожиданная и незаслуженная цензурная кара. „Время“ было запрещено за невинную и только дурно понятую статью по вопросу о польскихъ дѣлахъ. Произошло недоразумѣніе такое-же, какъ во время слѣдствія по дѣлу Петрашевскаго. Замѣчательны эти два недоразумѣнія, едва не погубившія Достоевскаго сначала смертнымъ приговоромъ и каторгой, затѣмъ раззореніемъ. Люди власти не сумѣли признать въ немъ союзника. Но, можетъ быть, въ дѣйствительности это было и не совсѣмъ недоразумѣніе: не подсказывало-ли имъ вѣрное чутье, что будущій творецъ „Великаго Инквизитора“ не такой для нихъ надежный союзникъ, какимъ онъ казался или, по крайней мѣрѣ, желалъ казаться.

Достоевскій не палъ духомъ, и почти тотчасъ послѣ катастрофы съ „Временемъ“ принялся за изданіе „Эпохи“, но уже безъ прежняго успѣха. Минута счастія была пропущена безъ возврата. „Эпоху“ постигла кара не правительственной, но столь-же суровой „либеральной“ русской цензуры, которая всегда была и, вѣроятно, всегда будетъ въ Россіи неразлучною спутницей, самымъ точнымъ и вѣрнымъ, хотя и обратнымъ, какъ въ водѣ или въ зеркалѣ, отраженіемъ правительственной цензуры, такъ что въ одной неподвижной крайней чертѣ, въ одномъ горизонтѣ, эти обѣ цензуры сливаются.

Достоевскій, любившій доходить до послѣдняго горизонта, до крайней черты во всемъ, оказался между двухъ ней,—говъ положеніи, изъ котораго не суждено было ему

выйти до конца жизни,—не только врагомъ правительства, но и врагомъ его враговъ. „Эпоха“ — разсказываетъ онъ самъ, — была слабѣе противниковъ, которымъ не было счета и которые разрѣшали себѣ не только всякое глумленіе и ругательство, напримѣръ, называли своихъ оппонентовъ *ракаліями*, *бутербродами*, *стрижами* и т. п., но и позволяли себѣ намеки на то, что мы нечестны, угодники правительства, доносчики и т. д. Помню, какъ бѣдный Михаилъ Михаиловичъ былъ огорченъ, когда его „разсчетъ съ подписчиками“ былъ гдѣ-то продернутъ и доказывалось, что онъ обсчиталъ своихъ подписчиковъ“. „Они, то-есть „либеральные“ противники, вспоминалъ онъ впослѣдствіи въ „Дневникѣ“, объявили меня сыскно-полицейскимъ писателемъ“.

Въ это-же самое время, одинъ за другимъ, умерли братъ его Михаилъ Михаиловичъ, критикъ Аполлонъ Григорьевъ, самый близкій другъ его, сотрудникъ по „Времени“, и первая жена, Марья Дмитріевна Достоевская.

И вотъ я остался вдругъ одинъ, — пишетъ онъ А. Е. Врангелю,—и стало мнѣ просто страшно. Вся жизнь переломилась на-двое.—Буквально, мнѣ не для чего оставалось жить. Новыя связи дѣлать, новую жизнь выдумывать? Мнѣ противна была даже и мысль объ этомъ.—Семейство брата осталось буквально безъ всякихъ средствъ — хоть ступай по міру. Я у нихъ остался единой надеждой, и они всѣ, и вдова, и дѣти сбились въ кучу около меня, ожидая отъ меня спасенія. Брата моего я любилъ безконечно, могъ-ли я ихъ оставить?“ Продолжая изданіе „Эпохи“, „я могъ-бы прокормить и ихъ и себя,—конечно, работая съ утра до ночи, всю жизнь.—Къ тому-же надо было отдать долги брата: я не хотѣлъ, чтобы на его имя легла дурная память.—Я сталъ печатать (послѣднія книжки „Эпохи“) разомъ въ трехъ типографіяхъ, не жалѣлъ денегъ,

не жалѣлъ здоровья и силъ. Редакторомъ былъ одинъ я, читалъ корректуры, возился съ авторами, съ цензурой, поправлялъ статьи, доставалъ деньги, просиживалъ до шести часовъ утра и спалъ по пяти часовъ въ сутки и хоть ввелъ въ журналъ порядокъ, но уже было поздно".

Журналъ окончательно провалился. Достоевскій принужденъ былъ объявить—какъ онъ выражается—„временное банкротство". Кромѣ долга передъ подписчиками, на немъ оказалось до 10,000 вексельнаго долга и 5.000 на честное слово. „О, другъ мой,—пишетъ онъ Врангелю,—я охотно-бы пошелъ опять на каторгу на столько-же лѣтъ, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободнымъ. Теперь опять начну писать романъ изъ-подъ палки, то-есть изъ нужды, на-скоро. — Изъ всего запаса моихъ силъ и энергіи осталось у меня въ душѣ что-то тревожное и смутное, что-то близкое къ отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояніе и вдобавокъ — одинъ, — прежнихъ и прежняго, сорокалѣтняго, нѣтъ уже при мнѣ". Самый ожесточенный изъ кредиторовъ его, издатель и книгопродавецъ Стелловскій, откровенный негодяй, грозилъ посадить его въ тюрьму, „такъ что ужъ и помощникъ квартальнаго,—говоритъ Ѳедоръ Михаиловичъ,—приходилъ ко мнѣ для исполненія". Остальные грозили тѣмъ-же и подавали ко взысканію. Ему оставалось одно изъ двухъ: или долговое отдѣленіе, или бѣгство. Онъ предпочелъ послѣднее и бѣжалъ за-границу.

Здѣсь провелъ онъ четыре года, невыразимо бѣдствуя.

О крайностяхъ нужды, почти невѣроятныхъ,—онъ вѣдь уже тогда былъ авторомъ „Преступленія и Наказанія", великимъ русскимъ, а для наиболѣе чуткихъ цѣнителей могъ быть и всемірнымъ писателемъ, — даютъ понятія письма его А. Н. Майкову изъ Дрездена отъ 1869 года.

Тутъ все только самыя будничныя, житейскія мелочи, но я не могу ихъ обойти: не вникая въ эти мелочи, нельзя *почувствовать* чужой нужды, точно такъ-же, какъ не слыша стоновъ, не видя лица больного, нельзя почувствовать боли его. Тутъ никакія отвлеченныя разсужденія о трудѣ и бѣдности простого народа, о праздности и роскоши умственныхъ работниковъ ничего не выяснятъ.

„Я въ послѣдніе полгода, — пишетъ Достоевскій Майкову, — такъ нуждался съ женой, что послѣднее бѣлье наше теперь въ закладѣ—(не говорите этого никому)“,— прибавляетъ къ скобкахъ стыдливо и жалобно.—„Я принужденъ буду тотчасъ-же продать послѣднія и необходимѣйшія вещи и за вещь, стоющую 100 талеровъ, взять 20, что, конечно, принужденъ буду сдѣлать для спасенія жизни трехъ существъ, если онъ *замедлитъ* отвѣтомъ, хотя-бы и удовлетворительнымъ“. Этотъ *онъ*,—послѣдняя надежда, соломинка, за которую онъ хватается, какъ утопающій—какой-то господинъ Кашпиревъ, издатель „Зари“; ему совершенно не извѣстный, котораго, однако, онъ проситъ „по-христіански“, то-есть, Христа ради, выручить его и выслать 200 рублей. „Но такъ какъ это, можетъ быть, тяжело сдѣлать сейчасъ, то прошу его выслать *сейчасъ* всего только 75 рублей (это, чтобъ спасти сейчасъ изъ воды и не дать провалиться)... Не зная совершенно личности Кашпирева, пишу въ усиленно-почтительномъ, хотя и нѣсколько настойчивомъ тонѣ (боюсь, чтобъ не пикировался; ибо почтительность—слишкомъ усиленная, да и письмо, кажется, очень глупымъ слогомъ написано)“.

Почти черезъ мѣсяцъ снова пишетъ онъ Майкову: „отъ Кашпирева до сихъ поръ *ни копѣйки денегъ не получилъ*— одни обѣщанія! Если-бы вы знали только, въ какомъ мы теперь положеніи. Вѣдь насъ трое—я, жена (вторая жена Достоевскаго, Анна Григорьевна), которая кормитъ и ко-

торой ѣсть надо, и ребеночекъ (новорожденная дочь Люба), который можетъ заболѣть черезъ нашу нужду и умереть!"—„Надо окрестить Любу, а она до сихъ поръ еще не крещена;—не на что".

Далѣе все такія-же мелочи, трагическую силу которыхъ пойметъ лишь человѣкъ, самъ испытавшій нужду. Напримѣръ, въ другомъ письмѣ брату отъ апрѣля 1864 года: „лѣтнихъ калошъ не соберусь купить, въ зимнихъ хожу". Неужели онъ (Кашпиревъ)—продолжаетъ Достоевскій,—думаетъ, что я писалъ ему о моей нуждѣ только для красоты слога? Какъ могу я писать, когда я голоденъ, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложилъ? Да чортъ со мной и съ моимъ голодомъ! Но вѣдь она—(Анна Григорьевна)—кормитъ ребенка, что-жъ, если она послѣднюю свою теплую, шерстяную юбку идетъ *сама* закладывать! А вѣдь у насъ второй день снѣгъ идетъ (не вру, справьтесь въ газетахъ!), вѣдь она простудиться можетъ! Неужели онъ не можетъ понять, что мнѣ *стыдно* все это объяснять ему?" „Но это не все, есть и *еще стыднѣе*: у насъ до сихъ поръ ни бабка, ни хозяева не уплачены, и это все ей въ первый мѣсяцъ послѣ родовъ! Да неужели-же онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и *жену мою оскорбилъ*, обращаясь со мной такъ небрежно, послѣ того, какъ я самъ ему писалъ о *нуждахъ моей жены*. Оскорбилъ, оскорбилъ!... Онъ меня *заручилъ* своимъ словомъ! Слѣдственно, онъ не имѣетъ права говорить, что онъ плюетъ на мой голодъ, и что я не смѣю торопить его. Онъ, конечно, будетъ говорить, что онъ плюетъ на мой голодъ, и что я не смѣю торопить его"...—и такъ далѣе, ненужныя, однообразныя, какъ стоны безсмысленной боли, повторенія все одного и того-же. Это—уже не дѣловое письмо, а бредъ; не жалобы, а крики отчаянія. Тутъ даже нѣтъ справедливости относительно Каш-

пирева, невиннаго, какъ оказалось впослѣдствіи, ибо замедленіе произошло не по его небрежности, а по безтолковости одного служащаго въ банкѣ, на который былъ сдѣланъ переводъ. Тутъ — самый звукъ надрывающагося голоса Достоевскаго, безудержное, почти безумное волненіе, какъ передъ припадкомъ эпилепсіи.

„И они требуютъ отъ меня теперь литературы!—заключаетъ онъ съ бѣшенствомъ.—Да развѣ я могу писать въ эту минуту? Я хожу и рву на себѣ волосы, а по ночамъ не могу заснуть! Я все думаю и бѣшусь! Я жду! О, Боже мой! Ей-Богу, ей-Богу, я *не могу* описать всѣ подробности моей нужды: мнѣ стыдно ихъ описывать!.. И послѣ того у меня требуютъ художественности, чистоты поэзіи, безъ угару, и указываютъ на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрятъ, въ какомъ положеніи я работаю!“

И такова была вся или почти вся его жизнь.

„Я—художникъ, поэтъ, училъ, самъ не зная чему,—говоритъ Л. Толстой.—Мнѣ за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помѣщеніе, женщины, общество; у меня была слава“.—„Литература, такъ-же какъ и откупа, есть только искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа“. — „Ни одинъ трудъ не окупается такъ легко, какъ литературный“.

Ну, а что, если-бы онъ увидѣлъ собственными глазами Достоевскаго, котораго онъ все-таки считалъ истиннымъ художникомъ, и даже „самымъ нужнымъ для себя, близкимъ человѣкомъ“, — идущаго закладывать штаны, чтобы достать два талера на телеграмму, — все такъ-же-ли презрительно пожималъ-бы онъ плечами, слыша мнѣніе, что даже истинный художникъ иногда „творитъ ради денегъ“, и что въ его раздѣленіи умственнаго и ручного труда есть нѣчто узкое, умерщвляющее жизнь, несоизмѣримое съ жизнью, какъ и почти во всѣхъ подобныхъ умозри-

тельныхъ отвлеченностяхъ?—Я, впрочемъ, думаю, что въ столь поверхностныхъ чувствахъ и мысляхъ Л. Толстого о литературѣ, о трудѣ и нуждѣ сказывается не грубость и черствость сердца, свойственная сытымъ, которые голодныхъ не разумѣютъ, а просто неопытность, совершенное незнаніе дѣйствительной жизни, съ извѣстной стороны, очень важной для нравственныхъ сужденій.

Стремленіе къ безконечному совершенству, удовлетвореніе собственной художественной совѣсти для Достоевскаго—вопросъ жизни и смерти. „Не думайте,—пишетъ онъ Майкову въ томъ-же страшномъ 1869 году,—что я блины пеку: какъ-бы ни вышло скверно и гадко то, что я напишу, но мысль романа и работа его—все-таки мнѣ-то бѣдному, то-есть автору, дороже всего на свѣтѣ! Это не блинъ, а самая дорогая для меня идея и давнишняя. Разумѣется, испакощу, но что-же дѣлать!"—Вѣрите-ли, несмотря, что уже три года записывалась, иную главу напишу да и забракую, вновь напишу и вновь напишу". Кончая одно изъ прекраснѣйшихъ и глубочайшихъ своихъ созданій, „Идіота", онъ жалуется: „романомъ я недоволенъ до отвращенія... Теперь сдѣлаю послѣднее усиліе на 3-ю часть. Если поправлю романъ — поправлюсь самъ,—если нѣтъ, то я погибъ". И передъ отъѣздомъ за-границу, во время работы надъ „Преступленіемъ и Наказаніемъ": „Въ концѣ ноября было много написано и готово; я все сжегъ; теперь въ томъ можно признаться. Мнѣ не понравилось самому. Новая форма, новый планъ меня увлекъ, и я началъ сызнова".

„Я и вообще работаю нервно, съ мукой и заботой,—говоритъ Достоевскій, когда я усиленно работаю, то боленъ даже физически". И въ другомъ письмѣ изъ Женевы: „надо сильно, очень сильно работать. А между тѣмъ припадки добиваютъ окончательно, и послѣ каждаго

я сутокъ по 4 съ разсудкомъ не могу собраться".—„Припадки стали ужъ повторяться каждую недѣлю,—вспоминаетъ онъ послѣдніе дни въ Петербургѣ,—а чувствовать и *сознавать* ясно это нервное и *мозговое* разстройство было невыносимо. Разсудокъ дѣйствительно разстраивался—это истина. Я это чувствовалъ; а разстройство нервовъ доводило иногда меня до бѣшеныхъ минутъ". — „Сжигаетъ меня какая-то внутренняя лихорадка, ознобъ, жаръ каждую ночь, и я худѣю ужасно".—„Каждые 10 дней по припадку, а потомъ дней 5 не опомнюсь. Пропащій я человѣкъ!"

„А между тѣмъ, все мнѣ кажется, что я только-что собираюсь жить,—признается онъ въ одномъ изъ самыхъ отчаянныхъ писемъ.—Смѣшно, не правда-ли? Кошачья живучесть!"—„Мнѣ довелось видѣть его въ самыя тяжелыя минуты, послѣ запрещенія журнала, послѣ смерти брата, въ жестокихъ затрудненіяхъ отъ долговъ,—разсказываетъ Страховъ,—онъ никогда не падалъ духомъ до конца, и, мнѣ кажется, нельзя представить себѣ обстоятельствъ, которыя могли бы подавить его. Это было особенно изумительно при его страшной впечатлительности, причемъ онъ обыкновенно не сдерживался, а предавался вполнѣ своимъ волненіямъ. Какъ будто одно другому не только не мѣшало, а даже способствовало".—„Жизненности во мнѣ столько запасено, что и не вычерпаешь!"—говоритъ самъ Достоевскій въ одномъ изъ своихъ юношескихъ писемъ, и наканунѣ смерти могъ-бы онъ повторить о себѣ то-же самое словами Дмитрія Карамазова: „я все поборю, всѣ страданія, только-бы сказать и говорить себѣ поминутно: я есмь! Въ тысячѣ мукъ—я есмь, въ пыткѣ корчусь—но есмь! Въ столпѣ сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце—это уже вся жизнь".

И въ эти именно четыре года, пораженный смертью друга, брата, жены, притѣсняемый кредиторами, преслѣдуемый властью и врагами власти, непонятый читателями, въ одиночествѣ, нищетѣ, болѣзни, создаетъ онъ, одно за другимъ, величайшія произведенія свои;—въ 1866 году „Преступленіе и Наказаніе“, въ 1868 „Идіота“, въ 1870 „Бѣсовъ“ и замышляетъ „Братьевъ Карамазовыхъ“. Мало того: по всему, что онъ создалъ, сколь оно ни безпредѣльно, трудно представить себѣ, что онъ хотѣлъ и вѣроятно могъ-бы создать въ иныхъ культурныхъ условіяхъ. „Конечно, онъ написалъ,—говоритъ Страховъ, близко знакомый съ внутренней исторіей его творчества,—только десятую долю тѣхъ романовъ, которые онъ уже обдумалъ, уже носилъ иногда въ себѣ многіе годы; нѣкоторые онъ разсказывалъ подробно и съ большимъ увлеченіемъ; а такимъ темамъ, которыхъ онъ не успѣвалъ обработать, у него конца не было“.

Не дружескимъ преувеличеніемъ, не обычною надгробною хвалой, а безпристрастнымъ, точнымъ выраженіемъ того, что дѣйствительно было въ существѣ Достоевскаго какъ литератора, кажется утвержденіе Страхова: „это не простой литераторъ, а настоящій *герой* литературнаго поприща“. Да, въ жизни Достоевскаго, каковы бы ни были его ошибки и слабости, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя мгновенія дѣйствительно окружены ореоломъ героическаго подвига и святости.

„Я убѣдился,—говоритъ Л. Толстой о русскихъ литераторахъ, съ которыми пришлось ему встрѣчаться въ молодости, и среди которыхъ не былъ случайно, но могъ быть и Достоевскій,—я убѣдился, что почти всѣ писатели были люди безнравственные, ничтожные по характерамъ... но самоувѣренные и довольные собою, какъ только могутъ быть довольны люди совсѣмъ *святые*, или такіе, ко-

торые и не знаютъ, что такое *святость*.—Теперь, вспоминая объ этомъ времени, о своемъ настроеніи тогда и настроеніи тѣхъ людей... мнѣ и жалко, и срамно,—возникаетъ именно то чувство, которое испытываешь въ домѣ сумасшедшихъ".

Всю жизнь оставался Л. Толстой вѣрнымъ этому взгляду на русскую литературу, какъ на домъ сумасшедшихъ. Всю жизнь искалъ онъ своего оправданія и своей святости въ отреченіи отъ культурнаго общества, въ бѣгствѣ къ народу, въ умерщвленіи плоти, въ ручномъ трудѣ,—во всемъ, кромѣ того, къ чему, казалось-бы, призванъ былъ Богомъ.

Всей своей жизнью Достоевскій показалъ, что такъ-же, какъ въ прошлые вѣка могли быть героями цари, законодатели, воины, пророки, подвижники,—въ современной культурѣ одинъ изъ послѣднихъ героевъ есть герой Слова—литераторъ.

Будущее рѣшитъ, кто изъ нихъ правъ, и не сужденоли именно среди героевъ Слова, такъ-же какъ среди другихъ героевъ искусства и познанія, явиться тѣмъ избранникамъ, которые будутъ имѣть власть надъ людьми въ третьемъ и послѣднемъ царствѣ Духа.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА.

Въ глазахъ того, кто признаетъ одну христіанскую святость и притомъ съ насильственнымъ, умерщвляющимъ плоть и духъ, преобладаніемъ духа надъ плотью,—окажется справедливымъ приговоръ Л. Толстого надъ собственною жизнью: „я проѣдалъ труды мужиковъ, казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе, убійство...—не было преступленія, котораго-бы я не совершалъ".

Но если, кромѣ святости духа, мы признаемъ *и святость плоти*, кромѣ христіанской, столь-же вѣчную святость языческую или, по крайней мѣрѣ, ветхозавѣтную, не отмѣненную, а только преображенную Сыномъ,—то, можетъ быть, съ этой точки зрѣнія жизнь Л. Толстого представится все-таки самою стройною, цѣлостною и прекрасною, въ народномъ смыслѣ—*благолѣпною* жизнью въ современномъ, культурномъ, не только русскомъ, но и европейскомъ обществѣ; съ этой точки зрѣнія окажется, что онъ былъ не „воромъ", а бережливымъ хозяиномъ-домостроителемъ, не „насильникомъ", а добрымъ господиномъ слугъ своихъ и домочадцевъ, не „убійцею", а храбрымъ воиномъ, не „пьяницею", а мудрымъ и трезвымъ эпикурейцемъ, опьянявшимся самою невинною радостью жизни, не прелюбодѣемъ, а вѣрнымъ супругомъ, сохра-

нившимъ въ незапятнанной чистотѣ брачное ложе, чадолюбивымъ отцомъ семейства, подобнымъ патріархамъ, отцамъ ветхаго завѣта, Аврааму Исааку и Іакову. Этою не дѣвственною, но и въ самомъ сладострастіи цѣломудренною чистотою и свѣжестью вѣетъ отъ всей жизни его, какъ отъ стараго, все еще зеленаго дерева, какъ отъ холоднаго и прозрачнаго подземнаго источника. Болѣзненныхъ противорѣчій и лжи нѣтъ въ самой жизни, въ самихъ дѣлахъ и даже въ чувствахъ Л. Толстого; противорѣчія и ложь начинаютъ обнаруживаться только тогда, когда мы приступаемъ къ сравненію совершенной языческой жизни его съ его несовершеннымъ христіанскимъ сознаніемъ. Дѣла его обличаются не дѣлами, а только словами и мыслями. Для того, чтобы жизнь Л. Толстого казалась безупречно прекрасною, надо забыть не то, что онъ дѣлаетъ и чувствуетъ, а лишь то, что онъ говоритъ и думаетъ о своихъ дѣлахъ и чувствахъ. Онъ исполнилъ ветхій законъ, и вся его трагедія лишь въ томъ, что онъ дѣла закона своего не оправдалъ своею вѣрою, своимъ сознаніемъ. И не заключается-ли трагедія всѣхъ вообще людей ветхаго завѣта, всего духовнаго Израиля, именно въ томъ, что на послѣднихъ предѣлахъ исполненнаго Закона не удовлетворяются они Закономъ и ждутъ Освободителя,—но когда Мессія приходитъ, то, слишкомъ порабощенные игомъ закона, не имѣютъ силы признать его, во всей его невѣдомой страшной свободѣ, и отвергаютъ и снова и вѣчно ждутъ? И въ этомъ ожиданіи — ихъ святость. Лишь съ точки зрѣнія этой древней, вмѣстѣ съ тѣмъ для насъ уже вѣчной, не вѣтшающей, можетъ быть заключенной и въ самомъ христіанствѣ (ибо Отецъ и Сынъ—одно), но еще тамъ, въ христіанствѣ, не понятой, не сознанной святости, Л. Толстой имѣлъ право сказать о себѣ съ такою безстрашною гордынею: „мнѣ нечего

скрывать отъ людей,—пусть знаютъ всѣ, что я дѣлаю". И жизнь его дѣйствительно вынесла это испытаніе: послѣдніе покровы сняты съ нея,—она обнажена передъ глазами всего міра. И вотъ ему все-таки стыдиться нечего: вся она—чистая, вся святая, хотя и не тою святостью, которой онъ хотѣлъ-бы и которая кажется ему самому и большинству современныхъ людей христіанскою. Если-бы онъ и долженъ былъ чего нибудь стыдиться, то не дѣлъ и не чувствъ своихъ, а только словъ и мыслей. Но развѣ мало и того, что и душевная нагота этого семидесятилѣтняго старика столь-же невинна, какъ нагота ребенка? Чья еще жизнь въ нашемъ современномъ обществѣ вынесла бы такое испытаніе?

Кажется, во всякомъ случаѣ, не жизнь Достоевскаго.

Очень легко впасть въ ошибку и въ несправедливость при сравненіи жизни Л. Толстого съ жизнью Достоевскаго потому, что о первомъ мы знаемъ все, между тѣмъ какъ о второмъ мы не только всего, но, можетъ быть, и очень важнаго не знаемъ, и лишь по намекамъ въ письмахъ его, по устнымъ преданіямъ и, наконецъ въ особенности по тому, какъ личность его отразилась въ творчествѣ, догадываемся, что цѣлая сторона ея скрыта отъ насъ. Слѣдуетъ отдать справедливость и ближайшимъ друзьямъ Ѳедора Михаиловича, которые позаботились оставить намъ его жизнеописаніе: это люди въ высшей степени вѣжливые, почтительные къ памяти покойнаго, даже слишкомъ почтительные, и всего менѣе способные понять то, что Апокалипсисъ называетъ *„глубинами сатанинскими"*. и что было такъ родственно Достоевскому. Даже такой тонкій и проницательный умъ, какъ Страховъ, не то что облагораживаетъ, а чрезмѣрно упрощаетъ личность Достоевскаго, смягчаетъ, притупляетъ, сглаживаетъ ее, приводитъ къ общему, среднему уровню.

Во вскомъ случаѣ, разсматривая личность Достоевскаго, какъ человѣка должно принять въ разсчетъ неодолимую потребность его, какъ художника, изслѣдовать самыя опасныя и преступныя бездны человѣческаго сердца, преимущественно бездны сладострастія, во всѣхъ его проявленіяхъ. Начиная отъ самаго высшаго, одухотвореннаго, граничащаго съ религіозными восторгами,—сладострастья „ангела“ Алеши Карамазова, кончая сладострастіемъ злого насѣкомого „паучихи, пожирающей самца своего“,—тутъ вся гамма, вся радуга безконечныхъ переливовъ и оттѣнковъ этой самой таинственной изъ человѣческихъ страстей, въ ея наиболѣе острыхъ и болѣзненныхъ извращеніяхъ. Замѣчательна одинаково необходимая, кровная связь не только чудовищнаго Смердякова, не только Ивана, „борющагося съ Богомъ“, и жестокаго, какъ будто „укушеннаго тарантуломъ“, сладострастника Дмитрія, но и непорочнаго херувима Алеши — съ отцомъ ихъ по плоти, „извергомъ“, Ѳедоромъ Павловичемъ Карамазовымъ, такъже какъ съ отцомъ ихъ по духу, самимъ Достоевскимъ. Дѣйствительно, это по преимуществу — *его* семья, и онъ бы отрекся отъ нея, можетъ быть, передъ людьми, но не передъ собственной совѣстью и не передъ Богомъ.

Существуетъ въ рукописи ненапечатанная глава изъ „Бѣсовъ“, исповѣдь Ставрогина, гдѣ, между прочимъ, онъ разсказываетъ о растлѣніи дѣвочки. Это одно изъ могущественнѣйшихъ созданій Достоевскаго, въ которомъ слышится звукъ такой ужасающей искренности, что понимаешь тѣхъ, кто не рѣшается напечатать этого даже послѣ смерти Достоевскаго: тутъ что-то дѣйствительно есть, что̀ преступаетъ „за черту“ искусства,—это *слишкомъ живо.*

Но въ злодѣяніяхъ Ставрогина, даже въ послѣднихъ низостяхъ его паденій есть, по крайней мѣрѣ, какъ-бы не

потухающій демоническій отблескъ того, что̀ было красотою, есть величіе зла. Достоевскій не останавливается, однако, и передъ изображеніями самаго будничнаго и мелкаго разврата, въ которомъ уже нѣтъ никакого величія. Герой или „анти-герой“ *Записокъ изъ подполья* стоитъ на умственной высотѣ величайшихъ героевъ Достоевскаго, наиболѣе близкихъ сердцу его. Онъ выражаетъ самую сущность религіозныхъ бореній и сомнѣній художника. Въ этой исповѣди чувствуется иногда самообличеніе, самобичеваніе, не менѣе безпощадное и насколько болѣе страшное, чѣмъ въ „Исповѣди“ Л. Толстого.—И вотъ, въ немъ этотъ „герой“ признается: „по временамъ... я вдругъ погружался въ темный, подземный, гадкій—не развратъ, а развратишко. Страстишки во мнѣ были острыя, жгучія отъ всегдашней болѣзненной раздражительности. Порывы бывали истерическіе, со слезами и конвульсіями.—Накипала сверхъ того тоска; являлась истерическая жажда противорѣчій, контрастовъ, и вотъ я и пускался развратничать.—Развратничалъ я уединенно, по ночамъ, потаенно, боязливо, грязно, со стыдомъ, не оставлявшимъ меня въ самыя омерзительныя минуты и даже доходившимъ въ такія минуты до проклятія. Я ужъ и тогда носилъ въ душѣ моей подполье. Боялся я ужасно, чтобъ меня не увидали, не встрѣтили, не узнали...“

Во всѣхъ этихъ изображеніяхъ у Достоевскаго—такая сила и смѣлость, такая новизна открытій и откровеній, что иногда является смущающій вопросъ: могъ-ли онъ все это узнать *только* по *внѣшнему* опыту, только изъ наблюденій надъ другими людьми? Есть-ли это любопытство *только* художника?—Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущенія Раскольникова. Конечно, тутъ многое должно поставить на счетъ ясновидѣнію генія, многое,—но *все-ли*?—Впрочемъ, пусть даже въ

Сашу которому, поцѣловать ее мѣшаетъ дикая стыдливость.

Но, повторяю, изслѣдователь жизни Достоевскаго бродитъ здѣсь въ потемкахъ, ощупью. Нѣтъ ясныхъ и точныхъ свидѣтельствъ, на которыя можно-бы опереться. Только намеки. Одинъ изъ нихъ я уже привелъ: разсказавъ брату о своемъ увлеченіи „Миннушками, Кларами, Маріаннами", — Достоевскому было тогда 25 лѣтъ, — и о томъ, какъ Тургеневъ и Бѣлинскій „разбранили его за безпорядочную жизнь", онъ сообщаетъ въ заключеніе: „я боленъ нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я безпутенъ". Почтительный и цѣломудренный біографъ О. Ѳ. Миллеръ спѣшитъ сдѣлать предположеніе, что „безпутство", о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, есть только денежная безпорядочность Ѳедора Михайловича; но именно этою поспѣшностью оправданія поселяетъ сомнѣнія въ душѣ читателя.

А вотъ и еще намекъ, хотя изъ другой области, но тоже дающій мѣру тѣхъ крайностей, до которыхъ способенъ былъ Достоевскій,—доходить не только въ воображеніи, но и въ дѣйствительности. „Голубчикъ, Аполлонъ Николаевичъ,—пишетъ онъ Майкову въ 1867 году изъ-за границы,—я чувствую, что могу васъ считать, какъ моего судью. Вы человѣкъ съ сердцемъ... Мнѣ передъ вами покаяться не больно. Но пишу только для *васъ одного*. Не отдавайте меня на судъ людской.—Проѣзжая недалеко отъ Бадена, я вздумалъ туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоровъ и, можетъ быть, выиграю 2,000 франковъ лишнихъ.—Гаже всего, что мнѣ и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишкомъ страстная. — Бѣсъ тотчасъ-же сыгралъ со мной штуку: я дня въ три выигралъ 4,000 франковъ съ необыкновенною легкостью.—Главное—

сама игра. Знаете-ли, какъ это втягиваетъ! Нѣтъ, клянусь вамъ, тутъ не одна корысть.—Я рискнулъ дальше и проигралъ. Сталъ свои *послѣднія* проигрывать, раздражаясь до лихорадки — проигралъ. Сталъ закладывать платье. Анна Григорьевна *все* свое заложила, послѣднія вещицы (что за ангелъ! какъ утѣшала она меня)".—Слѣдуютъ мольбы о деньгахъ, кажущіяся унизительными, даже если принять въ разсчетъ всю дружескую близость Достоевскаго съ Майковымъ: „я знаю, Аполлонъ Николаевичъ, что у васъ у самихъ денегъ *лишнихъ* нѣтъ. Никогда-бы я не обратился къ вамъ съ просьбою о помощи. Но вѣдь я утопаю, утонулъ совершенно. Черезъ двѣ-три недѣли я совершенно безъ копѣйки, а утопающій протягиваетъ руку, уже не спрашиваясь разсудка.—Кромѣ васъ, *никого* не имѣю, и если вы не поможете, то я погибну, вполнѣ погибну!.. Голубчикъ, спасите меня! Заслужу вамъ во-вѣки дружбой и привязанностью. Если у васъ нѣтъ, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что такъ пишу... Не оставляйте меня одного! Богъ вознаградитъ васъ за это. Оросите каплей воды душу, изсохшую въ пустынѣ! Ради Бога!" Замѣчательна въ этихъ послѣднихъ выраженіяхъ о „каплѣ воды" и „душѣ, изсохшей въ пустынѣ", униженная витіеватость рѣчи, та самая, съ которой у него въ романахъ описываютъ свою бѣдность комическія лица, потерявшія чувство собственнаго достоинства, въ родѣ „пьяненькаго" Мармеладова и проходимца капитана Лебедкина. Видимо, Достоевскій самъ не помнитъ, что говоритъ,—не владѣетъ собою: ему все равно, что Майковъ о немъ подумаетъ; онъ зарвался; онъ въ лихорадкѣ, почти въ истерикѣ; онъ все еще — какъ пьяный отъ сладострастья игры. И чувствуется, что если-бы еще тамъ, въ Баденѣ, получилъ онъ деньги, которыя проситъ, то снова не удержался-бы и проигралъ-бы ихъ тотчасъ.

Однажды, въ молодости, Л. Толстой тоже сильно проигрался. Но не „зарвался“, а сумѣлъ остановиться вовремя, со свойственными ему, если не въ созерцаніи, то въ дѣйствіи, самообладаніемъ и трезвостью. Онъ прекратилъ игру, уѣхалъ на Кавказъ, поселился въ казачьей станицѣ, жилъ здѣсь съ величайшею бережливостью на 5 рублей въ мѣсяцъ, собралъ деньги и выплатилъ карточный долгъ. Тутъ, хотя и въ маленькой житейской подробности, сказывается истинная сила Л. Толстого—чувство мѣры, власть надъ собою, выдержка и, слѣдовательно, съ извѣстной точки зрѣнія, нравственное преимущество его передъ Достоевскимъ.

Все это мелочи. Но мы знаемъ, что и въ болѣе важныхъ случаяхъ Достоевскій „зарывался“. Такъ, въ припадкѣ юношескаго тщеславія, вообразилъ онъ, что въ „Двойникѣ“ своемъ превзошелъ „Мертвыя Души“. Такъ, въ слѣпомъ негодованіи на Бѣлинскаго, обвинялъ этого, можетъ-быть, недостаточно проницательнаго, но въ высшей степени благонамѣреннаго человѣка—въ „подлой злобѣ“, въ „смрадной тупости“. Въ томъ самомъ письмѣ, гдѣ онъ разсказываетъ Майкову о проигрышѣ, онъ дѣлаетъ это знаменательное обобщеніе всей своей нравственной личности: „вездѣ-то и во всемъ я до послѣдняго предѣла дохожу, всю жизнь за черту переходилъ“. Надо прибавить, что ему случалось „переходить за черту“ не только отъ силы, но и отъ слабости—отъ недостатка самообладанія.

„Не отдавайте меня на судъ людской“,—проситъ онъ Майкова. Это напоминаетъ героя „Записокъ изъ подполья“: — „боялся я ужасно, чтобъ меня не увидали, не встрѣтили, не узнали“. Можетъ быть, онъ и не раскаивается, и не стыдится передъ самимъ собою своей—какъ онъ выражается—„подлой и слишкомъ страстной натуры“, но все-же сознаніемъ своимъ освятить и оправдать ее „пе-

редъ людскимъ судомъ" не имѣетъ силы. И это уже—слабость, это—стыдъ зла, ибо зло не въ томъ, что онъ дѣлаетъ, а въ томъ, что онъ стыдится того, что дѣлаетъ. И въ концѣ концовъ, не все-ли равно, было-ли что-нибудь въ жизни, въ дѣлахъ его, соотвѣтствующее преступному любопытству его воображенія, или не было. Важно то, что онъ думалъ и чувствовалъ такъ, какъ будто *посмѣлъ бы* сдѣлать, если бы захотѣлъ,—а сказать, какъ Л. Толстой: „мнѣ нечего скрывать отъ людей, пусть знаютъ всѣ, что я дѣлаю", — и снять съ жизни своей послѣдніе покровы, обнажить ее передъ глазами всего міра, Достоевскій не посмѣлъ-бы. Этой наготы не вынесла-бы его жизнь. Онъ что-то скрылъ отъ насъ или желалъ-бы скрыть, и мы чувствуемъ, что эта темная сторона его жизни—не святая, не „благолѣпная" или, по крайней мѣрѣ, ему самому казалась она не святою и не благолѣпною.

Если жизнь Л. Толстого похожа на дѣвственно-чистую воду подземнаго родника, то жизнь Достоевскаго подобна огню, который вырывается изъ тѣхъ-же первозданныхъ глубинъ, но смѣшанный съ лавою, пепломъ, удушливымъ дымомъ и чадомъ.

Нельзя не повѣрить искреннимъ усиліямъ Л. Толстого любить своихъ ближнихъ; можно только усомниться въ томъ, любилъ-ли онъ ихъ дѣйствительно кого-нибудь по-христіански. Огонь любви, проникающій и очищающій всю жизнь Достоевскаго, свѣтится даже въ самыхъ будничныхъ подробностяхъ его жизни. Въ одномъ письмѣ поручаетъ онъ Майкову своего пасынка-сироту: „Паша мальчикъ добрый, мальчикъ милый, и котораго некому любить.— Я послѣдней рубашкой съ нимъ подѣлюсь и буду дѣлиться всю жизнь!" Кто самъ любилъ, тотъ почувствуетъ, что это не пустое слово, что онъ дѣйствительно готовъ, не разсуждая отвлеченно,—имѣетъ-ли право помогать бѣд-

нымъ, — подѣлиться со своимъ мальчикомъ „послѣднею рубашкою".

„...Мнѣ говорятъ въ утѣшеніе, — пишетъ онъ послѣ смерти дочери Сони, — что у меня еще будутъ дѣти. А Соня гдѣ? Гдѣ эта маленькая личность, за которую я, смѣло говорю, крестную муку приму, только чтобъ она была жива.—Чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ язвительнѣе воспоминаніе, и тѣмъ ярче представляется мнѣ образъ покойной Сони. Есть минуты, которыхъ выносить нельзя. Она уже меня знала; она, когда я, въ день смерти ея, уходилъ изъ дома читать газеты, не имѣя понятія о томъ, что черезъ два часа она умретъ,—такъ слѣдила и провожала меня своими глазками, такъ поглядѣла на меня, что до сихъ поръ представляется, и все ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будетъ другой ребенокъ, то не понимаю, какъ я буду любить его, гдѣ любви найду; мнѣ нужно Соню". Онъ любитъ ее,—дитя своей плоти, не только по плоти, но и по духу, то-есть *по-христіански,* не для себя, а для нея, какъ отдѣльную, вѣчную, незамѣнимую личность. Вотъ, кто никогда не утѣшился-бы объ умершемъ ребенкѣ съ другими, новыми дѣтьми, подобно ветхозавѣтному патріарху Іову. „А гдѣ Соня? Мнѣ нужно Соню". Во всемъ, что дѣлалъ, говорилъ, думалъ и чувствовалъ Л. Толстой, нѣтъ ничего подобнаго этимъ простымъ словамъ простой любви.

Невольно вспоминается, какъ, однажды, о самомъ вѣрномъ изъ друзей своихъ,—о той, которая отдала ему всю свою жизнь, не только любила, но и *жалѣла* его, тридцать лѣтъ заботилась о немъ, какъ о ребенкѣ, съ материнскою нѣжностью,—о женѣ своей, Софьѣ Андреевнѣ,—сказалъ Левъ Николаевичъ постороннему человѣку: „друга я себѣ буду искать между мужчинами, и никакая женщина не можетъ замѣнить мнѣ друга. Зачѣмъ-же мы лжемъ нашимъ

женамъ, увѣряя ихъ, что считаемъ ихъ нашими истинными друзьями? Вѣдь это неправда же?" Какое холодное и жестокое слово. Жестокое,—но, можетъ быть, беззлобное, невинное, и даже если не христіански, то языčески прекрасное: это вѣдь холодъ всей его жизни, — холодъ подземнаго источника. Только-бы онъ самъ не боялся, не стыдился этого холода, сохранилъ-бы его до конца,—а то вѣдь все равно,—холодный источникъ никогда не будетъ горячимъ, а лишь теплымъ и мутнымъ. Такъ пусть-бы ужъ лучше оставался онъ такимъ, какимъ создалъ его Богъ. Я боюсь не великаго себялюбія, не языčескаго холода послѣднихъ и дѣвственно-чистыхъ глубинъ его, а только поверхностной или серединной теплоты его, желающей быть христіанскою.

Итакъ, въ сущности, и Л. Толстой, и Достоевскій—праведны въ жизни своей, но праведны не до конца, не совершенны, ибо кромѣ подземнаго холода есть холодъ небесной лазури, кромѣ подземнаго огня есть солнечный огонь. Ни тотъ, ни другой не достигли этой высшей *соединяющей* области, гдѣ вѣчная лазурь проникнута вѣчнымъ солнцемъ, гдѣ Два—Одно.

Во всякомъ случаѣ, огонь Достоевскаго такъ-же святъ, какъ холодъ Л. Толстого. Для меня, что-бы ни узналъ я дурного, преступнаго, даже постыднаго,—если вообще что-либо подобное было,—о жизни, о дѣйствіяхъ Достоевскаго, образъ его не омрачится, и окружающій его ореолъ святости не потускнѣетъ, ибо я чувствую, что горѣвшій въ немъ огонь все побѣдилъ и все очистилъ. И самъ онъ чуствовалъ силу этого очищающаго огня. Имъ онъ жилъ и отъ него умиралъ. „Сжигаетъ меня какая-то внутренняя лихорадка, ознобъ, жаръ каждую ночь, и я худѣю ужасно".—писалъ онъ еще за нѣсколько лѣтъ до смерти. Во вторую половину 1880 г., когда кончилъ онъ „Братьевъ

Карамазовыхъ", — по воспоминаніямъ Страхова, — "онъ былъ необыкновенно худъ и истощенъ.—Онъ жилъ, очевидно, одними нервами, и все остальное его тѣло дошло до такой степени хрупкости, при которой его могъ разрушить первый, даже небольшой толчекъ. Всего поразительнѣе была при этомъ неутомимость его умственной работы. Онъ писалъ 25 или 30 печатныхъ листовъ въ годъ, а работа, какъ онъ самъ мнѣ говорилъ, стала ему труднѣе". Въ началѣ 1881 года онъ заболѣлъ сильнымъ припадкомъ эмфиземы, вслѣдствіе катарра легочныхъ путей, которою страдалъ послѣднія девять лѣтъ своей жизни. 26 января сдѣлалось кровотеченіе горломъ. Чувствуя приближеніе смерти, пожелалъ онъ исповѣдаться и причаститься. „Во всю свою жизнь, въ рѣшительныя минуты,— говоритъ Страховъ,—Ѳедоръ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе, по словамъ Анны Григорьевны, раскрывать на удачу то самое евангеліе, которое было съ нимъ въ каторгѣ, и читать верхнія строки открывшейся страницы. Такъ поступилъ онъ и тутъ и далъ прочесть женѣ. Это было: Матѳ. гл. III, ст. 11: „Іоаннъ-же удерживалъ его и говорилъ: мнѣ надобно креститься отъ Тебя, и Ты-ли приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: не удерживай, ибо такъ надлежитъ намъ исполнить великую правду". Когда Анна Григорьевна прочла это, Ѳедоръ Михайловичъ сказалъ: „ты слышишь?—„не удерживай",— значитъ, я умру„. И закрылъ книгу. Черезъ нѣсколько часовъ онъ дѣйствительно умеръ мгновенно—отъ разрыва легочной артеріи.

„Великая правда", о которой думалъ онъ въ свои послѣднія минуты, была правдою всей жизни его. Должно надѣяться, что онъ исполнилъ ее въ смерти, и что она окончательно оправдала его передъ Вѣчнымъ Судомъ.

Достоевскій любилъ читать пушкинскаго „Пророка"

на литературныхъ вечерахъ. Кто слышалъ его, тотъ ни когда этого не забудетъ. Начиналъ онъ прерывистымъ, глухимъ и тихимъ, какъ будто сдавленнымъ голосомъ. Но среди молчанія толпы каждый звукъ былъ внятенъ. И голосъ его становился все громче, пріобрѣталъ силу какъ-бы сверхчеловѣческую, и послѣдній стихъ онъ уже не произносилъ, а кричалъ потрясающимъ крикомъ:

Глаголомъ жги сердца людей!

И сѣрая, жалкая, консервативно-либеральная петербургская толпа, кажется, самая холодная и будничная толпа всего міра, содрогалась отъ этого страшнаго крика, точно такъ-же, должно быть, какъ четыре вѣка назадъ толпа въ Маріи-дель-Фіоре—во время проповѣдей брата Іеронима Савонаролы. Въ это мгновеніе вдругъ чувствовалось, что Достоевскій больше, чѣмъ великій писатель, и что въ немъ горитъ тотъ огонь, о который зажигаются всемірно-историческіе религіозные пожары.

Однажды Страховъ прочелъ ему свое стихотвореніе, гдѣ былъ между прочимъ стихъ, обращенный къ современнымъ русскимъ людямъ:

Поймите-лишь, какихъ носители вы силъ.

Достоевскій воскликнулъ:

— Да, да, поймите лишь! Именно, именно только-бы поняли! Да нѣтъ, не поймутъ...

„Послѣ кликовъ, рукоплесканій и вѣнковъ, которыми удостаивали его на публичныхъ чтеніяхъ,—разсказываетъ Страховъ,—опять онъ говаривалъ:

— Да, да, все это хорошо, да все-таки *главнаго не понимаютъ*.

„Въ чьей-нибудь головѣ,—говоритъ самъ Достоевскій,—всегда остается нѣчто такое, чего никакъ нельзя передать

другимъ людямъ, хотя-бы вы исписали цѣлые томы и растолковывали вашу мысль тридцать пять лѣтъ; всегда останется нѣчто, что ни за что не захочетъ выйти изъ-подъ вашего черепа и останется при васъ навѣки; съ тѣмъ вы и умрете, не передавъ никому, можетъ быть, самаго *главнаго* изъ вашей идеи".

Не исполнилось-ли это предчувствіе? Не умеръ-ли онъ, не сказавъ намъ *главнаго* изъ того, что хотѣлъ сказать? И теперь, черезъ двадцать лѣтъ послѣ смерти своей, узнавъ, какъ поняли его, не имѣлъ-ли бы онъ права снова воскликнуть „главнаго не понимаютъ", и можетъ быть, даже особенно *теперь*, когда слава его меркнетъ передъ все восходящею, все ослѣпительнѣе сіяющею славою великаго соперника?—Но если „главное" во Л. Толстомъ больше почувствовано, признано, то больше-ли оно сознано и понятно, чѣмъ въ Достоевскомъ? Во всякомъ случаѣ кажется, Л. Толстому, а не Достоевскому принадлежитъ настоящее. А если это дѣйствительно такъ, если Л. Толстой—властелинъ настоящаго, то не принадлежитъ-ли Достоевскому будущее? Я говорю это не съ тѣмъ, чтобы унизить Л. Толстого. Я думаю, что настоящее не меньше будущаго. Сегодняшнее есть уже завтрашнее, только еще не узнанное, но столь-же глубокое, можетъ быть, даже болѣе, потому что оно безмолвно и тайно. Я хочу лишь сказать, что мы уже предчувствуемъ третьяго, невѣдомаго, того, кто идетъ за ними, и кто больше ихъ, того, кто *соединитъ* настоящеее съ будущимъ, кто сдѣлаетъ настоящее будущимъ.—Не ему-ли принадлежитъ вѣнецъ послѣдней побѣды? Не онъ-ли сознаетъ и откроетъ *главное*, что было во Л. Толстомъ и въ Достоевскомъ? И тогда всѣмъ станетъ ясно, что Онъ былъ въ нихъ.

„Сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина,—говоритъ Л. Толстой,—...неизвѣстное, ненужное для на-

рода.—Наша литература не прививается и не привьется народу.—Сочиненія эти, столь цѣнимыя нами, остаются трухою для народа". Однажды, разговорившись съ извозчикомъ, на просьбу дать ему „Дѣтство и Отрочество", Левъ Николаевичъ отвѣтилъ:

— Нѣтъ, это пустая книжка. Въ молодости я много писалъ глупостей. Я дамъ тебѣ *Ходите въ свѣтъ, пока есть свѣтъ*. Это гораздо лучше, чѣмъ *Дѣтство* и *Отрочество*.

„Я, какъ Павелъ,—говоритъ Достоевскій,—меня не хвалятъ, такъ я самъ буду хвалиться".—И незадолго передъ смерью, въ записной книжкѣ, подъ параграфомъ, озаглавленнымъ „Я": „Я, конечно, народенъ (ибо направленіе мое истекаетъ изъ глубины христіанскаго духа (народнаго)—хотя и не извѣстенъ русскому народу теперешнему, но буду извѣстенъ будущему".

Несмотря, однако, на всю противоположность этихъ взглядовъ, каждый изъ нихъ правъ по-своему.

Конечно, оба они народны въ томъ смыслѣ, что продолжаютъ духъ русскаго народа въ духѣ русской культуры, стремятся къ тому, что дѣйствительно должно сдѣлаться когда-нибудь народнымъ и въ то-же время всемірно-культурнымъ.—Стремятся, но достигаютъ-ли? Кажется, они только сознали или по крайней мѣрѣ, почувствовали до конца бездну, отдѣляющую культуру отъ народа, они хотятъ быть народомъ. Но даже Пушкинъ, гораздо меньше сознававшій эту бездну, больше—народъ, чѣмъ они. Ни Л. Толстой, ни Достоевскій не обладаютъ совершенною простотою, которая дѣлаетъ произведенія искусства, подобныя „Иліадѣ" Гомера, „Прометею „Эсхила, „Божественной комедіи" Данте, завершающимъ выраженіемъ духа народнаго, какъ духа всемірнаго. Оба они еще слишкомъ сложны и даже слишкомъ сословны, можетъ быть, именно потому, что слишкомъ спѣшатъ выйти изъ

сословія и „опроститься“. Кому нужно опроститься, тотъ еще не простъ; кто хочетъ быть народомъ, тотъ еще не народъ. А если и дальше пойдетъ такъ, какъ до сихъ поръ шло,—то Пушкинъ, Л. Толстой и Достоевскій еще долго останутся „трухою для народа“.

Основатель новой „секты“, которая сама себя называетъ „церковью христіанъ православныхъ“, бывшій каторжникъ, живущій на Сахалинѣ, крестьянинъ Тихонъ Бѣлоножкинъ, считающій себя и своими послѣдователями считаемый за „Христа“, сказалъ недавно одному, такъ-называемому, „культурному“ русскому человѣку, изслѣдователю народныхъ обычаевъ.

— Масло собираете? Понимаю.—Масла вы въ лампадку набрали много. Зажгите ее, чтобъ свѣтъ былъ людямъ. А то зачѣмъ и масло?

Всѣ мы люди культуры и сознанья—не масло-ли безъ огня? Народъ—люди стихійной силы и вѣры—не огонь-ли безъ масла? Если масло не соединится съ огнемъ, то оно пропадетъ и огонь потухнетъ. Мнѣ кажется, что Л. Толстой и Достоевскій—великіе предтечи того, кто опуститъ наконецъ свѣтильню въ масло и зажжетъ огонь.

Таковы эти двѣ жизни, эти два русскихъ лица.

Когда я смотрю на каждое изъ нихъ отдѣльно, я могу судить ихъ и сравнивать, могу отдавать преимущество одному передъ другимъ, но когда я вижу ихъ вмѣстѣ,—то уже не знаю, кто изъ нихъ мнѣ ближе и кого я больше люблю.

„Лицо у него было крестьянское,—описываетъ очевидецъ наружность Л. Толстого,—простое, деревенское, съ широкимъ носомъ, обвѣтренной кожей и густыми, нависшими бровями, изъ подъ которыхъ зорко выглядывали маленькіе, сѣрые, острые глаза“. Иногда, вдругъ вспыхивая и загораясь, глаза эти смотрятъ на собесѣдника какъ-бы *сверлящимъ* и *пронизывающимъ* взоромъ. При всей простона-

родности лица его,—прибавляетъ тотъ-же очевидецъ,—„во Львѣ Николаевичѣ сейчасъ-же чувствовался человѣкъ высшаго круга“,—человѣкъ свѣтскій, русскій баринъ.

Замѣчательно вообще въ лицахъ великихъ людей русской культуры,—напримѣръ, въ лицѣ стараго Тургенева—это соединеніе простонародности, „деревенскаго“, „крестьянскаго“ съ самой высшей аристократичностью, съ самымъ родовитымъ русскимъ „барствомъ“ и европейскою свѣткостью, притомъ—соединеніе, кажущееся естественнымъ, какъ будто одно другому не мѣшаетъ, а даже, напротивъ, именно тамъ въ глубинѣ простонароднаго, и заключается нѣчто до послѣдней степени аристократическое, не въ грубомъ, сословномъ,—а въ самомъ высшемъ смыслѣ *господское*, властное, избранное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, утонченно, изящно-культурное,—всемірное.

Въ приведенномъ описаніи наружности Л. Толстого недостаетъ одной черты: это лицо человѣка, прожившаго долгую можетъ быть, и бурную, но рѣдко счастливую, „благолѣпную“ жизнь, согласно съ природою, лицо патріарха или стараго „язычника“, исполина Немврода, дяди Ерошки. Несмотря на семидесятилѣтнія морщины, такъ и вѣетъ отъ него неувядаемою юностью, свѣжестью и тѣмъ нѣсколько надменнымъ, безучастнымъ холодомъ, который свойственъ вообще великимъ языческимъ лицамъ.

И вотъ рядомъ лицо Достоевскаго, даже въ молодости „не казавшееся молодымъ“, со страдальческими тѣнями и складками на впалыхъ щекахъ, съ огромнымъ оголеннымъ лбомъ, на которомъ чувствуется вся ясность и величіе разума, и съ жалкими губами, точно искривленнымъ судорогой „священной болѣзни“, съ тусклымъ, какъ будто обращеннымъ внутрь, невыразимо тяжкимъ взоромъ немного косящихъ глазъ, глазъ—пророка или бѣсноватаго. И что всего мучительнѣе въ этомъ типѣ,—какъ-бы не-

подвижность въ самомъ движеніи, какъ-бы въ крайнемъ усиліи вдругъ остановившееся и окаменѣвшее стремленіе.

Несмотря на всю противоположность этихъ двухъ лицъ, иногда они кажутся странно сходными,—не потому-ли, что и у Достоевскаго такое-же крестьянское, простонародное лицо, какъ у Л. Толстого? „Ѳедоръ Михайловичъ", говоритъ Страховъ, „имѣлъ видъ совершенно солдатскій, то-есть, простонародныя черты лица".—Но вотъ вопросъ: если намъ людямъ культуры, лица эти кажутся въ высшей степени народными, то признаетъ-ли ихъ такими-же и самъ народъ? Не найдетъ-ли онъ ихъ, можетъ быть, и заключающими въ себѣ лучшее, что есть для русскаго мужика въ русскомъ „баринѣ",—но все-таки чуждыми, дальними,—можетъ быть, изъ высшаго, но все-таки изъ другого міра?

Если лицо завершающаго генія есть по преимуществу *лицо народа*, то ни во Львѣ Толстомъ, ни въ Достоевскомъ мы еще не имѣемъ такого русскаго лица. Слишкомъ они еще сложны, страстны и мятежны. Въ нихъ нѣтъ послѣдней тишины и ясности,—того „благообразія", котораго уже столько вѣковъ безсознательно ищетъ народъ въ своемъ собственномъ и византійскомъ искусствѣ, въ старинныхъ иконахъ своихъ святыхъ и подвижниковъ. — И оба эти лица—не прекрасны. Кажется, вообще у насъ еще не было прекраснаго народнаго и всемірнаго лица,—такого, какъ, напримѣръ, лицо Гомера, юноши Рафаэля, старика Леонардо. Даже внѣшній образъ Пушкина, который намъ остался,—этотъ петербургскій дэнди тридцатыхъ годовъ, въ чайльдгарольдовомъ плащѣ, со скрещенными на груди по наполеоновски руками, съ условно байронической задумчивостью въ глазахъ, съ курчавыми волосами и толстыми чувственными губами негра или сатира, едва-ли соотвѣтствуетъ внутреннему образу самого родного, са-

маго русскаго изъ русскихъ людей. Да и есть-ли это настоящее лицо Пушкина? Современники разсказываютъ, что бывали минуты, когда онъ вдругъ какъ бы весь преображался, становился неузнаваемъ. Не совершалось ли именно въ эти минуты то чудо, о которомъ говоритъ у Платона Алкивіадъ по поводу лица Сократа: не выходилъ-ли изъ грубой оболочки сатира скрывавшійся въ ней богъ? Во всемъ существѣ Пушкина, въ его наружности, такъ-же какъ въ поэзіи, есть нѣчто слишкомъ легкое, мгновенное, неуловимо скользящее, едва до земли касающееся и улетающее, что не могло быть закрѣплено во внѣшнемъ образѣ. Не даромъ друзья называли его „*Искрою*“. Онъ вѣдь дѣйствительно не совершилъ надъ русскою культурою теченія своего, какъ свѣтило, а только блеснулъ и погасъ, какъ „искра“, какъ падучая звѣзда, какъ предзнаменованіе возможной, но даже имъ самимъ неосуществленной, русской гармоніи, — русскаго „благообразія“. И, улетая, онъ оставилъ намъ только темную, непрозрачную оболочку свою, безъ горѣвшаго, свѣтившагося въ ней ядра, безъ внутренняго образа своего.—Кто теперь снова найдетъ это истинное лицо Пушкина?

Но, можетъ быть, именно въ томъ, что русскій народъ до сей поры не нашелъ еще *лица своего*, и заключается наша великая надежда,—ибо не значитъ-ли это, что мѣра его не въ прошломъ, не въ Пушкинѣ, даже не въ Петрѣ, а все еще въ будущемъ, все еще въ невѣдомомъ, въ большемъ. Этого будущаго, третьяго и послѣдняго, окончательно „благообразнаго“, окончательно русскаго и всемірнаго лица не должно-ли искать именно здѣсь, между двумя величайшими современными русскими лицами — Л. Толстымъ и Достоевскимъ?

Потому-то и соединяемъ мы ихъ, что въ тайнѣ ждемъ: не вспыхнетъ-ли между ними, какъ между двумя противо-

положными полюсами, искра того огня, той молніи, о которую зажжется великій пожаръ и которая будетъ явленіемъ Человѣкобога для міра западнаго, Богочеловѣка для восточнаго, — а для соединившихъ оба міра будетъ въ двухъ—Одинъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Л. Толстой и Достоевскій, какъ художники.

ПЕРВАЯ ГЛАВА.

У княгини Болконской, жены князя Андрея,—какъ мы узнаемъ на первыхъ страницахъ „Войны и Мира“—„хорошенькая, съ чуть чернѣвшимися усиками, *верхняя губка* была коротка по зубамъ, но тѣмъ милѣе она открывалась и тѣмъ еще милѣе вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю“. Черезъ двадцать главъ губка эта появляется снова. Отъ начала романа прошло нѣсколько мѣсяцевъ; „беременная маленькая княгиня потолстѣла за это время, но глаза и *короткая губка* съ усиками и улыбкой поднимались такъ-же весело и мило“. И черезъ двѣ страницы: „княгиня говорила безъ умолку; *короткая верхняя губка* съ усиками то и дѣло на мгновеніе слетала внизъ, притрогивалась, гдѣ нужно было, къ румяной нижней губкѣ, и вновь открывалась блестѣвшая зубами и глазами улыбка“. Княгиня сообщаетъ своей золовкѣ, сестрѣ князя Андрея, княжнѣ Марьѣ Болконской, объ отъѣздѣ мужа на войну. Княжна Марья обращается къ невѣсткѣ, „ласковыми глазами указывая на ея животъ“: „Навѣрное? — Лицо княгини измѣнилось. Она вздохнула.—Да, навѣрное,—сказала она.—Ахъ! Это очень страшно“... И *губка* маленькой кня-

гини *опустилась*. На протяженіи полутораста страницъ мы видѣли уже четыре раза эту верхнюю губку съ различными выраженіями. Черезъ двѣсти страницъ опять: „разговоръ шелъ общій и оживленный, благодаря голоску и *губкѣ* съ усиками, поднимавшейся надъ бѣлыми зубами маленькой княгини". Во второй части романа она умираетъ отъ родовъ. Князь Андрей „вошелъ въ комнату жены; она мертвая лежала въ томъ-же положеніи, въ которомъ онъ видѣлъ ее пять минутъ тому назадъ, и то-же выраженіе, несмотря на остановившіеся глаза и на блѣдность щекъ, было на этомъ прелестномъ дѣтскомъ личикѣ съ *губкой*, покрытой черными волосиками: „я васъ всѣхъ люблю и никому дурного не дѣлала, и что вы со мной сдѣлали?" Это происходитъ въ 1805 году. „Война разгоралась и театръ ея приближался къ русскимъ границамъ". Среди описаній войны авторъ не забываетъ сообщить, что надъ могилой маленькой княгини былъ поставленъ мраморный памятникъ, изображавшій ангела, у котораго „была немного приподнята *верхняя губа*, и она придавала лицу его то самое выраженіе, которое князь Андрей прочелъ на лицѣ своей мертвой жены: „ахъ, зачѣмъ вы это со мной сдѣлали?" Прошли годы. Наполеонъ совершилъ свои завоеванія въ Европѣ. Онъ уже переступалъ черезъ границу Россіи. Въ затишьи Лысыхъ Горъ сынъ покойной княгини „выросъ, перемѣнился, разрумянился, оброс курчавыми, темными волосами, и самъ не зная того, смѣясь и веселясь, поднималъ *верхнюю губку* хорошенькаго ротика точно такъ-же, какъ ее поднимала покойница маленькая княгиня".

Благодаря этимъ повтореніямъ и подчеркиваніямъ все одной и той-же тѣлесной примѣты сначала у живой, потомъ у мертвой, потомъ на лицѣ ея надгробнаго памятника и, наконецъ, на лицѣ ея сына, „верхняя губка" ма-

ленькой княгини врѣзывается въ память нашу, запечатлѣвается въ ней съ неизгладимою ясностью, такъ что мы не можемъ вспомнить о маленькой княгинѣ, не представляя себѣ и приподнятой верхней губки съ усиками.

У княжны Марьи Болконской, сестры князя Андрея, „тяжелыя ступни", слышныя издалека. „Это были тяжелые шаги княжны Марьи". Она вошла въ комнату „своею тяжелою походкою, ступая на пятки". Лицо у нея „краснѣетъ пятнами". Во время щекотливаго разговора съ братомъ, княземъ Андреемъ, о женѣ его, она „покраснѣла пятнами". Когда ее собираются наряжать по случаю пріѣзда жениха, она чувствуетъ себя оскорбленною: „она вспыхнула, лицо ея покрылось пятнами". Въ слѣдующемъ томѣ, въ разговорѣ съ Пьеромъ о своихъ старцахъ и странникахъ, о своихъ „Божьихъ людяхъ", она сконфузилась и „покраснѣла пятнами". Между этими послѣдними двумя упоминаніями о красныхъ пятнахъ княжны Марьи—описаніе Аустерлицкаго сраженія, торжества Наполеона, титанической борьбы народовъ, событій, рѣшающихъ судьбы міра,—но художникъ не забываетъ и до конца не забудетъ любопытной для него тѣлесной примѣты. Волей или неволей заставитъ онъ и насъ помнить лучистые глаза, тяжелыя ступни и красныя пятна княжны Марьи. Правда эти примѣты, сколь ни кажутся внѣшними и ничтожными, на самомъ дѣлѣ связаны съ очень глубокими и важными внутренними душевными свойствами дѣйствующихъ лицъ: такъ, верхняя губка, то весело приподнятая, то жалобно опускающаяся, выражаетъ дѣтскую безпечность и безпомощность маленькой княгини: неуклюжая походка княжны Марьи выражаетъ отсутствіе во всемъ ея существѣ внѣшней женственной прелести, а ея лучистые глаза и то, что она краснѣетъ пятнами,—въ связи съ ея внутреннею женственною прелестью, цѣломудренною и душевною чистотою.

Иногда эти отдѣльныя примѣты вдругъ зажигаютъ цѣлую, сложную, огромную картину, даютъ ей поразительную яркость и выпуклость.

Такъ, во время народнаго бунта въ опустѣвшей Москвѣ, передъ вступленіемъ въ нее Наполеона, когда графъ Ростопчинъ, желая утолить животную ярость толпы, указываетъ на политическаго преступника Верещагина, случайно подвернувшагося подъ руку и совершенно невиннаго, какъ на шпіона и „мерзавца“, отъ котораго будто-бы „Москва погибла“,—тонкая, длинная шея и вообще тонкость, слабость, хрупкость во всемъ тѣлѣ выражаетъ беззащитность жертвы передъ грубою, звѣрскою силою толпы.

— „Гдѣ онъ?—сказалъ графъ, и въ ту же минуту, какъ онъ сказалъ это, онъ увидалъ изъ-за угла дома выходившаго между двухъ драгунъ молодого человѣка съ *длинною тонкою шеей*“... У него были „нечищенные, стоптанные, *тонкіе* сапоги. На *тонкихъ*, слабыхъ ногахъ тяжело висѣли кандалы“...—„Поставьте его сюда!“—сказалъ Ростопчинъ, указывая на нижнюю ступеньку крыльца.—Молодой человѣкъ... тяжело переступая на указываемую ступеньку и вздохнувъ, покорнымъ жестомъ сложилъ передъ животомъ *тонкія*, нерабочія руки...—„Ребята!—сказалъ Ростопчинъ металлически звонкимъ голосомъ,—этотъ человѣкъ—Верещагинъ, тотъ самый мерзавецъ, отъ котораго погибла Москва“. Верещагинъ подымаетъ лицо и старается поймать взоръ Ростопчина. Но тотъ не смотритъ на него. „На *длинной, тонкой шеѣ* молодого человѣка, какъ веревка, напружилась и посинѣла жила за ухомъ.—Народъ молчалъ и только все тѣснѣе и тѣснѣе нажималъ другъ друга...—„Бей его!... Пускай погибаетъ измѣнникъ и не срамитъ имя русскаго!—закричалъ Ростопчинъ“...„—Графъ!... проговорилъ среди опять наступившей тишины робкій и вмѣстѣ съ тѣмъ театральный голосъ Верещагина. Графъ, одинъ

Богъ надъ нами...“ И опять налилась кровью толстая жила на его *тонкой шеѣ*.—Одинъ изъ солдатъ ударилъ его тупымъ палашемъ по головѣ... Верещагинъ съ крикомъ ужаса, заслонясь руками, бросился къ народу. Высокій малый, на котораго онъ наткнулся, вцѣпился руками въ *тонкую шею* Верещагина и съ дикимъ крикомъ, съ нимъ вмѣстѣ, упалъ подъ ноги навалившагося, ревущаго народа“. Послѣ преступленія тѣ-же люди, которые совершили его—„съ болѣзненно-жалостнымъ выраженіемъ глядѣли на мертвое тѣло съ посинѣвшимъ, измазаннымъ кровью и пылью лицомъ и съ разрубленною *длинною тонкою шеей*“.

Ни слова о внутреннемъ, душевномъ состояніи жертвы, но на пяти страницахъ восемь разъ повторено слово *тонкій* въ разнообразныхъ сочетаніяхъ—тонкая шея, тонкія ноги, тонкіе сапоги, тонкія руки,—и этотъ внѣшній признакъ вполнѣ изображаетъ внутреннее состояніе Верещагина, его отношеніе къ толпѣ.

Таковъ обычный художественный пріемъ Л. Толстого: отъ видимаго—къ невидимому, отъ внѣшняго—къ внутреннему, отъ тѣлеснаго—къ духовному или, по крайней мѣрѣ, „душевному“.

Иногда эти повторяющіяся примѣты въ наружности дѣйствующихъ лицъ связаны съ глубочайшею краеугольною мыслью, съ движущею осью всего произведенія: такъ, тяжесть обрюзгшаго тѣла Кутузова, его лѣнивая старческая тучность и неповоротливость выражаютъ безстрастную, созерцательную неподвижность ума его, христіанское или, лучше сказать, буддійское отреченіе отъ собственной воли, преданность волѣ рока или Бога у этого стихійнаго героя,—въ глазахъ Л. Толстого по преимуществу русскаго, народнаго,—героя бездѣйствія или *недѣланія*, въ противоположность безплодно дѣятельному, легкому, стремитель-

ному и самонадѣянному герою западной культуры — Наполеону.

Князь Андрей наблюдаетъ главнокомандующаго во время перваго смотра войскъ въ Царевомъ-Займищѣ: „съ тѣхъ поръ, какъ не видалъ его князь Андрей, Кутузовъ еще потолстѣлъ, обрюзгъ и оплылъ жиромъ". Выраженіе усталости было въ лицѣ его и въ фигурѣ. „*Тяжело расплываясь и раскачиваясь*, сидѣлъ онъ на своей бодрой лошадкѣ". Когда, окончивъ смотръ, онъ въѣхалъ на дворъ, на лицѣ его выразилась „радость успокоенія человѣка, намѣревающагося отдохнуть послѣ представительства. Онъ вынулъ лѣвую ногу изъ стремени, *повалившись всѣмъ тѣломъ и поморщившись отъ усилія, съ трудомъ занесъ ее на сѣдло*, облокотился колѣнкой, крякнулъ и спустился на руки къ казакамъ и адъютантамъ, поддерживавшимъ его... зашагалъ своею *ныряющею походкою и тяжело взошелъ на скрипящее подъ его тяжестью крыльцо*". Узнавъ отъ князя Андрея о смерти отца его, онъ „*тяжело*, всею грудью вздохнулъ и помолчалъ". Потомъ „обнялъ князя Андрея, прижалъ къ своей *жирной* груди и долго не отпускалъ отъ себя. Когда онъ отпустилъ его, князь Андрей увидалъ, что *расплывшія* губы Кутузова дрожали и на глазахъ были слезы. Онъ вздохнулъ и взялся обѣими руками за лавку, чтобы встать". И въ слѣдующей главѣ Кутузовъ „*тяжело* подымается, *расправляя складки своей пухлой шеи*".

Не менѣе глубокій, какъ-бы даже таинственный смыслъ имѣетъ впечатлѣніе „круглости" въ тѣлѣ другого русскаго героя—Платона Каратаева: эта круглость олицетворяетъ ту вѣчную неподвижную *сферу* всего простого, согласнаго съ природой, естественнаго, сферу замкнутую, совершенную и самодовлѣющую, которая представляется художнику первоначальной стихіей народнаго русскаго духа. „Платонъ Каратаевъ остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ

сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и *круглаго*. Когда на другой день, на разсвѣтѣ, Пьеръ увидалъ своего сосѣда, первое впечатлѣніе чего-то *круглаго* подтвердилось вполнѣ: вся фигура Платона въ его подпоясанной веревкою французской шинели, въ фуражкѣ и лаптяхъ, была *круглая*, голова была совершенно *круглая*, спина, грудь, плечи, даже руки, которыя онъ носилъ, какъ-бы всегда собираясь обнять что-то, были *круглыя;* пріятная улыбка и большіе каріе нѣжные глаза были *круглые*. Пьеру чувствовалось *„что-то круглое даже въ запахъ* этого человѣка". Здѣсь однимъ внѣшнимъ, доведеннымъ до послѣдней степени какъ-бы геометрической простоты и наглядности, *тѣлеснымъ* признакомъ выражено огромное и отвлеченнѣйшее обобщеніе, связанное съ самыми первыми, внутренними основами всего толстовскаго, не только художественнаго, но и метафизическаго, и религіознаго творчества.

Такую-же незабываемую обобщающую выразительность получаютъ у него и отдѣльные члены человѣческаго тѣла,—напримѣръ, руки Наполеона и Сперанскаго, руки людей, имѣющихъ власть. Во время свиданія императоровъ передъ соединенными войсками, когда русскому солдату Наполеонъ даетъ орденъ почетнаго легіона, онъ „снимаетъ перчатку съ *бѣлой маленькой руки* и, разорвавъ ее, бросаетъ". Черезъ нѣсколько строкъ: „Наполеонъ отводитъ назадъ свою *маленькую пухлую ручку*". Николаю Ростову вспоминается „самодовольный Бонапарте со своею *бѣлою ручкою*". И въ слѣдующемъ томѣ, при разговорѣ съ русскимъ дипломатомъ Балашевымъ, Наполеонъ дѣлаетъ энергически-вопросительный жестъ „своею *маленькою, бѣлою и пухлою ручкой*".

Не довольствуясь рукой, художникъ показываетъ намъ все голое тѣло героя, обнажаетъ его отъ суетныхъ знаковъ человѣческой славы и величія, возвращаетъ къ об-

щему, первому началу нашему,—къ животной природѣ, убѣждаетъ насъ, что у этого „полубога“—такая-же немощная плоть, какъ у насъ, такое-же „тѣло смерти“, по выраженію апостола Павла, такое-же „мясо“, подобное тому „мясу для пушекъ“, которымъ кажутся другія люди самому Наполеону.

Утромъ, наканунѣ Бородинскаго сраженія, императоръ въ палаткѣ оканчиваетъ туалетъ: „онъ, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстою спиной, то обросшею жирною грудью подъ щетку, которою камердинеръ растиралъ его тѣло. Другой камердинеръ, придерживая пальцемъ стклянку, брызгалъ о-де-колономъ на выхоленное тѣло императора съ такимъ выраженіемъ, которое говорило, что онъ одинъ могъ знать, сколько и куда надо брызнуть о-де-колону. Короткіе волосы Наполеона были мокры и спутаны на лобъ. Но лицо его, хотя опухшее и желтое, выражало физическое удовольствіе. „Ну, еще, ну, крѣпче“,—приговаривалъ онъ, пожимаясь и покряхтывая, растиравшему камердинеру, горбатясь и подставляя свои жирныя плечи“.

Бѣлая, пухлая ручка Наполеона, такъ-же, какъ все жирное, выхоленное тѣло, повидимому, означаетъ въ представленіи художника отсутствіе тѣлеснаго труда, принадлежность „героя“-выскочки къ сословію людей „праздныхъ“, „сидящихъ на плечахъ рабочаго народа“ — этой „черни“, людей съ грязными руками, которыхъ онъ съ такою безпечностью, однимъ движеніемъ бѣлой ручки своей, посылаетъ на смерть, какъ „мясо для пушекъ“.

У Сперанскаго тоже „бѣлыя пухлыя руки“, при описаніи которыхъ этимъ излюбленнымъ пріемомъ повтореній и подчеркиваній Л. Толстой, кажется, нѣсколько злоупотребляетъ: „князь Андрей наблюдалъ всѣ движенія Сперанскаго, недавно ничтожнаго семинариста и теперь въ

рукахъ своихъ—этихъ бѣлыхъ, пухлыхъ рукахъ — имѣвшаго судьбу Россіи, какъ думалъ Болконскій". — „Ни у кого князь Андрей не видалъ такой нѣжной бѣлизны лица и особенно рукъ, нѣсколько широкихъ, но необыкновенно пухлыхъ, нѣжныхъ и бѣлыхъ. Такую бѣлизну и нѣжность лица князь Андрей видалъ только у солдатъ, долго пробывшихъ въ госпиталѣ". Немного спустя, онъ опять „невольно смотритъ на бѣлую, нѣжную руку Сперанскаго, какъ смотрятъ обыкновенно на руки людей, имѣющихъ власть. Зеркальный взглядъ и нѣжная рука эта почему-то раздражали князя Андрея". Казалось-бы, довольно: какъ-бы ни былъ читатель безпамятенъ, все-таки никогда не забудетъ онъ, что у Сперанскаго бѣлыя, пухлыя руки.—Но художнику мало: черезъ нѣсколько сценъ съ неутомимымъ упорствомъ повторяется та-же подробность: „Сперанскій подалъ князю Андрею свою бѣлую и нѣжную руку". И сейчасъ опять: „Сперанскій приласкалъ дочь своею бѣлою рукою". Въ концѣ концовъ, эта бѣлая рука начинаетъ преслѣдовать, какъ навожденіе: словно отдѣляется отъ остального тѣла, такъ-же, какъ верхняя губка маленькой княгини, сама по себѣ дѣйствуетъ и живетъ своею особою, странною, почти сверхъестественною жизнью, подобно фантастическому лицу, въ родѣ „Носа" Гоголя.

Однажды, сравнивая себя, какъ художника, съ Пушкинымъ, Л. Толстой сказалъ Берсу, что разница ихъ, между прочимъ, та, что „Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится о томъ, будетъ-ли она замѣчена и понята читателемъ; онъ-же какъ-бы пристанетъ къ читателю съ этою художественною подробностью, пока ясно не растолкуетъ ея". Сравненіе болѣе проникновенное, чѣмъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Дѣйствительно, Л. Толстой „пристаетъ

къ читателю", не боится ему надоѣсть, углубляетъ черту, повторяетъ, упорствуетъ, накладываетъ краски, мазокъ за мазкомъ, сгущая ихъ все болѣе и болѣе тамъ, гдѣ Пушкинъ, едва прикасаясь, скользитъ кистью, какъ будто нерѣшительною и небрежною, на самомъ дѣлѣ—безконечно увѣренною и вѣрною. Всегда кажется, что Пушкинъ, особенно въ прозѣ своей, скупъ и даже какъ-бы сухъ, что онъ даетъ мало, такъ что хотѣлось-бы еще и еще. Л. Толстой даетъ столько, что намъ уже больше нечего желать,—мы сыты, если не пресыщены.

Описанія Пушкина напоминаютъ легкую водяную темперу старинныхъ флорентинскихъ мастеровъ или помпейскую стѣнопись съ ихъ ровными, тусклыми, воздушно-прозрачными, красками, не скрывающими рисунка, подобными дымкѣ утренней мглы. У Л. Толстого болѣе тяжелыя, грубыя, но и насколько болѣе могущественныя масляныя краски великихъ сѣверныхъ мастеровъ: рядомъ съ глубокими, непроницаемо-черными и все-таки живыми тѣнями—лучи внезапнаго, ослѣпляющаго, какъ будто насквозь пронизывающаго свѣта, который вдругъ зажигаетъ и выдвигаетъ изъ мрака какую-нибудь отдѣльную черту—наготу тѣла, складку одежды въ стремительно-быстромъ движеніи, часть искаженнаго страстью или страданіемъ лица, и даетъ имъ поразительную, почти отталкивающую и пугающую жизненность, какъ будто художникъ отыскиваетъ въ доведенномъ до послѣднихъ предѣловъ естественномъ—сверхъестественное, въ доведенномъ до послѣднихъ предѣловъ тѣлесномъ—сверхтѣлесное.

Кажется, во всемірной литературѣ нѣтъ писателя, равнаго Л. Толстому въ изображеніи человѣческаго тѣла посредствомъ слова. Злоупотребляя повтореніями, и то довольно рѣдко, такъ какъ большею частью онъ достигаетъ ими того, что ему нужно, никогда не страдаетъ онъ столь

обычными у другихъ, даже сильныхъ и опытныхъ мастеровъ, длиннотами, нагроможденіями различныхъ сложныхъ тѣлесныхъ признаковъ, при описаніи наружности дѣйствующихъ лицъ; онъ точенъ, простъ и возможно кратокъ, выбирая только немногія маленькія, никѣмъ не замѣчаемыя, личныя, особенныя черты, и приводя ихъ не сразу, а постепенно, одну за другою, распредѣляя по всему теченію разсказа, вплетая въ движеніе событій, въ живую ткань дѣйствія.—Такъ, при первомъ появленіи стараго князя Болконскаго мы видимъ сначала только въ общемъ мгновенномъ очеркѣ, въ четырехъ-пяти строкахъ, „невысокую фигурку старика въ напудренномъ парикѣ, съ маленькими *сухими руками* и сѣрыми висячими бровями, иногда, когда онъ насупливался, застилавшими блескъ умныхъ и молодыхъ блестящихъ глазъ“. Тутъ одно, можетъ быть, излишнее повтореніе: „*блескъ блестящихъ* глазъ“. Когда онъ садится за токарный станокъ,—„по движеніямъ небольшой ноги, по твердому налеганію жилистой сухощавой руки (мы уже знаемъ, что у него руки сухія, но Л. Толстой любитъ возвращаться къ рукамъ своихъ героевъ), видна была въ князѣ еще упорная и много выдерживающая сила свѣжей старости“. Когда онъ заговариваетъ съ дочерью, княжной Марьей, то „холодною улыбкою выказываетъ еще крѣпкіе и желтоватые зубы“. Когда садится за столъ и пригибается къ ней, начиная обычный урокъ геометріи, она „чувствуетъ себя со всѣхъ сторонъ окруженною тѣмъ табачнымъ и старчески-ѣдкимъ запахомъ отца“, который такъ давно ей знакомъ. И вотъ—онъ весь передъ нами, какъ живой: ростъ, сложеніе, руки, ноги, глаза, брови, положеніе бровей, зубы, цвѣтъ зубовъ, улыбка, даже особенный, свойственный каждому человѣку, запахъ.

По впечатлѣнію Вронскаго, когда онъ въ первый разъ

видитъ Анну Каренину, мы узнаемъ, что въ ея наружности сразу видна принадлежность ея къ высшему свѣту, что она очень красива, что у нея румяныя губы, блестящіе сѣрые глаза, кажущіеся темными отъ густыхъ рѣсницъ, и что „избытокъ чего-то такъ переполнялъ ея существо, что мимо ея воли выражался то въ блескѣ взгляда, то въ улыбкѣ“.—И опять по мѣрѣ движенія разсказа, постепенно, незамѣтно, прибавляется черта за чертою, примѣта за примѣтою: когда она подаетъ руку Вронскому, онъ радуется, „какъ чему-то особенному, тому энергическому пожатію, съ которымъ она крѣпко и смѣло тряхнула его руку“. Во время бесѣды съ невѣсткою, Долли, Анна беретъ ея руку своею „энергическою маленькою рукою“. Кисть этой руки „тонкая, крошечная“; мы даже видимъ форму пальцевъ: дочь Облонской, Таня, играя, „стаскиваетъ легко-сходящее кольцо съ бѣлаго, *тонкаго къ концу* пальца“.

Въ рукахъ Анны Карениной, такъ-же какъ въ рукахъ другихъ дѣйствующихъ лицъ (можетъ быть, потому, что руки—единственная всегда обнаженная и близкая къ стихійной природѣ, животно-безсознательная часть человѣческаго тѣла), еще большая выразительность, чѣмъ въ лицѣ,—въ рукахъ Анны прелесть всего существа ея—соединеніе силы и нѣжности. Мы узнаемъ, когда она стоитъ въ толпѣ на балу, что она „всегда чрезвычайно прямо держится“, когда выходитъ изъ вагона или идетъ по комнатѣ, что у нея „быстрая, рѣшительная походка, странно легко носящая ея довольно полное тѣло“; когда танцуетъ,—что у нея „отчетливая грація, вѣрность и легкость движеній“; когда, пріѣхавъ съ визитомъ къ Долли, снимаетъ шляпу, — что черные, за все цѣпляющіеся волосы ея „вездѣ вьются“, а въ другой разъ,—что „своевольныя короткія колечки курчавыхъ волосъ всегда выбиваются

на затылкѣ и на вискахъ". Въ этихъ непокорныхъ курчавыхъ волосахъ легко разстраивающейся прически,—такая-же напряженность, „избытокъ чего-то", готоваго къ страсти, какъ и въ слишкомъ яркомъ блескѣ глазъ, въ улыбкѣ, невольно играющей, „волнующейся между глазами и губами". И наконецъ, когда она выѣзжаетъ на балъ, мы видимъ наготу ея тѣла: „черное, низко-срѣзанное бархатное платье открывало ея *точеныя*, какъ старой слоновой кости, полныя плечи и грудь, и *округлыя* руки". Эта точеность, крѣпость, „*круглость*" тѣла, какъ, у Платона Каратаева, — для Л. Толстого очень важная и глубокая, таинственная черта,—особенность русской красоты.

Всѣ эти разбросанные отдѣльные признаки такъ дополняютъ одинъ другой, такъ одинъ другому соотвѣтствуютъ—подобно тому, какъ въ прекрасныхъ изваяніяхъ форма одного члена всегда соотвѣтствуетъ формѣ другого,—напримѣръ, тонкіе въ концѣ пальцы и точеная, какъ старой слоновой кости шея, неудержимый блескъ взгляда, стремительная легкость движеній и своевольныя колечки вездѣ вьющихся, всегда выбивающихся волосъ,—всѣ эти мельчайшія, отдѣльныя примѣты такъ согласованы, что естественно и невольно соединяются въ воображеніи читателя въ одно цѣлое, живое, единственное, особенное, личное, незабываемое, такъ что, когда мы кончаемъ книгу, намъ кажется, что мы видѣли Анну Каренину собственными глазами и узнали бы ее тотчасъ, если-бы встрѣтили.

Этотъ ему одному въ такой мѣрѣ свойственный даръ, который можно бы назвать *ясновидѣніемъ плоти*, иногда — правда, довольно рѣдко, — вовлекаетъ Толстого въ излишества.

Ему такъ легко и пріятно описывать живыя тѣла, движенія тѣлъ, что онъ порой, какъ будто играя, злоупотреб-

ляетъ этою легкостью. Мы не сѣтуемъ на него за то, что онъ изображаетъ, какъ именно начинаетъ двигать ногами пришпоренная лошадь: „Жарковъ тронулъ шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная съ какой начать, справилась и поскакала“, или за то, что съ первыхъ-же строкъ „Анны Карениной“ онъ торопится сообщить, что у Степана Аркадіевича Облонскаго, о которомъ мы еще ничего не знаемъ, „полное, выхоленное тѣло“, и съ анатомическою точностью изображаетъ, какъ „вдоволь забираетъ онъ воздуха въ свой широкій грудной ящикъ“, и какъ онъ ходитъ „привычнымъ, бодрымъ шагомъ вывернутыхъ ногъ, такъ легко носящихъ его полное тѣло“. Эта послѣдняя черта даже значительна, потому-что въ ней отмѣчено семейное сходство брата съ сестрою, Степана Аркадіевича съ Анной Аркадіевной, у которой—такая-же бодрая походка, „странно легко носящая ея полное тѣло“. Если все это и кажется роскошью, то вѣдь роскошь въ искусствѣ не всегда излишество, она даже часто нужнѣе нужнаго. Но вотъ лицо третьестепенное, одно изъ тѣхъ, которыя, едва появившись, тотчасъ исчезаютъ, — какой-то безымянный полковой командиръ въ „Войнѣ и Мирѣ“: только-что успѣлъ онъ мелькнуть передъ нами, какъ мы уже увидѣли, что онъ „широкъ больше отъ груди къ спинѣ, чѣмъ отъ одного плеча къ другому“, и что онъ похаживаетъ передъ фронтомъ „подрагивающею на каждомъ шагу походкою, слегка изгибаясь спиною“. Эта подрагивающая походка повторяется четыре раза на пяти страницахъ. Можетъ быть, наблюденіе и вѣрное, и живописное, но это именно то ненужное, что не есть роскошь, а только излишество. Намъ также любопытно и важно знать, что у Анны Карениной пальцы „тонкіе въ концѣ“, но мы немного потеряли-бы, если-бы онъ не сообщилъ намъ, что у лакея-татарина, подававшаго

обѣдъ Левину и Облонскому, былъ широкій тазъ. Объ этомъ недостаткѣ Толстого и говорить-бы, впрочемъ, вовсе не стоило, если-бы иногда не обнаруживалось всего яснѣе самое личное, особенное, что есть у художника, не въ томъ, чего у него въ мѣру, а именно въ томъ, чего у него слишкомъ много.

Языкъ человѣческихъ тѣлодвиженій, ежели менѣе разнообразенъ, зато болѣе непосредственъ и выразителенъ, обладаетъ большею силою *внушенія*, чѣмъ языкъ словъ. Словами легче лгать, чѣмъ движеніями тѣла, выраженіями лица. Истинную, скрытую природу человѣка выдаютъ они скорѣе, чѣмъ слова. Одинъ взглядъ, одна морщина, одинъ трепетъ мускула въ лицѣ, одно движеніе тѣла могутъ выразить то, чего нельзя сказать никакими словами. Послѣдовательные ряды этихъ безсознательныхъ, непроизвольныхъ движеній, отпечатлѣваясь, наслояясь на лицѣ и на всемъ внѣшнемъ обликѣ тѣла, образуютъ то, что мы называемъ выраженіемъ лица, и что можно-бы также назвать *выраженіемъ тѣла*, потому-что не только у лица, но и у всего тѣла есть свое выраженіе, своя духовная прозрачность,—какъ-бы свое лицо. Извѣстныя чувства побуждаютъ насъ къ соотвѣтственнымъ движеніямъ, и наоборотъ — извѣстныя привычныя движенія приближаютъ насъ къ соотвѣтственнымъ внутреннимъ состояніямъ. Молящійся складываетъ руки, склоняетъ колѣни; но и складывающій руки, склоняющій колѣни приближаетъ себя къ молитвенному состоянію. Такимъ образомъ, существуетъ непрерывный токъ не только отъ внутренняго къ внѣшнему, но и отъ внѣшняго къ внутреннему.

Л. Толстой съ неподражаемымъ искусствомъ пользуется этою *обратною связью внѣшняго и внутренняго*. По тому закону всеобщаго, даже механическаго сочувствія, который заставляетъ неподвижную, напряженную струну дрожать

въ отвѣтъ сосѣдней звенящей струнѣ, по закону безсознательнаго подражанія, который при видѣ плачущаго или смѣющагося возбуждаетъ и въ насъ желаніе плакать или смѣяться,—мы испытываемъ, при чтеніи подобныхъ описаній, въ нервахъ и мускулахъ, управляющихъ выразительными движеніями нашего собственнаго тѣла, начало тѣхъ движеній, которыя описываетъ художникъ въ наружности своихъ дѣйствующихъ лицъ; и, посредствомъ этого сочувственнаго опыта, невольно совершающагося въ нашемъ собственномъ тѣлѣ, то-есть по самому вѣрному, прямому и краткому пути, входимъ въ ихъ внутренній міръ,—начинаемъ жить съ ними, жить въ нихъ.

Когда мы узнаемъ, что Иванъ Ильичъ три дня кричалъ отъ боли: „У! Уу! У!“,—потому-что, начавъ кричать: „не хочу!“, продолжалъ на букву „у“, намъ легко не только представить себѣ, но и самимъ испробовать этотъ ужасный переходъ отъ человѣческаго слова къ безсмысленному животному крику, и не только мыслью, воображеніемъ, но и *опытомъ* нашей тѣлесной чувствительности, постоянно ощущаемой нами въ нашемъ тѣлѣ готовности страдать, — измѣрить ту степень боли, которая и насъ могла-бы заставить кричать этимъ страшнымъ, безсмысленнымъ крикомъ „на *у*“. Неподвижная струна отвѣчаетъ звенящей струнѣ. Душа читателя черезъ тѣло его, животно и непроизвольно подражающее тѣлу описываемыхъ героевъ, проникаетъ въ ихъ душу,—какъ бы перевоплощается.

И какой безконечно-сложный, разнообразный смыслъ получаетъ у него порой одно движеніе, одно положеніе человѣческихъ членовъ.

Послѣ Бородинскаго сраженія, въ палаткѣ для раненыхъ, докторъ въ окровавленномъ фартукѣ, съ окровавленными руками „держитъ одной изъ нихъ сигару между мизинцемъ и большимъ пальцемъ, чтобы не запачкать ея“.

Это положеніе пальцевъ обозначаетъ: и непрерывность ужасной работы, и отсутствіе брезгливости, и равнодушіе къ ранамъ и крови вслѣдствіе долгой привычки, и усталость, и желаніе забыться. Сложность всѣхъ этихъ внутреннихъ состояній сосредочена въ одной маленькой тѣлесной подробности,—въ положеніи двухъ пальцевъ, описаніе котораго занимаетъ полъ-строки.

Когда князь Андрей, узнавъ, что Кутузовъ посылаетъ отрядъ Багратіона на вѣрную смерть, испытываетъ сомнѣніе, имѣетъ-ли главнокомандующій право такъ самоувѣренно жертвовать жизнью тысячъ людей,—онъ „взглядываетъ на Кутузова, и ему невольно бросаются въ глаза, въ полуаршинѣ отъ него, чисто промытыя сборки шрама на вискѣ Кутузова, гдѣ измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекшій глазъ". „Да, онъ имѣетъ право такъ спокойно говоритъ о погибели этихъ людей!"—думаетъ Болконскій. И здѣсь опять одна ничтожная тѣлесная подробность,—сборки шрама и вытекшій глазъ Кутузова,—рѣшаетъ сложный, отвлеченный, нравственный вопросъ объ отвѣтственности людей, руководящихъ судьбами народовъ, объ отношеніи военно-государственнаго строя къ цѣнности отдѣльныхъ человѣческихъ жизней.

Больше, чѣмъ все, что говоритъ Ивану Ильичу объ его болѣзни наука устами докторовъ, больше, чѣмъ всѣ его собственныя привычныя, условныя мысли о смерти, открываетъ ему дѣйствительный ужасъ его состоянія случайный взглядъ въ зеркало на свои волосы: „Иванъ Ильичъ сталъ причесываться и посмотрѣлъ въ зеркало: ему страшно стало, особенно страшно было то, какъ волосы плоско прижимались къ блѣдному лбу". Никакими словами нельзя было-бы выразить животнаго страха смерти такъ, какъ этимъ замѣченнымъ въ зеркалѣ положеніемъ волосъ. И равнодушіе здоровыхъ къ больному, живыхъ къ умираю-

щему чувствуется Ивану Ильичу не въ словахъ людей, а только „въ жилистой шеѣ, плотно обложенной бѣлымъ воротничкомъ, въ обтянутыхъ узкими черными штанами сильныхъ ляжкахъ Ѳедора Петровича“, жениха его дочери.

Между Пьеромъ и княземъ Василіемъ—очень запутанныя щекотливыя отношенія. Князь Василій хочетъ выдать за Пьера свою дочь Эленъ и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ, чтобы Пьеръ сдѣлалъ ей предложеніе. Тотъ все не рѣшается. Однажды, оставшись съ отцомъ и дочерью наединѣ, подымается онъ, собираясь уходить, и говоритъ что, уже поздно. „Князь Василій строго-вопросительно посмотрѣлъ на него, какъ будто то, что̀ онъ сказалъ, было такъ странно, что нельзя было и разслышать. Но вслѣдъ за тѣмъ выраженіе строгости измѣнилось, и князь Василій дернулъ Пьера за руку, посадилъ его и ласково улыбнулся.—„Ну, что Леля?—обратился онъ тотчасъ-же къ дочери“, и потомъ опять къ Пьеру, напоминая ему некстати довольно глупый анекдотъ о какомъ-то Сергѣѣ Кузьмичѣ. „Пьеръ улыбнулся, но *по его улыбкѣ видно было*, что онъ понималъ, что не анекдотъ Сергѣя Кузьмича интересовалъ въ это время князя Василія; и князь Василій понялъ, что Пьеръ понималъ это. Князь Василій вдругъ пробурлилъ что-то и вышелъ. Пьеру показалось, что даже князь Василій былъ смущенъ... Онъ оглянулся на Эленъ,—и она, казалось, была смущена и взглядомъ говорила: „что жъ, вы сами виноваты“.—Вотъ, какое сложное, многостороннее значеніе имѣетъ у Л. Толстого одна улыбка, выраженіе одного лица: оно повторяется, отражается на лицахъ и въ душахъ окружающихъ цѣлымъ рядомъ едва уловимыхъ полусознательныхъ мыслей и ощущеній, какъ лучъ—въ зеркалахъ, какъ звукъ—въ отголоскахъ.

Пьеръ видитъ Наташу послѣ долгой разлуки и смерти перваго жениха ея, князя Андрея. Она такъ измѣнилась

что онъ не узнаетъ ее. „Но нѣтъ, это не можетъ быть,—подумалъ онъ.—Это строгое, худое и блѣдное, постарѣвшее лицо? Это не можетъ быть она. Это только воспоминаніе того". Но въ это время княжна Марья сказала: „Наташа". „И лицо съ внимательными глазами,—съ трудомъ, съ усиліемъ, какъ отворяется заржавѣвшая дверь,—улыбнулось, и изъ этой растворенной двери вдругъ пахнуло и обдало Пьера тѣмъ давно забытымъ счастьемъ, о которомъ, въ особенности теперь, онъ не думалъ. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнѣній: это была Наташа, и онъ любилъ ее". Во время этой сцены, одной изъ самыхъ значительныхъ и рѣшающихъ для дѣйствія всего романа, произнесено только четыре слова княжной Марьей: „Вы не узнаете развѣ?" Но мы чувствуемъ, что безмолвная улыбка Наташи—сильнѣе словъ, и что дѣйствительно эта улыбка могла, должна была рѣшить судьбу Пьера.

Не только живыя, и мертвыя лица „говорятъ" у него. Лицо маленькой княгини и въ гробу было то-же, какъ у живой:—„Ахъ, что вы со мной сдѣлали?" все *говорило* оно.

И глаза животныхъ „говорятъ". Когда, во время скачекъ, лошадь Вронскаго, переломивъ себѣ спинной хребетъ, упала и онъ, желая поднять ее, ударилъ каблукомъ въ животъ,—„она не двигалась, а уткнувъ храпъ въ землю, только смотрѣла на хозяина своимъ *говорящимъ* взглядомъ". Этотъ взглядъ звѣря выразительнѣе всѣхъ человѣческихъ словъ.

Посредствомъ движеній тѣла изображаетъ онъ и такую неуловимую особенность ощущенія, какъ ладъ музыки, пѣсни: „Барабанщикъ-запѣвало строго оглянулъ солдатъ-пѣсенниковъ и зажмурился. Потомъ, убѣдившись, что всѣ глаза устремлены на него, онъ какъ будто осторожно приподнялъ обѣими руками какую-то невидимую, драго-

цѣнную вещь надъ головой, подержалъ ее такъ нѣсколько секундъ и вдругъ отчаянно бросилъ ее: Ахъ, вы, сѣни мои сѣни! „Сѣни новыя мои“—подхватили двадцать голосовъ“.

По тому-же способу, переводя самыя отвлеченныя отъ тѣла, внутреннія состоянія на языкъ наглядныхъ, внѣшнихъ, тѣлесныхъ движеній, передаетъ онъ чувство духовнаго безсилія, которое овладѣло Наполеономъ послѣ Бородинскаго сраженія: „это было какъ во снѣ, когда человѣку представляется наступающій на него злодѣй, и человѣкъ во снѣ размахнулся и ударилъ своего злодѣя съ тѣмъ страшнымъ усиліемъ, которое, онъ знаетъ, должно уничтожить его, и чувствуется, что рука его безсильная и мягкая, падаетъ, какъ тряпка“.

Ему одинаково послушны и первозданныя стихійныя громады, и разсѣянныя въ нашей внутренней атмосферѣ, какъ пыль, легчайшія молекулы, атомы чувствъ. Та-же рука, которая двигаетъ горами, управляетъ и этими атомами. И можетъ быть, второе изумительнѣе перваго. Оставляя въ сторонѣ все общее, литературно-условное, искусственное, отыскиваетъ онъ во всѣхъ ощущеніяхъ самое частное, личное, особенное, какъ-бы тончайшія жала ихъ, и оттачиваетъ, заостряетъ эти жала до остроты почти болѣзненной, такъ что они пронзаютъ, впиваются какъ иглы, и мы уже никогда не будемъ въ состояніи отдѣлаться отъ нихъ,—особенность его ощущеній навѣки сдѣлается нашею особенностью, мы будемъ чувствовать, какъ онъ, не только пока его читаемъ, но и послѣ, когда вернемся въ дѣйствительную жизнь. Можно сказать, что нервная впечатлительность людей, читавшихъ произведенія Л. Толстого, становится нѣсколько иною, чѣмъ до этого чтенія.

Тайна его дѣйствія заключается, между прочимъ, въ

томъ, что онъ замѣчаетъ незамѣтное, слишкомъ обыкновенное, и при освѣщеніи сознаніемъ, именно вслѣдствіе этой обыкновенности, кажущееся необычайнымъ. Такъ, первый сдѣлалъ онъ открытіе, повидимому, столь простое, легкое и, однако, въ продолженіе тысячелѣтій ускользавшее отъ вниманія всѣхъ наблюдателей,—то, что улыбка отражается не только на лицѣ, но и въ звукѣ голоса, что голосъ такъ-же, какъ лицо, можетъ быть „улыбающимся“. Платонъ Каратаевъ ночью, въ темнотѣ, когда Пьеръ не видитъ лица его, что-то говоритъ ему „измѣняющимся отъ улыбки голосомъ“.

Изъ такихъ-то маленькихъ, поразительныхъ наблюденій и открытій, какъ изъ первоначальныхъ клѣточекъ, состоитъ самая основа,—вся живая ткань его произведеній.

Добрая хозяйка Анисья Федоровна, женщина съ очень пріятною улыбкою, угощаетъ гостей кушаньями собственнаго приготовленія: „все это и пахло, и отзывалось, и имѣло вкусъ Анисьи Федоровны. *Все отзывалось* сочностью, чистотой, бѣлизной и *пріятною улыбкою*“. Для Пьера было „что-то круглое и въ запахѣ Платона Каратаева“. Итакъ, выраженіе лица, выраженіе тѣла можетъ быть не только въ звукѣ голоса, но и во вкусѣ кушаній, и въ запахѣ людей. Такія-же неожиданныя открытія—и въ слуховыхъ ощущеніяхъ: онъ первый замѣтилъ, что звукъ лошадиныхъ копытъ кажется „прозрачнымъ“.

Языкъ его, обыкновенно простой и умѣренный, не страдаетъ излишествомъ эпитетовъ; только тогда не жалѣетъ онъ ихъ, когда дѣло идетъ о передачѣ особенности какого-нибудь ощущенія: „вдругъ онъ (Иванъ Ильичъ) почувствовалъ I) знакомую, II) старую, III) глухую, IV) ноющую боль, V) упорную, VI) тихую, VII) серьезную“. Семь прилагательныхъ къ одному существительному,—и, однако, нѣтъ нагроможденія, ни одно изъ нихъ не лишнее,—до

такой степени боль Ивана Ильича для насъ любопытна во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ.

Когда ощущеніе такъ тонко и ново, что уже никакими соединеніями словъ его невозможно выразить, пользуется онъ сочетаніями отдѣльныхъ звуковъ, тѣмъ способомъ выраженія, который служитъ дѣтямъ и первобытнымъ людямъ при созданіи языковъ,—звукоподражаніемъ. Въ бреду „князь Андрей услыхалъ какой-то тихій, шепчущій голосъ, неумолкаемо въ тактъ твердившій: „И пити-пити-пити“, и потомъ „и ти-ти“, и опять „и пити-пити-пити“, и опять „и ти-ти“. Вмѣстѣ съ этимъ, подъ звукъ этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовалъ, что надъ лицомъ его, надъ самою серединою, воздвигалось какое-то странное воздушное зданіе изъ тонкихъ иголокъ или лучинокъ. Онъ чувствовалъ (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновѣсіе для того, чтобы воздвигавшееся зданіе это не завалилось; но оно все-таки заваливалось, и опять медленно воздвигалось при звукахъ равномѣрно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“,—говорилъ себѣ князь Андрей... И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити—бумъ,—ударилась муха“.

Иванъ Ильичъ, передъ смертью вспоминая о варенномъ черносливѣ, „который ему предлагали ѣсть нынче“, вспоминалъ и „о сыромъ, сморщенномъ французскомъ черносливѣ въ дѣтствѣ“. Кажется, подробность, достаточно опредѣленная. Но художникъ еще болѣе углубляетъ ее, находитъ въ ней еще большую особенность: Иванъ Ильичъ вспоминалъ объ „особенномъ вкусѣ“ чернослива и „обилiи слюны, когда дѣло доходило до косточки“. Съ этимъ ощущеніемъ слюны отъ черносливной косточки связанъ для Ивана Ильича цѣлый рядъ воспоминаній: о нянѣ, братѣ, игрушкахъ,—обо всемъ дѣтствѣ, и воспоминанія эти, въ

свою очередь, вызываютъ въ немъ сравненіе тогдашней радости жизни съ теперешнимъ отчаяніемъ и ужасомъ смерти. „Не надо объ этомъ... слишкомъ больно,—говорилъ себѣ Иванъ Ильичъ“.—Вотъ, до какихъ обобщеній доводитъ насъ ничтожная подробность—обиліе слюны при вкусѣ черносливной косточки. И ежели въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ самого читателя есть нѣчто подобное, то съ какою неодолимою силою *навожденія* вовлечетъ она его во внутреннюю душевную трагедію героя.

Соня, влюбленная въ Николая Ростова, цѣлуетъ его. Пушкинъ такъ-бы и ограничился упоминаніемъ поцѣлуя. Но Л. Толстой не довольствуется общимъ представленіемъ: онъ ищетъ самыхъ опредѣленныхъ, частныхъ и точныхъ особенностей.—Дѣло происходило на святкахъ: Соня наряжена была гусаромъ; на губахъ ея жженою пробкою нарисованы усы. И вотъ получается странное, сложное, истинно-толстовское ощущеніе: Николай вспоминаетъ *„запахъ пробки, смѣшанный съ чувствомъ поцѣлуя“*.

Неуловимѣйшіе оттѣнки и особенности ощущеній различаются у него соотвѣтственно характеру, полу, возрасту, воспитанію, сословію ощущающаго. Кажется, въ этой области нѣтъ для него закрытыхъ путей. Чувственный опытъ его столь неисчерпаемъ, какъ будто онъ прожилъ сотни жизней въ различныхъ тѣлахъ людей и животныхъ.

Онъ проникаетъ въ ощущеніе обнаженнаго тѣла молодой дѣвушки, передъ выѣздомъ на балъ: „въ обнаженныхъ плечахъ и рукахъ Китти чувствовала холодную мраморность“,—въ ощущеніе старѣющей, утомленной родами женщины, которая „вздрагиваетъ, вспоминая о боли треснувшихъ сосковъ, испытанной почти съ каждымъ ребенкомъ“;—кормящей матери, у которой еще не порвались таинственныя связи тѣла съ тѣломъ ребенка, и которая „не то что угадываетъ, а вѣрно узнаетъ по приливу мо-

лока у себя недостатокъ пищи у него";—въ ощущеніе и въ мысли животныхъ, напримѣръ, охотничьей собаки Левина, которой кажется лицо хозяина „привычнымъ", а глаза „всегда страшными", и которая думаетъ: „Я не могу идти. Куда я пойду? Отсюда я чувствую ихъ (дупелей), а если я двинусь впередъ, я ничего не найду, гдѣ они и кто они".

Не только древніе греки и римляне, но, по всей вѣроятности, даже люди XVIII вѣка не поняли-бы, что значитъ „прозрачный" звукъ лошадиныхъ копытъ, или какъ можетъ „запахъ жженой пробки смѣшиваться съ чувствомъ поцѣлуя", или кушанья—„отзываться" выраженіемъ человѣческаго лица—пріятною улыбкою, или „что-то круглое—быть въ запахѣ человѣка". Если-бы критики наши, неумолимые судьи новаго, такъ-называемаго „декадентскаго", искусства были до конца искренни и послѣдовательны,—не пришлось-ли бы имъ и Л. Толстого обвинять въ „болѣзненной извращенности"? Но въ томъ-то и дѣло, что опредѣлять незыблемыя границы здороваго и болѣзненнаго въ искусствѣ гораздо труднѣе, чѣмъ это кажется хранителямъ классическихъ завѣтовъ. Не есть-ли предполагаемая ими „извращенность" только *изощренность*, естественное и неизбѣжное развитіе, утонченіе, углубленіе здоровой чувственности? Можетъ быть, дѣти наши, со своею свѣжею, новою впечатлительностью, поняли-бы непонятное нашимъ критикамъ и оправдали-бы Л. Толстого ибо дѣти уже знаютъ то, что еще не снилось ихъ отцамъ,—знаютъ между прочимъ, что различныя области такъ называемыхъ „пяти чувствъ" вовсе не такъ рѣзко отдѣлены одна отъ другой, что эти области на самомъ дѣлѣ сливаются, переплетаются, покрываютъ и захватываютъ одна другую, такъ что звуки могутъ казаться яркими, цвѣтными („яркій голосъ соловья" у Пушкина), сочетанія дви-

женій, красокъ или даже запаховъ могутъ производить впечатлѣніе музыки (такъ называемая „евритмія“—*благозвучіе* движеній, *гармонія* красокъ въ живописи). Обыкновенно думаютъ, что тѣлесная чувствительность людей, въ противоположность духовной—величина постоянная во времени, въ историческомъ развитіи человѣчества. На самомъ дѣлѣ, первая точно такъ-же измѣняется, какъ вторая. Мы видимъ и слышимъ то, чего предки наши не видѣли и не слышали. Сколько-бы ни жаловались превозносители классической древности на тѣлесный упадокъ современнаго человѣчества, едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что мы существа, болѣе зрячія, чуткія, тѣлесно прозрачныя, чѣмъ герои „Иліады“ и „Одиссеи“. Не предполагаетъ-ли и наука, что извѣстныя ощущенія, напримѣръ, послѣдніе цвѣта спектра, сдѣлались общимъ достояніемъ людей только за сравнительно недавнее, историческое время ихъ жизни, и что, можетъ быть, еще Гомеръ смѣшивалъ зеленый цвѣтъ съ голубымъ въ одномъ наименованіи цвѣта моркой воды „зелено-лазурный“ — γλαυκὸς? Не произошло-ли и не происходитъ-ли подобное естественное приращеніе, изощреніе и въ другихъ областяхъ человѣческой чувственности? Не увидятъ-ли и не услышатъ-ли дѣти дѣтей нашихъ то, чего и мы еще не видимъ и не слышимъ? Не откроется-ли имъ невѣдомое, не снившееся не только нашимъ отцамъ, нашимъ критикамъ, людямъ устарѣвшей впечатлительности, но и самымъ смѣлымъ и новымъ изъ насъ? И тогда, въ свою очередь, не будетъ-ли казаться наша современная „декадентская“ утонченность, которая такъ пугаетъ теперешнихъ старовѣровъ въ искусствѣ, первобытнымъ гомерическимъ здоровьемъ и даже грубостью? Въ этомъ неудержимомъ развитіи, движеніи, теченіи, гдѣ неподвижная мѣра для отдѣленія законнаго отъ беззаконнаго, здороваго отъ болѣзненнаго, естественнаго отъ извращеннаго?

Что было вчерашнимъ исключеніемъ, не становится-ли сегодняшнимъ правиломъ? И кто дерзнетъ сказать живой плоти, живому духу: „здѣсь остановитесь—нельзя идти далѣе?“ Почему именно здѣсь? Почему не дальше?

Какъ-бы то ни было, слава Л. Толстого заключается именно въ томъ, что онъ первый выразилъ,—и съ какою безстрашною искренностью,—эту новую, никѣмъ неисчерпанную, неисчерпаемую область нашей утончающейся тѣлесно-духовной чувствительности, и въ этомъ смыслѣ можно сказать, что онъ далъ намъ новое тѣло, какъ-бы новый сосудъ для новаго вина.

Апостолъ Павелъ раздѣляетъ существо человѣческое на три состава, заимствуя это раздѣленіе отъ философовъ александрійской школы: на человѣка тѣлеснаго, духовнаго и душевнаго. Послѣдній есть соединяющее звено между двумя первыми, нѣчто среднее, двойственное, переходное и сумеречное, уже не плоть, еще не духъ, то, чѣмъ завершается плоть и зачинается духъ, полу-животное, полубожеское, что, выражаясь на языкѣ современной науки, относится къ области психо-физіологіи—тѣлесно-духовныхъ явленій.

Л. Толстой есть величайшій изобразитель этого не тѣлеснаго и не духовнаго, а именно тѣлесно-духовнаго — *„душевнаго человѣка“*, той стороны плоти, которая обращена къ духу, и той стороны духа, которая обращена къ плоти,—таинственной области, гдѣ совершается борьба между Звѣремъ и Богомъ въ человѣкѣ: это вѣдь и есть борьба и трагедія всей его собственной жизни,—онъ вѣдь и самъ по преимуществу человѣкъ „душевный“, ни язычникъ, ни христіанинъ до конца, а вѣчно воскресающій, обращающійся и не могущій воскреснуть и обратиться въ христіанство, полу-язычникъ, полу-христіанинъ.

По мѣрѣ того, какъ удаляется онъ отъ этой средней

области въ ту или въ другую сторону, все равно — въ область-ли отвлеченной отъ человѣческаго и животнаго существа до животной природы, неживой или только кажущейся неживою, нестрастною, нестрадающею, „матеріальною“ (ужасное и благодатное спокойствіе которой такъ умѣютъ изображать Тургеневъ и Пушкинъ), или въ противоположную область отвлеченной отъ плоти, освобождающейся отъ животной природы, человѣческой духовности, чистой мысли (страстныя волненія которой такъ умѣютъ воплощать Достоевскій и Тютчевъ),—сила художественной изобразительности Л. Толстого уменьшается и даже, наконецъ, совершенно измѣняетъ, такъ что есть предѣлы, ему окончательно и навѣки недоступные. Но за то въ предѣлахъ душевнаго человѣка онъ — властелинъ безграничный.

Въ другихъ областяхъ искусства,—напримѣръ, въ живописи итальянскаго Возрожденія, въ ваяніи древнихъ грековъ, были художники, которые съ бо̀льшимъ совершенствомъ, чѣмъ Л. Толстой, изображали человѣка тѣлеснаго; современная музыка и отчасти литература глубже проникаютъ во внутренній міръ человѣка духовнаго, мыслящаго; но никогда и нигдѣ не являлся „человѣкъ духовный“ съ такою потрясающей правдою и обнаженностью, какъ въ произведеніяхъ Л. Толстого: тутъ нѣтъ у него не только соперниковъ во всемірной поэзіи, даже во всемірномъ искусствѣ, но нѣтъ и равнаго ему.

ВТОРАЯ ГЛАВА.

Тургеневъ писалъ по поводу „Войны и Мира“: „романъ Толстого—вещь удивительная, но самое слабое въ немъ именно то, чѣмъ восторгается публика: историческая сторона и психологія. Исторія его — фокусъ, битье тонкими мелочами по глазамъ... Гдѣ характерная черта эпохи? *Гдѣ историческая окраска*? Фигура Денисова нарисована прекрасно, но она хороша была-бы въ качествѣ арабески на заднемъ фонѣ,—но этого задняго фона нѣтъ“.

Приговоръ неожиданный, на первый взглядъ кажущійся даже несправедливымъ. Огромное, безконечно-разнообразное теченіе толстовскаго эпоса сначала такъ много даетъ *по пути*, что намъ въ самомъ дѣлѣ сначала и въ голову не приходитъ вопросъ, насколько ведетъ насъ этотъ путь къ предполагаемой имъ окончательной и главной цѣли. Но, въ концѣ концовъ, нельзя обойти этого столь естественно и легко забываемаго вопроса о томъ, въ какой именно мѣрѣ „Война и Міръ“—романъ все-таки прежде и послѣ всего *историческій* — дѣйствительно историченъ? Знакомыя историческія лица-портреты — Кутузовъ, Александръ I, Наполеонъ, Сперанскій—проходятъ передъ нами, совершаются знакомыя историческія событія—Аустерлицкое и Бородинское сраженія, пожаръ Москвы, отступленіе французовъ. Мы видимъ весь подвижно-неподвижный,

волнующійся и навсегда окаменѣвшій въ своемъ волненіи, „какъ вдругъ застывшія въ своемъ разбѣгѣ волны", обликъ Исторіи, остовъ ея; но облечены-ли эти нѣкогда живыя кости все еще живою плотью, дышетъ-ли въ ней духъ живой?

Духъ исторіи, духъ времени, то, что Тургеневъ называетъ „историческою окраскою"—какъ трудно, почти невозможно опредѣлить, въ чемъ собственно онъ заключается. Мы только знаемъ, что у каждаго вѣка есть свой особенный воздухъ, единственный, нигдѣ и никогда не повторяющійся *запахъ*, какъ у каждаго цвѣтка и у каждаго человѣка. Въ „Декамеронѣ" Боккачіо пахнетъ Италіей ранняго Возрожденія, въ „Панѣ Тадеушѣ" Мицкевича пахнетъ Литвою начала XIX вѣка, въ „Евгеніи Онѣгинѣ"—Россіей тридцатыхъ годовъ! И эта окраска, особенный отблескъ историческаго часа отражается не только на великомъ, но и на ничтожномъ,—какъ отблескъ утра или вечера отражается не только на вершинахъ, но и на каждой былинкѣ освѣщеннаго зарею горнаго хребта,—не только въ изреченіяхъ мудрецовъ, въ подвигахъ героевъ, но и въ модномъ покроѣ платья, въ устройствѣ женскаго головного убора, въ каждой мелочи домашней утвари.

Чѣмъ сильнѣе, чѣмъ жизненнѣе данная культура, тѣмъ упорнѣе, прилипчивѣе этотъ историческій запахъ, которымъ все въ ней пропитано. И по мѣрѣ того, какъ мы погружаемся въ ея изслѣдованіе, онъ вѣетъ изъ нея, охватываетъ насъ, какъ пронзительно тонкій и томный ароматъ изъ оставшейся запертой многіе годы, дѣдовской шкатулки, чуждый и знакомый, пробуждающій въ нашей душѣ цѣлые рои воспоминаній, отголосковъ, похожихъ на странную, тихую, за сердце хватающую музыку. Такъ отблескъ наполеоновскаго времени, стиля *empire* чувствуется не только въ торжественномъ слогѣ воззваній великаго

императора къ арміи передъ египетскими пирамидами, или въ статьяхъ законодательнаго кодекса, но и въ узорчатой вышивкѣ римскаго пурпура на бѣлой туникѣ императрицы Жозефины, и въ диванахъ и креслахъ, подобныхъ курульнымъ кресламъ древнихъ консуловъ изъ гладкаго бѣлаго дерева, съ прямыми спинками, съ позолоченными ободками и классическими вѣтками побѣдоносныхъ пальмъ.

При чтеніи „Войны и Мира“ очень трудно отдѣлаться отъ мало удивляющаго, но тѣмъ болѣе, ежели вдуматься, удивительнаго впечатлѣнія—будто-бы всѣ изображаемыя событія, несмотря на ихъ знакомый историческій обликъ, происходятъ въ наши дни, всѣ описываемыя лица, несмотря на портретность,—наши современники. Читателю нужно непрерывное усиліе воображенія и памяти, особенно тамъ гдѣ дѣйствіе переносится со сцены міровыхъ происшествій въ частную, семейную, внутреннюю жизнь, чтобы не забыть, что дѣйствіе это совершается между пятымъ и пятнадцатымъ, а не между шестидесятыми и семидесятыми годами только что прошедшаго вѣка, что его, читателя, отдѣляетъ отъ этихъ лицъ и событій историческая бездна почти цѣлаго столѣтія, и притомъ какого столѣтія,—равнаго двумъ-тремъ вѣкамъ менѣе бурныхъ историческихъ эпохъ. Воздухъ, котрымъ дышемъ мы въ „Войнѣ и Мирѣ“ и въ „Аннѣ Карениной“—одинъ и тотъ-же, историческій запасъ въ обоихъ эпосахъ—одинъ и тотъ-же: и здѣсь, и тамъ—одинаковая, столь знакомая намъ, атмосфера второй половины девятнадцатаго вѣка. Опять таки не во внѣшнемъ обликѣ событій, а во внутреннихъ оттѣнкахъ „исторической окраски“ есть-ли существенная разница между Аустерлицемъ, Бородинымъ и сраженіями въ „Севастопольскихъ Разсказахъ?“ Кромѣ нѣкоторыхъ историческихъ именъ, почти всѣ подробности первыхъ какъ легко перенести во вторыя и вторыхъ—въ первыя. Описывается

не сраженіе съ особенностями извѣстной исторической эпохи, а *вообще* сраженіе. Между масонствомъ Пьера Безухова и народничествомъ Левина, между семейнымъ бытомъ въ домѣ Ростовыхъ и въ домѣ Щербацкихъ—точно такъ-же мало разницы въ исторической окраскѣ Люди, рожденные и воспитанные въ пятидесятыхъ или семидесятыхъ годахъ XVIII столѣтія на Державинѣ, Сумароковѣ, Новиковѣ, Вольтерѣ, Дидро и Гельвеціусѣ, не только говорятъ нашимъ современнымъ языкомъ, но и думаютъ, и чувствуютъ самыми тайными, новыми, только-что вчера, кажется, родившимися и никѣмъ не выраженными, нашими мыслями и чувствами. Почти невозможно представить себѣ князя Андрея, съ его безпощадно острою, точною и холодною, уже чрезмѣрно утонченною, уже столь болѣзненною, *столь нашею* чувствительностью, современникомъ „Бѣдной Лизы", „Вадима", „Громобоя" и „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ". Не кажется-ли, что онъ прочелъ и прочувствовалъ не только Байрона, Лермонтова, но и Стендаля, Мэримэ, даже Флобера и Шопенгауэра? У Левина нѣтъ ни одного религіознаго сомнѣнія, которое могло-бы остаться чуждымъ и непонятнымъ Пьеру Безухову. Они не только духовные близнецы, но и однолѣтки, историческіе сверстники. Вся ихъ внѣшняя культурная оболочка, весь ихъ *нарядъ*, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова—*„costumi"*.—есть оболочка и нарядъ нашего времени. Вообразить Евгенія Онѣгина безъ „чайльд-гарольдова плаща", не въ модномъ платьѣ полурусскаго, полуангліискаго дэнди, современника Шатобріана и Байрона,—Татьяну не въ нарядѣ уѣздной барышни двадцатыхъ годовъ, такъ-же трудно, какъ Пьера Безухова въ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками, въ цвѣтномъ фракѣ съ блестящими пуговицами, или Наташу Ростову въ одеждѣ нашихъ пробабушекъ, какими видимъ мы ихъ на потускнѣвшихъ пор-

третахъ александровскаго вѣка. Мы, впрочемъ, и не думаемъ о культурной оболочкѣ этихъ лицъ, объ ихъ „нарядѣ“,—до такой степени намъ ясны ихъ наружность, ихъ тѣло и та сторона ихъ души, которая обращена къ тѣлу, ихъ „душевный человѣкъ“. И по мѣрѣ, того, какъ мы сживаемся съ ними, все болѣе и болѣе между ними и нами исчезаетъ преломляющая призма отдаленія, не потому, чтобы мы переносились въ ихъ время, а наоборотъ—потому, что они переносятся въ наше.

Кажется иногда, что не только читатель, но и самъ художникъ забываетъ объ этой призмѣ отдаленія и лишь изрѣдка, какъ-будто спохватившись, вводитъ какую-нибудь подробность историческаго быта, но сколь робкую, сколь бѣдную и безпомощную: кое-гдѣ мелькаютъ напудренный парикъ, лосины, плотно обтягивающія ляжки гвардейскаго поручика; старый князь Болконскій обращается къ дочери—„сударыня“, и однажды графиня Ростова, восхищаясь письмомъ сына Николушки, восклицаетъ: „Что за *штиль*!“ Но эти тусклыя, разрозненныя историческія пятнышки и черточки, рядомъ съ главными чертами живой современности,—насколько болѣе яркими и выпуклыми,—блѣднѣютъ, пропадаютъ безслѣдно или даже производятъ дѣйствіе обратное тому, котораго ждетъ авторъ,—удивляютъ своей неожиданностью, какъ анахронизмы, выдѣляясь на общемъ, современномъ фонѣ картины и напоминая объ отсутствіи исторической окраски въ основѣ произведенія. О внутренней, домашней обстановкѣ русскаго вельможи александровскаго времени встрѣчается на всемъ протяженіи „Войны и Мира“ одно упоминаніе, занимающее полъ строки: въ московскомъ дворцѣ стараго графа Безухова „стеклянныя сѣни съ двумя рядами статуй въ нишахъ“. Вотъ, кто не сталъ-бы тратить словъ, подобно Гомеру, съ его безконечнымъ описаніемъ чертоговъ царя Алкиноя,

на изображеніе внѣшности и внутренности человѣческаго жилища, расположеніе покоевъ, стѣнъ, кровли, потолковъ, столбовъ, стропилъ, перекладинъ и всѣхъ мелочей домашней утвари. Созданія рукъ человѣческихъ для творца „Иліады“ столь-же святы и благородны, какъ созданія божескихъ рукъ. Съ такою-же любовью, какъ землю, море, небо, описываетъ онъ предметы будничной житейской обстановки своихъ героевъ и сочувственной человѣку жизнью одушевляются у него ткань Пенелопы, щитъ Ахиллеса, плотъ Одиссея, амфоры съ благовоніями и корзины съ бѣльемъ, которое Навзикая несетъ полоскать на рѣку. Во всей надстройкѣ человѣческой культуры надъ міромъ стихійной природы, во всемъ изобрѣтенномъ людьми, не только художественномъ, но и ремесленномъ, промышленномъ, во всемъ *искусномъ*, которое никогда не кажется ему „искусственнымъ“,—чудится вѣщему старцу нѣчто сверхчеловѣческое, божески-прекрасное, издѣліе и выдумка хитроумнаго кузнеца Гефеста, нѣчто горящее огнемъ Прометея, похищеннымъ съ неба. И Пушкинъ, такъ понимающій прелесть дикой природы, въ то-же время радуется красотѣ созданія Петрова, „самаго умышленнаго изъ всѣхъ городовъ“, по выраженію Достоевскаго,—„чугунному узору“ въ „оградахъ“ петербургскихъ садовъ, „адмиралтейской иглѣ“, свѣтлѣющей въ безлунномъ блескѣ бѣлыхъ ночей, и даже моднымъ прихотямъ Онѣгина—разнообразнымъ щипчикамъ, щеточкамъ, пилочкамъ въ его уборной, сѣтуетъ,—въ сколь благозвучныхъ стихахъ,—на недостатки одесскихъ водопроводовъ и любуется веселой пестротой нижегородской ярмарки. Все культурное, все человѣческое, искусное, для Пушкина такъ-же значительно и, съ извѣстной точки зрѣнія, такъ-же *естественно*, какъ первобытно стихійное. У Мицкевича въ „Панѣ Тадеушѣ“ черты уютнаго старосвѣтскаго быта литовскихъ помѣщиковъ сливаются съ чер-

тами природы въ одно живое существо, въ одинъ одушевленный образъ Литвы, святой родины. Домашняя обстановка Плюшкина или Обломова есть продолженіе ихъ внутренняго существа: они вросли въ нее, какъ улитки въ раковину.

При неисчерпаемыхъ богатствахъ Л. Толстого въ другихъ областяхъ, тѣмъ поразительнѣе скудость не только исторической, но и вообще культурно-бытовой окраски въ его произведеніяхъ. Такъ называемыя „вещи“, смиренные и безмолвные спутники человѣческой жизни, неодушевленные, но легко одушевляющіеся, отражающіе образъ человѣческій, у Л. Толстого не живутъ, не дѣйствуютъ. Только въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ есть любовное описаніе домашней обстановки русской помѣщичьей семьи; впослѣдствіи однако, это сочувствіе къ быту сословія, изъ котораго онъ вышелъ, заглушается въ немъ и отравляется нравственнымъ осужденіемъ, преднамѣреннымъ сопоставленіемъ съ бытомъ простого народа. Но и этотъ народный бытъ, отъ „Поликушки“ до „Власти тьмы“, является все съ болѣе и болѣе мрачными тѣнями, не цѣлостнымъ, эпически-стройнымъ, благолѣпнымъ, (какъ у Кольцова и Пушкина), а полуразрушеннымъ, болѣзненно-искаженнымъ и обезображеннымъ городскою культурою. И, наконецъ, уже изображеніе всякаго быта, всякой человѣческой культуры, становится для него не средствомъ самостоятельнаго художественнаго дѣйствія, а только посылкою для отвлеченныхъ нравственныхъ выводовъ, осужденій и оправданій.

Дѣйствительная, никогда ему не измѣняющая, сила художественнаго освѣщенія сосредоточена у Л. Толстого, какъ мы видѣли, на тѣлесномъ обликѣ, на внѣшнихъ движеніяхъ и внутреннихъ состояніяхъ, ощущеніяхъ дѣйствующихъ лицъ, — на ихъ „душевномъ человѣкѣ“. По

мѣрѣ отдаленія отъ этого средоточія свѣтъ слабѣетъ, такъ что мы все съ меньшею и меньшею ясностью различаемъ ихъ одежды, подробности ихъ домашняго быта, внутреннюю обстановку ихъ жилищъ, уличную жизнь тѣхъ городовъ, въ которыхъ они обитаютъ, и наконецъ, всего менѣе ту умственную и нравственную атмосферу, тотъ культурно-историческій воздухъ, который образуется не только всѣмъ истиннымъ, вѣчнымъ, но и предразсудочнымъ, условнымъ, искусственнымъ, что свойственно каждому времени. Масонство Пьера Безухова — неудачный опытъ въ этомъ родѣ, и Л. Толстой впослѣдствіи уже никогда не возвращался къ подобнымъ опытамъ. Пушкинская Татьяна слушаетъ сказки няни, размышляетъ надъ простодушнымъ Мартыномъ Задекою и надъ чувствительнымъ Мармонтелемъ. Намъ ясно, какъ Дарвинъ и Молешоттъ подѣйствовали на Базарова, какъ онъ долженъ относиться къ Пушкину или Сикстинской Мадоннѣ. Намъ хорошо извѣстны книги, изображающія любовную страсть, которыя прочла madame Bovary, и какъ именно повліяли онѣ на зарожденіе и развитіе ея собственной страсти. Но тщетно старались-бы мы угадать, кто больше нравится Аннѣ Карениной,—Лермонтовъ или Пушкинъ, Тютчевъ или Боратынскій. Ей, впрочемъ, не до книгъ. Кажется, что эти глаза, которые такъ умѣютъ плакать и смѣяться, блистать любовью и ненавистью, вовсе не умѣютъ читать и смотрѣть на произведенія искусства.

А вѣдь въ дѣйствительности душа современнаго человѣка не только въ отвлеченныхъ мысляхъ, но и въ самыхъ жизненныхъ чувствахъ своихъ состоитъ изъ безчисленныхъ вліяній, наслоеній, *навожденій* прошлыхъ вѣковъ и культуръ. Кто изъ насъ не живетъ двумя жизнями,—дѣйствительною и отраженною? Изслѣдователь души современныхъ людей не можетъ безнаказанно пренебрегать этою

связью двухъ жизней.—Л. Толстой пренебрегъ ею: никто изъ художниковъ такъ не вылущиваетъ, не обнажаетъ внутренняго животно-стихійнаго, „душевнаго“ человѣческаго ядра изъ внѣшней культурно-исторической скорлупы, какъ онъ. Все надстроенное человѣкомъ надъ природою, все культурное—для него только условное, только искусственное и, слѣдовательно, лживое, нелюбопытное, незначительное. Съ легкимъ сердцемъ проходитъ онъ мимо, торопясь изъ этого воздуха, кажущагося ему зараженнымъ, испорченнымъ человѣческими дыханіями, на свѣжій воздухъ всего стихійно-животнаго, естественнаго, какъ предмета, единственно достойнаго художественнаго изображенія, какъ вѣчной правды и природы.

Но и здѣсь, на послѣднихъ ступеняхъ стихійности, дочеловѣческой и до-животной, отдѣльной отъ человѣка, вселенской природы, кажущейся одушевленною, иною, нечеловѣческою жизнью, какъ и тамъ, на послѣднихъ ступеняхъ человѣческой духовности и сознательности, есть предѣлы, навѣки ему недоступные.

Пушкинъ разрѣшалъ противоположность человѣческаго сознанія и стихійной безсознательности природы въ совершенно ясную, хотя и безнадежную гармонію:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И *равнодушная природа*
Красою вѣчною сіять.

У Лермонтова эта противоположность становится болѣзненнѣе и неразрѣшимѣе:

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля въ сіяньи голубомъ.
Что-же мнѣ такъ больно и такъ трудно
. . . . . .

Средь полей необозримыхъ
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
Облаковъ неуловимыхъ
Волокнистыя стада.

. . . . . .

Въ день томительный несчастья
Ты о нихъ лишь вспомяни:
Будь къ земному безъ участья
И безпеченъ какъ они.

Какъ будто на совершенное соединеніе съ природою онъ уже не надѣется, не говоритъ: „будь ими“, а только: „будь, какъ они“.

У Тютчева противорѣчіе это обостряется еще болѣе—до невыносимаго „разлада“.

Откуда, какъ разладъ возникъ?
И отчего-же въ общемъ хорѣ
Душа не то поетъ, что море,
И ропщетъ мыслящій тростникъ?

Наконецъ, самую сущность отношенія Тургенева къ природѣ составляетъ этотъ разладъ между ропотомъ „мыслящаго тростника“ и безмысленною ясностью природы, доведенный уже до послѣдней крайности.

У Л. Толстого отношеніе къ природѣ—двойственное: для его сознанія, желающаго быть христіанскимъ, природа есть нѣчто темное, злое, звѣриное или даже бѣсовское, „то, что христіанинъ долженъ въ себѣ побѣждать и преображать въ царствіе Божіе“. Для его безсознательной языческой стихіи, человѣкъ сливается съ природою, исчезаетъ въ ней, какъ капля въ морѣ.—Олениннъ, проникшись мудростью дяди Ерошки, чувствуетъ себя въ лѣсу насѣкомымъ среди насѣкомыхъ, листомъ среди листьевъ, звѣремъ среди звѣрей. Онъ не сказалъ-бы, подобно Лер-

монтову: „будь, какъ они“, потому что онъ—уже „они“. Въ „Трехъ Смертяхъ“, умирающая барыня, несмотря на внѣшнюю сословную оболочку культурности, такъ мало мыслитъ, что здѣсь въ голову не приходитъ сопоставлять ропотъ „мыслящаго тростника“ съ безропотностью умирающаго дерева. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, и въ христіанскомъ сознаніи, и въ языческой стихіи, у Л. Толстого отсутствуетъ противоположеніе человѣка природѣ: въ первомъ случаѣ природа поглощается человѣкомъ, во второмъ—человѣкъ природою.

Пушкинъ слышитъ въ тишинѣ ночной

Парки бабье лепетанье.

Для Тютчева есть „нѣкій часъ всемірнаго молчанья“, когда сумракъ сгущается,

... какъ хаосъ, на водахъ.
Безпамятство, какъ Атласъ, давитъ сушу.
Лишь Музы дѣвственную душу
Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ.

И въ бездыханныхъ іюльскихъ ночахъ у него

Однѣ зарницы огневыя,
Какъ демоны глухо-нѣмые,
Ведутъ бесѣду межъ собой.

У Тургенева тоже, какъ демоны, ведутъ бесѣду о человѣчествѣ, объ этой жалкой плѣсени на поверхности земного шара, ледяныя вершины Финстеръ-Аргорна и Шрекгорна въ пустынномъ блѣдно-зеленомъ небѣ.

Ни боги, ни демоны природы никогда не тревожили музы Л. Толстого въ „пророческихъ снахъ“, никогда не слышалось ему въ тиши ночной „Парки бабье лепетанье“,

небесный сводъ не казался ему, какъ Лермонтову, такимъ прозрачно-глубокимъ,

Что даже ангела полетъ
Прилежный взоръ слѣдить-бы могъ.

И ручей не шепталъ ему

... таинственныя саги
Изъ чудныхъ странъ, откуда мчится онъ.

И ночной вѣтеръ не твердилъ ему, какъ Тютчеву, „о непонятной мукѣ“

Понятнымъ сердцу языкомъ
. . . . . .
Про древній хаосъ, про родимый.

Любитъ-ли онъ природу? Можетъ быть, чувство его къ ней сильнѣе, глубже того, что́ люди называютъ „любовью къ природѣ“. Если онъ и любитъ ее, то не какъ отдѣльное, чуждое человѣку и все-таки человѣкоподобное, полное божескими и демоническими силами, вселенское существо, а какъ животно-стихійное *продолженіе* своего собственнаго существа, какъ „душевнаго человѣка“. Онъ любитъ себя въ ней и ее въ себѣ, безъ восторженнаго болѣзненнаго трепета, безъ опьянѣнія,—тою великою трезвою любовью, которою любили ее древніе, и которою уже не умѣетъ любить ее никто изъ современныхъ людей. Сила и слабость Л. Толстого заключается именно въ томъ, что никогда не могъ онъ до конца, до совершенной ясности отличить культурнаго отъ стихійнаго, выдѣлить человѣка изъ природы.

Потусторонній мракъ, потусторонняя тайна есть и для него въ природѣ; но это—мракъ и тайна, полные лишь отталкивающаго ужаса. Иногда и для него внезапно при

подымается покровъ явленій, тотъ „золотой коверъ“ дневного свѣта, о которомъ говоритъ Тютчевъ:

Святая ночь на небосклонъ взошла
И день отрадный, день любезный,
Какъ золотой коверъ, она свила,—
Коверъ, накинутый надъ бездной.

Но за этимъ приподнятымъ покровомъ видитъ Л. Толстой не „живую колесницу мірозданья, открыто катящуюся въ святилище небесъ“, не „ангеловъ полетъ“, а лишь ту бездонно-черную, страшную дыру,—„мѣшокъ“, въ который просовывается и все не можетъ просунуться Иванъ Ильичъ, со своимъ нечеловѣческимъ крикомъ: „не хочу-у-у!“ И въ голосѣ „ночного вѣтра“ слышится Л. Толстому лишь тотъ безнадежный шелестъ сухого чернобыльника въ снѣжной пустынѣ, подъ вьюгою, который такъ пугаетъ замерзающаго Брехунова въ „Хозяинѣ и Работникѣ“.—А пока дневной покровъ опущенъ,—все ясно, все явно, онъ видитъ природу такъ, какъ она есть, и никогда этотъ „золотой коверъ“ не становится для него прозрачнымъ, сквозящимъ, просвѣчивающимъ.

Одно изъ двухъ: или сонъ, или явь; или совершенный мракъ, или совершенный свѣтъ. Но мракъ никогда для него не сливается со свѣтомъ, сонъ съ явью: ни утренней, ни вечерней мглы, заволакивающей природу для Тютчева и Лермонтова „пророческими снами“. Въ отношеніи Л. Толстого къ природѣ такъ-же, какъ во всемъ его столь многоцвѣтномъ, многозвучномъ геніи,—ничего призрачнаго, сумеречно-звѣзднаго, мерцающаго, подобнаго лермонтовскимъ „таинственнымъ сагамъ“ или пиѳійскому лепету пушкинской Парки,—ничего сказочнаго волшебнаго и чудеснаго.

Мы увидимъ впослѣдствіи, что одинъ только разъ во

всемъ своемъ огромномъ творчествѣ коснулся онъ этихъ, казалось-бы, навѣки недоступныхъ ему предѣловъ, гдѣ сверхъестественное граничитъ съ естественнымъ, являясь уже не въ немъ, а за нимъ, сквозь него.

Но тутъ онъ какъ-бы самого себя „преодолѣлъ“, какъ бы „вышелъ изъ себя“. Это именно та чрезмѣрность, та послѣдняя побѣда надъ собственною природою, то кажущееся невозможнымъ чудо, которыя суть признаки величайшаго генія. Впрочемъ, коснувшись лишь этихъ предѣловъ, онъ не переступилъ за нихъ и отошелъ.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА.

По поводу первыхъ частей „Войны и Мира“ Флоберъ писалъ Тургеневу:

„Благодарю за то, что Вы дали мнѣ прочесть романъ Толстого. Это нѣчто перворазрядное! Какой живописецъ и какой психологъ! Первые два тома превосходны, но третій падаетъ ужасно—dégringole affreusement. Онъ повторяется и философствуетъ! Въ концѣ концовъ виденъ господинъ—le monsieur—авторъ и русскій, тогда какъ до тѣхъ поръ видны были только Природа и Человѣчество“.

Отзывъ—нѣсколько торопливый и поверхностный. Флоберъ не столько, видимо, вникаетъ въ свое впечатлѣніе, сколько удивляется и даже, какъ будто, не вполнѣ довѣряетъ ему: словно никакъ не ожидалъ онъ такого огромнаго явленія, своего рода художественнаго Левіаѳана въ полуварварской, невѣдомой Россіи. „Я вскрикивалъ отъ восторга во время чтенія,—признается онъ,—а оно длинно! Да, это сильно, очень сильно!“

Но вотъ, что̀ во всякомъ случаѣ любопытно: сразу, съ перваго-же взгляда, замѣтилъ Флоберъ поразительныя неровности, „ужасныя паденья“, соскальзыванія, провалы въ творчествѣ Л. Толстого. И въ самомъ дѣлѣ, невозможно не почувствовать, даже при поверхностномъ чтеніи „Войны и Мира“ или „Анны Карениной“, двухъ складовъ рѣчи

двухъ языковъ, двухъ теченій, которыя стремятся рядомъ, соприкасаясь, но никогда не смѣшиваясь,—какъ масло съ водою.

Тамъ, гдѣ изображаетъ онъ дѣйствительность, въ особенности животно-стихійнаго, „душевнаго“ человѣка, языкъ его отличается такою простотою, силою и точностью, какихъ русскій языкъ, можетъ быть, никогда и ни у кого еще не достигалъ. И если онъ какъ будто иногда слишкомъ старается, подчеркиваютъ, упорствуетъ, „пристаетъ къ читателю“, если, по сравненію съ окрыленною легкостью пушкинской прозы, едва касающейся предмета, словно парящей надъ нимъ, языкъ Л. Толстого кажется тяжелымъ, то вѣдь это тяжесть и упорство титана, который громоздитъ глыбы на глыбы. Рядомъ съ этими циклопическими громадами какими изумительными кажутся заостренныя и, однако, твердыя какъ алмазныя иглы, тонкости чувственныхъ наблюденій.

Но только что начинается отвлеченная психологія не „душевнаго“, а *духовнаго* человѣка, размышленія, „философствованія“, по выраженію Флобера, „умствованія“, по выраженію самого Л. Толстого,—только что дѣло доходитъ до нравственныхъ переворотовъ Безухова, Нехлюдова, Позднышева, Левина,—происходитъ нѣчто странное: „il dégringole affreusement“—„онъ ужасно падаетъ“; языкъ его какъ будто сразу истощается, изсякаетъ, изнемогаетъ, блѣднѣетъ, обезсиливаетъ, хочетъ и не можетъ, судорожно цѣпляется за изображаемый предметъ и все-таки упускаетъ его, не схвативъ, какъ руки человѣка разбитаго параличемъ.

Изъ множества примѣровъ приведу лишь нѣсколько на удачу.

„Какое-же можетъ быть заблужденіе, — говоритъ Пьеръ,—*въ томъ, что* я желалъ... сдѣлать добро... И я это

сдѣлалъ хоть плохо, хоть немного, но сдѣлалъ кое-что для этого, и вы не только меня не разувѣрите *въ томъ, что то, что* я сдѣлалъ, хорошо, но и не разувѣрите, чтобы вы сами этого не думали".

Объ отношеніи къ болѣзни Наташи отца ея графа Ростова и сестры Сони: „какъ-бы переносилъ графъ болѣзнь своей любимой дочери, *ежели-бы* онъ не зналъ, что *ежели* она не поправится, то онъ не пожалѣетъ еще тысячъ и повезетъ ее за границу... Что-бы дѣлала Соня, *ежели-бы* у нея не было радостнаго сознанія *того, что* она не раздѣвалась три ночи *для того, чтобы* быть наготовѣ исполнять въ точности всѣ предписанія доктора, и *что* она теперь не спитъ ночи *для того, чтобы* не пропустить часы, въ которые нужно давать пилюли... И даже ей радостно было *то, что она,* пренебрегая исполненіемъ предписаннаго, могла показывать, *что она* не вѣритъ въ лѣченіе".

О лицемѣрной заботливости жены Ивана Ильича: „она все надъ нимъ дѣлала только для себя и говорила ему, что она дѣлаетъ для себя то, что она точно дѣлала для себя, какъ такую невѣроятную вещь, что онъ долженъ былъ понимать это обратно". — Вотъ настоящая загадка. Какое напряженіе сообразительности необходимо, чтобы распутать этотъ грамматическій клубокъ, въ которомъ заключена простая мысль.

Другая загадка—въ томъ-же родѣ, но еще сложнѣе и запутаннѣе: „досадуя на жену *за то, что* сбывалось *то, чего* онъ ждалъ, именно *то, что* въ минуту пріѣзда, тогда какъ у него сердце захватывало отъ волненія при мысли о *томъ, что* съ братомъ, ему приходилось заботиться о ней *вмѣсто того,* чтобы бѣжать тотчасъ-же къ брату,— Левинъ ввелъ жену въ отведенный имъ нумеръ".

Это безпомощное топтаніе все на одномъ и томъ-же мѣстѣ, эти ненужныя повторенія все однихъ и тѣхъ-же

словъ,—„для того, чтобы“, „вмѣсто того, чтобы“, „въ томъ, что то, что“,—напоминаютъ шепелявое бормотаніе болтливаго и косноязычнаго старца Акима. Въ этихъ однообразно заплетающихся и спотыкающихся предложеніяхъ—тяжесть бреда. Кажется, что не тотъ великій художникъ, который только-что съ такою потрясающею силою, точностью и простотою рѣчи изображалъ войну, народныя движенія, дѣтскія игры, охоту, болѣзни, роды, смерть,—заговорилъ другимъ языкомъ, а что это вообще совсѣмъ другой человѣкъ, иногда странно похожій на Л. Толстого, какъ двойники бываютъ похожи, но по существу ему противоположный, его уничтожающій,—что это смиренный старецъ Акимъ заговорилъ послѣ дяди Ерошки, „великаго язычника“.

Попадаются такія нарушенія самыхъ основныхъ грамматическихъ правилъ, которыя можно-бы счесть за случайныя описки, если-бы не повторялись онѣ столь упорно часто. Напримѣръ, въ четвертой части „Войны и Мира“: „ему и въ голову не приходило, *чтобы* такое веселое для него препровожденіе времени *могло-бы* быть для кого-нибудь не весело“. Это „чтобы—могло-бы“ ошибка, которой не сдѣлалъ-бы гимназистъ третьяго класса, да и всѣ остальныя грамматическія оплошности Л. Толстого безъ труда исправилъ-бы учитель русской грамматики. Кажется, что онъ не обращаетъ на нихъ вниманія по преднамѣренной небрежности.

Даже та, обыкновенно столь чуткая и требовательная у него, какъ у всѣхъ великихъ мастеровъ слова, чувствительность къ звуковому построенію рѣчи, которую называетъ Нитче *совѣстью ушей*, измѣняетъ ему въ этихъ случаяхъ. У него встрѣчаются такія, напримѣръ, „безсовѣстныя“ сочетанія звуковъ: „мужъ ужъ жалокъ“. Нельзя себѣ представить, чтобы послѣ семи переписокъ Софіей

Андреевной, и, слѣдовательно, послѣ, по крайней мѣрѣ, сорока или пятидесяти просмотровъ „Войны и Мира“ самимъ Львомъ Николаевичемъ, все-таки не замѣтилъ онъ этого безобразно шипящаго и жужжащаго соприкосновенія трехъ *ж*. По всей вѣроятности, оно казалось ему „естественнымъ“: развѣ въ живомъ разговорѣ люди заботятся о красивомъ сочетаніи звуковъ?

Какъ будто языкъ его, этотъ укрощенный, но все еще вольный и дикій, въ лѣсъ смотрящій звѣрь, вдругъ возмущается и окончательно отказывается служить. Художникъ борется съ нимъ яростно, подчиняя чуждому строю мыслей и чувствъ, ломаетъ, калѣчитъ, уродуетъ, втискивая въ прокрустово ложе христіанскихъ „умствованій“. Нѣтъ зрѣлища болѣе жалкаго и поучительнаго, чѣмъ эта борьба великаго писателя съ собственнымъ языкомъ.

И усмиривъ его, долго еще не можетъ онъ простить, насилуетъ его, уже безъ нужды, изъ властной прихоти, изъ мести, точно хвастаетъ своими небрежностями, своимъ презрѣніемъ къ нему. Не только, впрочемъ, относительно языка у него—особое, свойственное аскетамъ, щегольство цинизмомъ, нарушеніемъ правилъ внѣшняго приличія и пристойности. Онъ словно говоритъ читателямъ: „вамъ кажется слогъ мой недостаточно изящнымъ? Какъ будто я забочусь о слогѣ! Я говорю, что думаю, — мысли мои сами за себя постоятъ“. Но, благодаря именно этому чрезмѣрному стремленію къ простотѣ, къ разговорной естественности, впадаетъ онъ въ тотъ самый недостатокъ, котораго всего больше страшился—въ особый родъ изысканности, можетъ быть, наиболѣе утонченной, въ „изысканность простоты“, если можно такъ выразиться, въ искусственность безыскусственнаго.

Тургеневу казалась психологія въ „Войнѣ и Мирѣ“ слабою. „Какой психологъ!“—восхищается Флоберъ по по-

воду той-же „Войны и Мира“. Эти два отзыва, сколь ни кажутся они противорѣчивыми, возможно примирить.

Чѣмъ ближе Л. Толстой къ тѣлу или къ тому, что соединяетъ тѣло съ духомъ,—къ животно-стихійному, „душевному человѣку“,—тѣмъ вѣрнѣе и глубже его психологія или, точнѣе, его *психофизіологія*. Но, по мѣрѣ того, какъ, покидая эту, всегда подъ нимъ твердую и плодотворную, почву, переноситъ онъ свои изслѣдованія въ область независимой, отвлеченной отъ тѣла духовности, сознательности,—не страстей сердца, а *страстей ума* (ибо у человѣческаго ума есть такъ-же, какъ у человѣческаго сердца, свои страсти, не менѣе сложныя и глубокія,—Достоевскій великій изобразитель этихъ именно *страстей ума*),— „психологія“ Л. Толстого становится сомнительной.

Нельзя не повѣрить тому, что минута, когда Николай Ростовъ увидѣлъ въ водомойнѣ копошившихся съ затравленнымъ волкомъ собакъ, одна изъ которыхъ держала звѣря за горло, — была дѣйствительно „счастливѣйшею минутою въ жизни“ Ростова. Но христіанскія чувства, въ особенности христіанскія мысли Иртеньева, Оленина, Безухова, Левина, Позднышева, Нехлюдова возбуждаютъ множество сомнѣній. Написанныя не только другимъ языкомъ, но даже, какъ будто, другимъ человѣкомъ, всѣ эти изображенія религіозныхъ и нравственныхъ переворотовъ выдѣляются на основной ткани произведенія такъ рѣзко и странно, какъ заплаты; ясное теченіе эпоса эти куски отвлеченныхъ „умствованій“ прерываютъ огромными, расплывающимися, туманными пятнами; они не вытекаютъ, не выростаютъ, вслѣдствіе непреложной внутренней необходимости, изъ живого дѣйствія и ничего не прибавляютъ къ нему. Ихъ можно-бы сократить или даже вовсе исключить не только безъ ущерба, но съ выгодой для архитектурной стройности всего произведенія.

Въ этихъ именно мѣстахъ *„психологія“* Л. Толстого напоминаетъ старинную восточную басню о юношѣ, который, желая узнать, что заключается внутри луковицы, сталъ снимать шелуху за шелухою, кожицу за кожицею; но когда снялъ послѣднюю, то отъ луковицы ничего или почти ничего не осталось. Точно также Л. Толстой, доискиваясь вѣчной правды, послѣдняго естественнаго ядра человѣческихъ чувствъ, снимаетъ съ него шелуху за шелухою, условность за условностью, ложь за ложью; но въ концѣ концовъ, отъ того, что было, можетъ быть, и нечистымъ, и двойственнымъ, невинно-порочнымъ, христіански-языческимъ, но все-таки подлинно-живымъ, понятнымъ человѣческимъ чувствамъ, несомнѣнно существовавшей „луковицей“,—ничего или почти ничего не остается: мы готовы даже усумниться, было-ли вообще какое либо чувство, или его не было вовсе,—такъ что послѣ всѣхъ этихъ психологическихъ раскопокъ, вылущиваній и обнаженій мы знаемъ о немъ меньше, чѣмъ до нихъ.

Иртеньева, героя „Дѣтства и Отрочества“, мы видимъ до конца: онъ ясенъ и человѣчески-близокъ намъ, какъ незабываемо-милый товарищъ нашего собственнаго дѣтства и отрочества. Мы видимъ также, хотя уже съ меньшею ясностью, Пьера Безухова, мужиковатаго и сильнаго русскаго барина, съ добродушнымъ, откровеннымъ лицомъ, съ близорукимъ и внимательно-задумчивымъ, но не умнымъ взоромъ. У Пьера—если не живая личность, то, по крайней мѣрѣ, живое лицо и ужъ, конечно, живое тѣло. Съ еще меньшею ясностью мы видимъ Левина, „бурлака-философа“, хотя уже не совсѣмъ увѣрены, что онъ существуетъ, самъ по себѣ и самъ для себя. Все чаще и чаще выглядываетъ изъ-за Левина Левъ Николаевичъ, „господинъ и авторъ“,—le monsieur et l'auteur. Но Позднышева въ „Крейцеровой Сонатѣ“ и Нехлюдова въ „Воскре-

сеніи“ мы уже окончательно не видимъ. Позднышевъ, какъ нарочно, разсказываетъ свою страшную повѣсть въ темномъ вагонѣ, такъ что лица его нельзя разсмотрѣть. „Въ полусвѣтѣ зари, — говоритъ Л. Толстой, — мнѣ совсѣмъ уже *не видно было Позднышева*. Слышенъ былъ только его все болѣе и болѣе взволнованный, страдающій голосъ“. Онъ весь—какъ-бы одинъ звукъ этого страдающаго голоса, да развѣ еще—горячечнымъ, полубезумнымъ огнемъ „блестящіе глаза“. Въ этихъ глазахъ и голосѣ сосредоточилась вся жизнь его ума, души и тѣла. Но и голоса Нехлюдова, героя „Воскресенія“, мы не слышимъ. Это—уже кристаллически-правильное, прозрачное, безжизненное отвлеченіе, нравственно-религіозная посылка для нравственно-религіознаго вывода. Вотъ, кто никогда не взбунтуется противъ творца своего, не скажетъ и не сдѣлаетъ неожиданнаго. Это—существо не только безличное, но и безликое, уныло-сѣрый паукъ уныло-сѣрой паутины христіанскихъ „умствованій“. Это—механически-послушный музыкальный приборъ для усиленія и сосредоточенія звука, вродѣ резонатора или рупора, которымъ находящійся за нимъ „господинъ авторъ“ проповѣдуетъ свои нравственныя теоремы.

Л. Толстой—великій творецъ человѣческихъ тѣлъ и только отчасти человѣческихъ душъ, — именно въ той сторонѣ ихъ, которая обращена къ тѣлу, къ безсознательнымъ, животно-стихійнымъ корнямъ жизни. Но творецъ-ли онъ живыхъ человѣческихъ личностей, того, что называется „характерами“?

Несомнѣнно, что они зачинаются у него, завязываются и образуются; но разрѣшаются-ли, завершаются-ли, становятся-ли отдѣльными, особенными, единственными и цѣлостными живыми существами?

Изображенія человѣческихъ личностей у Л. Толстого напоминаютъ тѣ полувыпуклыя человѣческія тѣла на го-

рельефахъ, которыя, кажется, иногда, вотъ-вотъ отдѣлятся отъ плоскости, въ которой изваяны и которая ихъ удерживаетъ, окончательно выйдутъ и станутъ передъ нами, какъ совершенныя изваянія, со всѣхъ сторонъ видимыя, осязаемыя; но это обманъ зрѣнія: никогда не отдѣлятся они окончательно, изъ полукруглыхъ не станутъ совершенно-круглыми, — никогда не увидимъ мы ихъ *съ другой стороны*.

Въ образѣ Платона Каратаева художникъ сдѣлалъ какъ-бы невозможное возможнымъ: сумѣлъ опредѣлить живую, или, по крайней мѣрѣ, на время кажущуюся живою личность въ безличности, въ отсутствіи всякихъ опредѣленныхъ чертъ и острыхъ угловъ, въ особенной „круглости", впечатлѣніе которой поразительно-наглядное, даже какъ-будто геометрическое, возникаетъ, впрочемъ, не столько изъ внутренняго, духовнаго, сколько изъ внѣшняго, тѣлеснаго облика: у Каратаева „круглое тѣло", круглая голова", „круглыя движенія", „круглыя рѣчи", „что-то круглое" — даже въ запахѣ. Онъ молекула, онъ первый и послѣдній, самое малое и самое великое,—начало и конецъ. Онъ самъ по себѣ не существуетъ: онъ — только часть Всего, капля въ океанѣ всенародной, всечеловѣческой, вселенской жизни. И эту жизнь воспроизводитъ онъ своею личностью или безличностью такъ-же, какъ водяная капля своею совершенною *круглостью* воспроизводитъ міровую сферу. Какъ-бы то ни было—чудо искусства или геніальнѣйшій обманъ зрѣнія совершается, почти совершился. Платонъ Каратаевъ, несмотря на свою безличность, кажется личнымъ, особеннымъ, единственнымъ. Но намъ хотѣлось-бы узнать его до конца, увидѣть съ другой стороны.—Онъ добръ; но, можетъ-быть, онъ хоть разъ въ жизни на кого-нибудь подосадовалъ? онъ цѣломудренъ; но, можетъ быть, онъ взглянулъ хоть на одну женщину

не такъ, какъ на другихъ? онъ говоритъ пословицами; но, можетъ быть, онъ вставилъ хоть однажды въ эти изреченія слово отъ себя? Только-бы одно слово, одна непредвидѣнная черточка нарушила эту слишкомъ правильную, математически-совершенную „круглость“,—и мы повѣрили-бы, что онъ человѣкъ изъ плоти и крови, что онъ есть.

Но, именно въ минуту нашего самаго пристальнаго и жаднаго вниманія, Платонъ Каратаевъ, какъ нарочно, умираетъ, исчезаетъ, растворяется,—водяной шарикъ въ океанѣ. И когда онъ еще болѣе опредѣляется въ смерти, мы готовы признать, что ему и нельзя было опредѣлиться въ жизни, въ человѣческихъ чувствахъ мысляхъ и дѣйствіяхъ: онъ и не жилъ, а только *былъ*, именно былъ „совершенно-круглымъ“ и этимъ исполнилъ все свое назначеніе, такъ что ему оставалось лишь умереть. И въ памяти нашей такъ-же, какъ въ памяти Пьера Безухова, Платонъ Каратаевъ навѣки запечатлѣвается не живымъ *лицомъ*, а только живымъ *„олицетвореніемъ* всего русскаго, добраго и круглаго“, то-есть огромнымъ, всемірно-историческимъ религіознымъ и нравственнымъ обобщеніемъ.

Нѣчто подобное происходитъ и съ личностью князя Андрея.

Мы уже видимъ его или угадываемъ; онъ становится для насъ все понятнѣе въ своихъ живыхъ протирѣчіяхъ, въ соединеніи холоднаго ума съ пылкой мечтательностью, презрѣнія къ людямъ съ неутолимою жаждою славы — „людской любви“, внѣшней аристократической жесткости съ тайною нѣжностью, какъ-бы дѣтски-беззащитной впечатлительностью сердца.

Но вотъ опять, какъ нарочно, именно въ ту минуту, когда еще бы, кажется, лишь нѣсколько ударовъ рѣзца— и человѣческій обликъ окончательно изваялся-бы,—князь

15*

Андрей начинаетъ умирать. Въ противоположность Каратаеву, умираетъ онъ долго и трудно, ибо вся личность его состоитъ изъ такихъ опредѣленныхъ чертъ, изъ такихъ острыхъ угловъ, что смерти нужно много времени, чтобы сгладить эти живые углы и грани до совершенной „круглости“ первоначальной молекулы, водянаго шарика, готоваго слиться съ океаномъ. И смерть укатываетъ, округляетъ его медленно, какъ волна морского прибоя округляетъ, острый камень.

Во время безконечнаго умиранія, въ бреду и въ мукахъ, въ отчаяніяхъ и просвѣтленіяхъ — изъ-за живого лица его выступаетъ новое, чуждое, страшное. И этимъ *вторымъ лицомъ* до такой степени заслоняется, поглощается первое, вся жизнь князя Андрея, всѣ его живыя мысли, чувства, дѣйствія кажутся теперь такими ничтожными, что въ нашей памяти навѣки остается не жизнь, а только „смерть князя Андрея“, не живая, особенная личность,— а только это непостигаемое, нечеловѣческое, потустороннее, второе лицо его.

Но вотъ Наташа Ростова: она ужъ, кажется, вся живая, вся родная, здѣшняя, близкая, вся особенная и единственная. Какъ нѣжно и крѣпко завязанъ узелъ ея человѣческой личности. Изъ какихъ неуловимо-тонкихъ и разнообразныхъ оттѣнковъ духовно-тѣлесной жизни сотканъ этотъ „чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ“. Подобно пушкинской Татьянѣ, воплощаетъ она какъ-бы музу поэта, отражаетъ его собственное внутреннее лицо въ зеркалѣ „вѣчно-женственнаго“.

И тутъ, однако, именно въ то время, когда образъ Наташи, завершаясь, достигаетъ высшей прелести, художникъ вводитъ одну мгновенную, но поразительно глубокую, незабываемую черточку. Дѣло происходитъ въ полѣ во время охоты: собаки только-что затравили зайца; одинъ

изъ охотниковъ отпазанчилъ и потряхивалъ зайца, чтобы стекала кровь. Всѣ взволнованные, красные, задыхающіеся, въ необыкновенномъ возбужденіи хвастаютъ и разсказываютъ обстоятельства травли. „Въ то-же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала такъ пронзительно, что въ ушахъ звенѣло. Она этимъ визгомъ выражала все то, что̀ выражали и другіе охотники своимъ единовременнымъ разговоромъ. И визгъ этотъ былъ такъ страненъ, что она сама должна-бы была стыдиться этого дикаго визга, и всѣ-бы должны были удивляться ему, ежели-бы это было въ другое время".

Въ дикомъ охотничьемъ визгѣ свѣтской молодой дѣвушки сказывается то незапамятно-древнее, стихійно-животное, звѣроловное, лѣсное, лѣшее, что̀, переживъ тысячелѣтія культуры, до сихъ поръ еще дѣлаетъ привлекательной, иногда для самыхъ утонченныхъ изъ насъ, столь, повидимому, безсмысленную и безчеловѣчную забаву, какъ травля звѣрей. Прелестныя черты Наташи, искаженныя первобытною страстью, не разлагаются-ли въ это мгновеніе до неузнаваемости? Не выступаетъ-ли изъ-за милаго, столь знакомаго, родного лица ея иное, чуждое и странное, почти жуткое *второе лицо*, можетъ быть, напоминающее лицо самаго глубокаго и первозданнаго образа во всемъ толстовскомъ творчествѣ—лицо дяди Ерошки, „великаго ловца передъ Господомъ", который, по всей вѣроятности, точно такъ-же визжалъ и ревѣлъ, отъ восторга, затравивъ кабана?—Черточка мимолетная, какъ-будто безслѣдно исчезающая,—но она не исчезнетъ, вернется впослѣдствіи и будетъ постоянно возвращаться, прилагаясь къ однороднымъ, но уже болѣе рѣзкимъ, глубокимъ и длительнымъ чертамъ.

Нѣчто подобное этому дикому визгу не послышится-ли Пьеру Безухову въ еще болѣе страшномъ, безсмысленно-

животномъ крикѣ Наташи во время родовъ, такъ-же, какъ Левину въ нечеловѣческомъ визгѣ и ревѣ рожающей Китти? Вѣдь именно тамъ, въ эпилогѣ „Войны и Мира", гдѣ Наташа становится супругой и матерью, „носитъ, рожаетъ и кормитъ", — образъ ея, проходящій сквозь всю огромную эпопею, долженъ-бы, по замыслу художника, окончательно завершиться. И онъ дѣйствительно завершается,—но какъ неожиданно.

Послѣ семи лѣтъ замужества Наташа „пополнѣла и поширѣла, такъ что трудно было узнать въ этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу." — „...Она до такой степени опустилась, что ея костюмы, ея прически, ея невпопадъ сказанныя слова, ея ревность—она ревновала къ Сонѣ, къ гувернанткѣ, ко всякой красивой и некрасивой женщинѣ,—были обычнымъ предметомъ шутокъ ея близкихъ". Теперь „она не заботилась ни о своихъ манерахъ, ни о деликатности рѣчей, ни о томъ, чтобы показаться своему мужу въ самыхъ выгодныхъ позахъ, ни о своемъ туалетѣ, ни о томъ, чтобы не стѣснять мужа своею требовательностью. Она дѣлала все противное этимъ правиламъ"—„....Къ неряшливости, къ опущенности присоединила она еще скупость". Никакой умственной связи между нею и мужемъ. Въ его „занятіяхъ науками она ничего не понимала". — „У ней своихъ словъ нѣтъ",— удивляется Николай Ростовъ, который и самъ не блещетъ ни умомъ, ни обиліемъ „своихъ словъ". Все человѣческое, кромѣ заботы о мужѣ и дѣтяхъ, становится ей чуждымъ. Она какъ-бы дичаетъ въ семьѣ,—избѣгаетъ людей и дорожитъ лишь „обществомъ родныхъ, къ которымъ, растрепанная, въ халатѣ, могла выйти большими шагами изъ дѣтской, съ радостнымъ лицомъ и показать пеленку съ желтымъ, вмѣсто зеленаго, пятномъ, и выслушать утѣшенія о томъ, что теперь ребенку гораздо лучше". — „Те-

перь часто замѣчаетъ авторъ, видно *было одно ея лицо и тѣло, а души вовсе не было видно. Видна была сильная, красивая и плодовитая самка*".

Что-же собственно произошло въ отношеніи художника къ образу Наташи? Измѣнилъ-ли для него свое прежнее значеніе, уменьшился, потускнѣлъ-ли этотъ образъ? Есть-ли какое-нибудь непредвидѣнное, не входившее въ первоначальный замыселъ, противорѣчіе между Наташей-дѣвушкой, полною такихъ родныхъ и все-таки таинственныхъ очарованій,—сестрою пушкинской Татьяны, вѣщею музою Л. Толстого, „чистѣйшей прелести чистѣйшимъ образцомъ"—и этою, только носящею, рожающею, кормящею, даже не человѣческою, а стихійно-животною матерью, „плодовитою самкою", у которой „видно одно лицо и тѣло, а души вовсе не видно"?

Оказывается, что между этими двумя образами, по крайней мѣрѣ въ глазахъ самого художника, не только никакого противорѣчія нѣтъ, но есть даже необходимая связь органической послѣдовательности и развитія. Именно къ этому, то-есть къ превращенію Наташи въ „самку", къ преображенію всего *человѣчески личнаго*, но и условнаго, ограниченнаго, въ *стихійно-безличное*, безусловное, безграничное, онъ и велъ ее сквозь всю огромную эпопею, какъ природа ведетъ цвѣточную завязь къ плоду,—только за это онъ и любилъ ее. Не уменьшился и не потускнѣлъ ея образъ, а напротивъ—теперь только выросъ до совершенной мѣры величія своего, теперь только вполнѣ открылось въ немъ „вѣчно-женственное" съ точки зрѣнія Л. Толстого—то-есть вѣчно-плодовитое, рождающее, материнское Тотъ „непрестанно горѣвшій огонь оживленія", который поставлялъ прелесть Наташи-дѣвушки, не потухъ въ Наташѣ-матери, а лишь глубже скрылся въ нее, оставаясь божественнымъ, только не божественно-духовнымъ, какъ

прежде казалось, а *божественно-плотскимъ*; но второе не меньше перваго, а лишь съ другой стороны созерцаемое первое. То, что намъ представлялось въ Наташѣ внутреннимъ ядромъ человѣческой личности—все очарованіе, вся таинственная музыка и ароматъ ее существа,—было лишь временною наружною оболочкою, блестящимъ весеннимъ нарядомъ, который дала ей природа такъ-же, какъ она даетъ цвѣтамъ благоуханія, птицамъ голоса и перья, рыбамъ и подводнымъ звѣрямъ волшебно-переливающуюся окраску на время половой ихъ жизни. Но вѣдь эта *мгновенная* прелесть есть въ то-же время *вѣчная*, ибо только здѣсь, въ расцвѣтѣ, въ совершеніи пола, въ любви, въ окрыленномъ и всеокрыляющемъ Эросѣ-Вожделѣніи, глубже и ярче всего обнаруживается единый божественный смыслъ разнообразнаго животнаго одушевленія, вѣщая связь всякой дышащей твари съ Духомъ жизни вселенской. Первый образъ Наташи не исказился, а лишь измѣнился, углубился во второмъ. „Она чувствовала,—говоритъ Л. Толстой,—что тѣ очарованія, которыя инстинктъ научалъ ее употреблять прежде, теперь только были-бы смѣшны въ глазахъ ея мужа, которому она съ первой минуты отдалась вся, т.-е. всею душой, не оставивъ одного уголка не открытымъ для него. Она чувствовала, что связь ея съ мужемъ держалась не тѣми поэтическими чувствами, которыя привлекали его къ ней, а держалась чѣмъ-то другимъ—неопредѣленнымъ, но твердымъ, какъ *связь* ея собственной *души съ тѣломъ*“.

И здѣсь у Льва Толстого, какъ вездѣ и всегда, все сводится къ этой *„связи души съ тѣломъ“*, къ этому стихійно-животному, связующему плоть и духъ, „душевному человѣку“,—къ этой „золотой цѣпи“ Вожделѣнія-Эроса, которую боги, по словамъ Гомера, свѣсили съ неба на землю и которою соединили они землю съ небомъ, одинъ полъ

съ другимъ, одну половину міра съ другою въ единое „круглое“ цѣлое, единое. Все,—живое, животное.

Поэтическая прелесть Наташи какъ будто безслѣдно потухла, „слиняла“, какъ линяютъ краски цвѣтовъ, чешуи рыбъ и перья птицъ, окончившихъ весеннюю половую жизнь, уже оплодотворенныхъ, успокоенныхъ и теперь безмолвно копящихъ внутреннія силы для чадорожденія, вынашиванія и кормленія. А между тѣмъ, власть надъ мужемъ, которую нѣкогда давала ей эта прелесть, не только не уменьшилась, но увеличилась: „Наташа у себя въ домѣ,—говоритъ Л. Толстой,—ставила себя на ногу рабы мужа“. „Наташа уморительна,—замѣчаетъ Николай Ростовъ,—вѣдь какъ она его подъ башмакомъ держитъ, а чуть дѣло до разсужденій—у ней своихъ словъ нѣтъ,—она такъ его словами и говоритъ“. И „общее мнѣніе было то,—прибавляетъ Л. Толстой уже отъ себя,—что Пьеръ былъ подъ башмакомъ своей жены, и дѣйствительно это было такъ“.

Пьеръ можетъ умствовать, стремиться къ христіанскому „воскресенію“, мечтать о благѣ ближнихъ, о пользѣ народа, сколько ему угодно. Но если-бы дѣло дошло до исполненія мечты, до дѣйствительной раздачи имѣнія—Наташа скорѣе „отдала-бы его подъ опеку“, чѣмъ согласилась-бы на что-либо подобное. Тогда „раба мужа“, самка, защищая дѣтенышей („она считала своимъ долгомъ воспрепятствовать этому,—т.-е. раздачѣ имѣнія,—какъ мать“,—замѣчаетъ Берсъ о Софьѣ Андреевнѣ Толстой)—показала-бы самцу когти и ужъ, конечно, смирила-бы его, потому что за нею—вся природа.

Дѣло, впрочемъ, никогда и не дойдетъ до такой крайности. Наташа спокойна: Пьеръ всегда будетъ только мечтать, только „умствовать“, непрестанно „воскресать“,—и въ этомъ безмятежно пройдетъ вся его жизнь. Онъ умѣреннѣе и благоразумнѣе, чѣмъ кажется. Пусть-же пофи-

лософствуетъ,—чѣмъ-бы дитя ни тѣшилось,—думаетъ Наташа съ властною и животно-мудрою усмѣшкою.

Не такія же ли точно отношенія между графиней Маріей и Николаемъ Ростовымъ, между Китти и Левинымъ?

„Душа графини Маріи всегда стремилась къ безконечному, вѣчному и совершенному, и потому никогда не могла быть покойна". У нея—„затаенное высокое страданіе души, тяготящейся тѣломъ". Она замѣчаетъ, однако, съ простодушнымъ цинизмомъ, по поводу христіанскихъ мечтаній Пьера о раздачѣ имѣнія: „онъ забываетъ, что у насъ есть *другія обязанности, ближе*, которыя самъ Богъ указалъ намъ — *что мы можемъ рисковать собой, но не дѣтьми*".— „Неужели я не пошла-бы съ нимъ, если-бы у меня не было малыхъ дѣтей",—говоритъ графиня Софія Андреевна почти словами графини Марьи, которая, несмотря на „стремленіе къ вѣчному и безконечному", несмотря на „высокое страданіе души, тяготящейся тѣломъ", совершенно согласна съ мужемъ своимъ Николаемъ Ростовымъ, воплощающимъ въ самой грубой и откровенной наготѣ животную мудрость человѣческаго самца такъ-же, какъ Наташа воплощаетъ животную мудрость человѣческой самки.

И всѣ герои Л. Толстого или умираютъ, или къ этому-же приходятъ,—другого исхода имъ нѣтъ.

Пьеръ и Левинъ—философствующій разумъ, христіанская совѣсть обоихъ произведеній—подъ башмакомъ своихъ женъ, Китти и Наташи, плодовитыхъ самокъ, которыя на всѣ ихъ „умствованія" возражаютъ безмолвнымъ и неотразимымъ доводомъ—появленіемъ на свѣтъ новаго ребенка. „И это благо такъ всегда будетъ, такъ должно быть",—какъ-бы говоритъ этими образами, противъ собственной воли и сознанія, великій тайновидецъ плоти.

У Наташи „нѣтъ своихъ словъ". Но, подобно тѣмъ статуямъ, которыя, возвышаясь въ небѣ на самомъ остріѣ

огромныхъ сложныхъ зданій, царятъ надъ ними, завершаютъ ихъ и увѣнчиваютъ,—образъ Наташи-матери, являющійся въ эпилогѣ „Войны и Мира“, безмолвно и стихійно царитъ надо всей необъятной эпопеей, такъ что дѣйствіе всемірно-исторической трагедіи—войны, движеніе народовъ, величіе и гибель героевъ—кажется только подножіемъ этой Матери-Самки, которая, торжествуя, показываетъ пеленки съ желтымъ пятномъ, вмѣсто зеленаго. Аустерлицъ, Бородино, пожаръ Москвы, Наполеонъ, Александръ Благословенный могутъ быть и не быть—все пройдетъ, все забудется, сотрется со крижалей всемірной исторіи слѣдующей волной, какъ буквы, написанныя на береговомъ пескѣ,—но никогда, ни въ какой культурѣ, ни послѣ какихъ всемірно-историческихъ бурь не перестанутъ матери радоваться желтому пятну на пеленкахъ вмѣсто зеленаго. На самой вершинѣ своего произведенія, одного изъ величайшихъ зданій, когда-либо воздвигнутыхъ людьми,—творецъ „Войны и Мира“ водружаетъ это циническое знамя—„пеленки съ желтымъ пятномъ“—какъ путеводное знамя человѣчества.

Потустороннее, нечеловѣческое, второе лицо князя Андрея открывается въ смерти; второе лицо Наташи открывается въ дѣторожденіи, и заслоненнаго, поглощеннаго имъ, перваго, человѣчески-отдѣльнаго, особеннаго лица ея—*личности* мы уже не видимъ и больше никогда не увидимъ: теперь Наташа только вообще Мать или даже вообще Самка,—женская половина, *Полъ* міра. Водяной шарикъ, округлившись до совершенной, каратаевской „круглости“, исчезаетъ, растворяется въ океанѣ вселенской животной жизни Это именно исчезновеніе, поглощеніе всѣхъ отдѣльныхъ человѣческихъ ликовъ въ безликомъ, нечеловѣческомъ, есть одинъ изъ господствующихъ *напѣвовъ* толстовскаго творчества.

Какъ дядю Ерошку—природа („умру—трава выра-

стетъ") Платона Каратаева и князя Андрея—смерть, Наташу—дѣторожденіе, такъ стихія не рождающей, внѣбрачной, оргійной, разрушительной,—съ точки зрѣнія Л. Толстого злой и преступной, любви, „*смертоноснаго Эроса*",—поглощаетъ Анну Каренину.

Съ перваго явленія, почти съ перваго безмолвнаго взгляда на Вронскаго и до послѣдняго вздоха Анна любитъ и только любитъ. Мы почти не знаемъ, что она чувствовала и думала, какъ она жила,—кажется, что ея даже вовсе не было до любви; невозможно представить себѣ Анну не любящей. Она вся—любовь, словно все существо ея, душа и тѣло сотканы изъ любви, какъ тѣло Саламандры—изъ огня, Ундины—изъ воды.

Между нею и Вронскимъ, какъ между Наташей и Пьеромъ, Китти и Левинымъ—никакой сознательной и вообще духовной связи. Только темная и крѣпкая, тѣлесно-душевная связь—„связь души съ тѣломъ". Никогда ни о чемъ не говоритъ она съ нимъ, кромѣ любви. Но и любовныя рѣчи ихъ ничтожны.

— „...Я въ Москвѣ танцовала больше на вашемъ одномъ балѣ, чѣмъ всю зиму въ Петербургѣ. Надо отдохнуть передъ дорогой.

— „А вы рѣшительно ѣдете завтра?—спросилъ Вронскій.

— „Да, я думаю,—отвѣчала Анна, какъ-бы удивляясь смѣлости его вопроса; но неудержимый дрожащій блескъ глазъ и улыбки обжогъ его, когда она это говорила".

Въ этой свѣтской болтовнѣ словами ничего не сказано; но безмолвный „дрожащій блескъ глазъ и улыбки" договариваетъ несказанное—и это рѣшающее мгновенье страсти.

Когда Вронскій признается Аннѣ въ любви, — опять какъ ничтожны слова.

— „Развѣ вы не знаете, что вы для меня вся жизнь... Вы и я для меня одно... И я не вижу впереди возможности

спокойствія ни для себя, ни для васъ. Я вижу возможность отчаянія, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Развѣ оно невозможно?—прибавилъ онъ однѣми губами, но она слышала.

„Она всѣ силы ума своего напрягала, чтобы сказать то, что должно, *но вмѣсто того она остановила на немъ свой взглядъ, полный любви, и ничего не отвѣтила*".

Если сравнить это безпомощное, обыкновенное до пошлости, косноязычное лепетаніе Вронскаго съ „торжествующими пѣснями любви" Сакунталы, Соломона и Суламиты, Ромео и Джульетты—какимъ оно покажется бѣднымъ. Но Анна и Вронскій говорятъ не словами, а только „блескомъ взглядовъ и улыбокъ", звуками голоса, выраженіями, движеніями тѣла, какъ влюбленные звѣри. И этотъ стихійно-животный, безсловесный языкъ любви — насколько глубже всѣхъ словъ человѣческихъ.

Должно, впрочемъ, замѣтить, что вообще въ произведеніяхъ Л. Толстого художественный центръ тяжести, сила изображенія — не въ драматической, а въ повѣствовательной части, не въ діалогахъ дѣйствующихъ лицъ, не въ томъ, что они говорятъ, а лишь въ томъ, что о нихъ говорится. Рѣчи ихъ суетны или безмысленны,—зато ихъ молчанія бездонно-глубоки и мудры. „Она была одно изъ тѣхъ животныхъ,—замѣчаетъ Л. Толстой по поводу Фру-Фру, лошади Вронскаго,—которыя, кажется, не говорятъ только потому, что механическое устройство ихъ рта не позволяетъ имъ этого". Можно сказать о нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицахъ Л. Толстого, напримѣръ, о Вронскомъ и Николаѣ Ростовѣ, что они говорятъ только потому, что механическое устройство ихъ рта имъ это позволяетъ.

У Анны также „нѣтъ своихъ словъ", какъ у Наташи, которая говоритъ словами мужа, и у Платона Каратаева,

который говоритъ словами народа, изреченіями и пословицами. Сколько незабываемыхъ, лично-особенныхъ чувствъ и ощущеній Анны Карениной сохранилось въ нашей памяти,—но ни одной мысли, ни одного человѣчески-сознательнаго, личнаго, особеннаго, только ей принадлежащаго слова, хотя-бы о любви. А между тѣмъ, она не кажется глупою; напротивъ, мы угадываемъ, что она умственно сложнѣе и значительнѣе Долли, Китти, Вронскаго, — кто знаетъ? — можетъ быть, даже значительнѣе столь много, увы,—слишкомъ, кажется, много говорящаго Левина. Но ея положеніе въ дѣйствіи романа, ея совершенная поглощенность стихіей страсти таковы, что они заслоняютъ ее отъ насъ именно съ этой стороны—со стороны ума, сознанія, высшей безкорыстной и безстрастной духовной жизни. Кто и что она, помимо любви. Мы только знаемъ, что она петербургская, великосвѣтская женщина. Но, кромѣ сословія,—изъ какого историческаго быта, изъ какой культуры вышла она? Гдѣ корни существа ея, уходящіе въ русскую землю? А вѣдь оно достаточно глубоко и первозданно, чтобы корни эти были. Что она думаетъ не только о своей, но и вообще о любви, не только о своей, но и вообще о семьѣ, о дѣтяхъ, о людяхъ, о долгѣ, о природѣ объ искусствѣ, о жизни, о смерти, о Богѣ?—Мы этого не знаемъ или почти не знаемъ. Зато мы знаемъ, какъ именно вьются и выбиваются у нея на затылкѣ и на вискахъ курчавые волосы, какъ тонкіе пальцы съуживаются въ концѣ, и какая у нея круглая, крѣпкая, словно точеная, шея, — каждое выраженіе лица ея, каждое движеніе тѣла мы знаемъ. Тѣло и отчасти, со стихійно-животной стороны, душу ея,—*„ночную душу“*, по слову Тютчева — мы видимъ съ поразительною ясностью. Но вѣдь, можетъ быть, съ неменьшею ясностью видимъ мы тѣло и душу, даже „личность“ Фру-Фру, ибо у лошади Вронскаго есть тоже своя

„ночная душа“, свое стихійно-животное *лицо*, и это лицо—одно изъ дѣйствующихъ лицъ трагедіи. Если правда, какъ кто-то утверждалъ, что Вронскій кажется жеребцомъ во флигель-адъютантскомъ мундирѣ, то лошадь его кажется прелестною женщиной. И недаромъ выступаетъ сначала едва уловимое, потомъ все болѣе и болѣе углубляющееся, полное таинственныхъ предзнаменованій, сходство „вѣчно-женственнаго“ въ прелести Фру-Фру и Анны Карениной.

Фру-Фру „по статьямъ была не безукоризненна“. Но именно эти единственныя, кажущіяся неправильными, „личныя“ особенности и плѣняютъ въ ней Вронскаго. При первомъ взглядѣ на Анну его поражаетъ во всей ея наружности—„порода“, „кровь“. И у Фру-Фру „въ высшей степени было качество, заставляющее забывать всѣ недостатки“: это качество была *„кровь“*, „порода“, то-есть аристократизмъ тѣла. У нихъ обѣихъ—и у лошади, и у женщины—одинаковое *опредѣленное выраженіе* тѣлеснаго облика, въ которомъ соединяется сила и нѣжность, тонкость и крѣпость. У Анны маленькая рука „съ тонкими въ концѣ пальцами“, *„энергическая“* и *„нѣжная“*. Кости ногъ у Фру-Фру „ниже колѣнъ казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя съ боку“. „Рѣзко выступающія мышцы изъ-подъ сѣтки жилъ, растянутой въ *тонкой*, подвижной и гладкой, какъ атласъ, кожѣ, казались *столь-же крѣпкими, какъ кость*... Во всей фигурѣ и въ особенности въ головѣ ея было *опредѣленное, энергическое и вмѣстѣ нѣжное выраженіе*“. У нихъ обѣихъ—одинаковая стремительная легкость и вѣрность, какъ-бы окрыленность движеній, и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ страстный напряженный и грозный, грозовой, оргійный избытокъ жизни. „Сухая голова Фру-Фру съ выпуклыми блестящими, веселыми глазами (у Анны тоже глаза „блестящіе и веселые“),—расширялась у храпа въ выдающіяся ноздри,

съ налитою внутри кровью перепонкою". Она такъ-же какъ Анна „безъ словъ" понимаетъ господина своего. „Вронскому, по крайней мѣрѣ, казалось, что она поняла все, что онъ теперь, глядя на нее, чувствовалъ". Между ними странная, не только тѣлесная, стихійно-животная, но и какъ-бы „душевная" связь. Она знаетъ и любитъ любовь его, желаетъ и боится этой любви: „какъ только Вронскій вошелъ къ ней, она глубоко втянула въ себя воздухъ и скашивая свой выпуклый глазъ такъ, что бѣлокъ налился кровью, съ противоположной стороны глядѣла на вошедшихъ, потряхивая намордникомъ и упруго переступая съ ноги на ногу" (у Анны тоже „упругая поступь").

— „О, милая! О!—говорилъ Вронскій, подходя къ лошади и уговаривая ее.

„Но чѣмъ ближе онъ подходилъ, тѣмъ болѣе она волновалась. Только когда онъ подошелъ къ ея головѣ, она вдругъ затихла и мускулы ея затряслись подъ *тонкою* нѣжною шерстью. Вронскій погладилъ ея *крѣпкую* шею, поправилъ на остромъ загривкѣ перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы, и придвинулся лицомъ къ ея растянутымъ, *тонкимъ*, какъ крыло летучей мыши, ноздрямъ. Она звучно втянула и выпустила воздухъ изъ напряженныхъ ноздрей, вздрогнувъ, прижала острое ухо и вытянула *крѣпкую* черную губу къ Вронскому, какъ-бы желая поймать его за рукавъ. Но вспомнивъ о намордникѣ, она встряхнула имъ и опять начала переставлять одна за другою свои *точеныя* ножки." Слова „точеный", „тонкій", „крѣпкій" одинаково повторяются въ описаніи наружности Фру-Фру и Анны.

Вронскій любитъ лошадь не какъ животное, а какъ почти разумное существо, какъ женщину,—словно влюбленъ въ нее.

— „Успокойся, милая, успокойся,—сказалъ онъ, погладивъ ее еще рукой... Волненіе лошади сообщилось Вронскому: онъ чувствовалъ, что кровь приливала ему къ сердцу и что ему такъ-же, какъ и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно, и весело.“ Отъ прелести Анны, въ которой есть что-то „бѣсовское“, „жестокое“—ему тоже „и страшно, и весело“. Послѣ свиданія съ Фру-Фру отправляется онъ на свиданіе съ Анною. И тотъ-же хищный, грозовой, оргійный избытокъ животной жизни, который онъ только-что чувствовалъ въ себѣ и въ звѣрѣ, въ прекрасной „Божьей твари“, соединитъ его съ другою, столь-же прекрасною Божьей тварью—Анною.

Фру-Фру, какъ женщина, любитъ власть господина своего и, какъ Анна, будетъ покорна этой страшной и сладостной власти—даже до смерти, до послѣдняго вздоха, до послѣдняго взгляда. И надъ обѣими совершится неизбѣжное злодѣяніе любви, вѣчная трагедія, дѣтская игра смертоноснаго Эроса.

Во время скачекъ, когда Вронскій уже обогналъ всѣхъ, и, достигая цѣли, напрягая послѣднія силы, Фру-Фру летитъ подъ нимъ, какъ птица,—„О, прелесть моя!“—думаетъ онъ о ней съ безконечной лаской и нѣжностью. Она угадываетъ каждое движеніе, каждую мысль, каждое чувство всадника; у нихъ — одна воля, одно тѣло, одна душа, между ними—„связь души съ тѣломъ“; они—одно. И въ восторгѣ какъ-бы сверхъестественной окрыленности, въ сладострастномъ упоеніи полета, человѣкъ и животное сливаются. О, въ это мгновеніе онъ, можетъ быть, любитъ Фру-Фру больше, чѣмъ Анну, болѣе чудесною и таинственною любовью.

Но вотъ—одно неловкое движеніе, „скверное, непростительное: не поспѣвъ за движеніемъ лошади, онъ опустился на сѣдло, и вдругъ положеніе его измѣнилось, и

онъ понялъ, что случилось что-то ужасное.—Вронскій касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Онъ едва успѣлъ выпростать ногу, какъ она упала на одинъ бокъ, тяжело хрипя и дѣлая, что-бы, подняться, тщетныя усилія своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на землѣ у его ногъ, какъ подстрѣленная птица. Неловкое движеніе, сдѣланное Вронскимъ, сломало ей спину. Но это онъ понялъ гораздо послѣ.—А теперь онъ, шатаясь, стоялъ на грязной неподвижной землѣ, и передъ нимъ, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнувъ къ нему голову, смотрѣла на него своимъ прелестнымъ глазомъ. Все еще не понимая того, что̀ случилось, Вронскій тянулъ лошадь за поводъ. Она опять забилась какъ рыбка, треща крыльями сѣдла, выпростала переднія ноги, но, не въ силахъ поднять зада, тотчасъ-же замоталась и опять упала на бокъ. Съ изуродованнымъ страстью лицомъ, блѣдный и съ трясущеюся нижнею челюстью, Вронскій ударилъ ее каблукомъ въ животъ, и опять сталъ тянуть за поводья. Но она не двигалась, а уткнувъ храпъ въ землю, только смотрѣла на хозяина своимъ говорящимъ взглядомъ.

— „Ааа!—промычалъ Вронскій, схватившись за голову.—Ааа! что я сдѣлалъ!—прокричалъ онъ.—И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь!—Ааа! что я сдѣлалъ“.

„...Въ первый разъ въ жизни онъ испыталъ самое тяжелое несчастіе, несчастіе неисправимое, и такое, въ которомъ виною самъ“.

Да, онъ прочелъ и понялъ страшный укоръ въ послѣднемъ, „говорящемъ“, человѣческомъ взглядѣ звѣря, понялъ, что совершилъ дѣйствительно непоправимое злодѣяніе, принеся въ жертву своей тщеславной прихоти, въ

жестокой игрѣ, живую, прекрасную Божью тварь, которую любилъ.

И какъ знать, не посылала-ли ему судьба предостереженія въ гибели Фру-Фру? Не погубитъ-ли онъ точно такъ-же и Анну въ жестокой игрѣ? И здѣсь, какъ тамъ—„одно неловкое движеніе—скверное, непростительное“, но вѣдь невольное, нечаянное,—и слишкомъ напряженное существо ея сломится подъ непосильною тяжестью, упадетъ, „затрепыхается у ногъ его, какъ подстрѣленная птица“.

Этотъ неумолимый законъ слѣпого бога-младенца,—играющаго смертью и разрушеніемъ, Эроса, эта жестокость сладострастья, которая дѣлаетъ любовь похожей на ненависть, тѣлесное обладаніе похожимъ на убійство,—сказывается и въ самыхъ страстныхъ ласкахъ любовниковъ.

При взглядѣ на Анну, Вронскій „чувствовалъ то, что долженъ чувствовать убійца, когда видитъ тѣло, лишенное имъ жизни.—Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено этою страшною цѣною стыда. Стыдъ передъ духовною наготою своей давилъ ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужасъ убійцы передъ *тѣломъ* убитаго, надо рѣзать на куски, прятать это *тѣло*, надо пользоваться тѣмъ, что убійца пріобрѣлъ убійствомъ. И съ озлобленіемъ, какъ-будто со страстью, бросается убійца на это *тѣло*, и тащитъ, и рѣжетъ его; такъ и онъ покрывалъ поцѣлуями ея лицо и плечи“.

Послѣ самоубійства Анны, это-же самое *тѣло* онъ видитъ „на столѣ казармы, безстыдно растянутое посреди чужихъ, окровавленное, еще полное недавней жизни; закинутая назадъ уцѣлѣвшая голова съ своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на вискахъ, и на прелест-

номъ лицѣ, съ полуоткрытымъ румянымъ ртомъ, застывшее, странное, жалкое въ губахъ и ужасное въ остановившихся, незакрытыхъ глазахъ выраженіе, какъ-бы словами выговаривавшее то страшное слово,—о томъ, что онъ раскается,—которое она во время ссоры сказала ему".

Въ этомъ „говорящемъ взглядѣ" мертвыхъ глазъ не прочелъ-ли онъ того-же укора, какъ въ „человѣческомъ" вглядѣ убитаго имъ животнаго, и не понялъ-ли снова, какъ тогда, что въ жизни его произошло „самое тяжелое несчастіе, несчастіе неисправимое и такое, въ которомъ виною онъ самъ".

Въ гибели человѣка, въ гибели звѣря совершилась одна трагедія — вѣчное насиліе сильнаго надъ слабымъ, преступленіе Эроса страстнаго противъ иного, безстрастнаго,—противъ Того, Кто сказалъ: „да будутъ всѣ едино,—какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ и они да будутъ въ Насъ едино".

Испытывая, углубляя человѣческое до животнаго, животное до человѣческаго, въ послѣдней глубинѣ обоихъ находитъ Л. Толстой первое, общее, единое, *соединяющее*, символическое.

Но пока онъ дороется до этихъ подземныхъ глубинъ,—сквозь какія каменныя толщи, сквозь какія бездны плоти и крови ему надо пройти. Отъ Анны Карениной, полной оргійнымъ, но вѣдь все-же невольнымъ, невиннымъ избыткомъ жизни (не вся-ли вина ея въ томъ, что она слишкомъ прекрасна, „и горитъ, и любитъ оттого,

Что не любитъ она не можетъ")—

до этого „безстыдно-растянутаго на столѣ казармы окровавленнаго тѣла"—какой страшный путь.

Не кажется-ли, что у Л. Толстого послѣднее обнаже-

ніе человѣка отъ всего человѣческаго, сведеніе подобія и образа Божія къ образу звѣриному, скотскому,—въ сладострастіи, въ болѣзни, въ дѣторожденіи, въ смерти,—граничитъ иногда съ безцѣльною и злорадною жестокостью? Онъ не довольствуется страшнымъ, онъ ищетъ до конца оголяющаго, циническаго, того смѣшного и страшнаго вмѣстѣ, что есть у Данте въ веселіи дьяволовъ, въ отчаяніи грѣшниковъ.

Послѣ Бородинскаго сраженія, на перевязочномъ пунктѣ, въ палаткѣ для раненыхъ, „на столѣ сидѣлъ татаринъ вѣроятно казакъ, судя по мундиру, брошенному подлѣ. Четверо солдатъ держали его. Докторъ въ очкахъ что-то рѣзалъ въ его коричневой мускулистой спинѣ.

— Ухъ, ухъ, ухъ!..—какъ-будто *хрюкалъ* татаринъ и вдругъ, поднявъ свое скуластое, черное, курносое лицо, оскаливъ бѣлые зубы, начиналъ рваться, дергаться и визжать пронзительно-звенящимъ, протяжнымъ визгомъ".

Это курносое черное лицо съ оскаленными бѣлыми зубами—не видѣніе-ли „Ада" или „Страшнаго Суда"? Въ расщелинѣ какого-нибудь проклятаго *„круга"* не могъ-ли бы точно такъ-же „хрюкать" по свиному грѣшникъ, котораго мучаютъ бѣсы?

На другомъ столѣ, въ той-же палаткѣ, лежалъ большой, полный человѣкъ. „Нѣсколько фельдшеровъ навалились на грудь этому человѣку и держали его. Бѣлая, большая, полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаніями. Человѣкъ этотъ судорожно рыдалъ и захлебывался. Два доктора, молча—одинъ былъ блѣденъ и дрожалъ—что-то дѣлали надъ другою, красною ногой этого человѣка". Этотъ несчастный—красавецъ Анатоль, любимецъ женщинъ, женихъ Наташи, соперникъ князя Андрея.—„Его поднимали и успокаивали.

— „Покажите мнѣ... О-о-о! о! о-о-о!—слышался его

прерываемый рыданіями, испуганный и покорившійся страданію стонъ.—Раненому показали въ сапогѣ съ запекшеюся кровью отрѣзанную ногу.

— „О! О-о-о!—зарыдалъ онъ, какъ женщина".

Въ этой часто и быстро дергающейся лихорадочными трепетаніями бѣлой ногѣ изнѣженнаго красавца, въ этой животно-безсмысленной и дѣтски-жалобной прихоти раненаго увидѣть отрѣзанную часть своего тѣла, какъ-будто для того, чтобы въ послѣдній разъ проститься съ нею—есть нѣчто страшное и въ то-же время смѣшное, *смѣшное въ страшномъ,* такъ-же, какъ въ свиномъ „хрюканіи" татарина.

Въ „Хозяинѣ и Работникѣ" замерзшій купецъ Брехуновъ „застылъ какъ *мороженая туша*, и какъ были у него разставлены ноги, такъ, *раскорячившись*, его и отвалили съ Никиты". Казалось-бы—все уже кончено. Л. Толстой, добродѣтельный старецъ Акимъ, продѣлалъ все, что ему нужно, надъ несчастнымъ Брехуновымъ—„доканалъ" его, довелъ-таки этотъ кремень сквозь безконечные ужасы и муки плоти до христіанскаго размягченія, воскресенія, сгладилъ все острые углы его личности, округлилъ до совершенной каратаевской „круглости". Брехуновъ положилъ душу свою за брата,—умеръ въ Богѣ. Казалось-бы, можно и пожертвовать послѣднею, геніально-живою, живописною, но вѣдь и животною, циническою черточкою, закрыть ее отъ нашихъ глазъ тѣмъ суевѣрно-стыдливымъ покровомъ, который древніе трагики набрасывали на искаженыя лица умирающихъ героевъ. Но вотъ—какъ-будто вдругъ выглядываетъ изъ-за христіанскаго старца Акима неисправимый язычникъ, старый лѣшій, дядя Ерошка, и съ повидимому невинною, нечаянною, на самомъ дѣлѣ лукавою насмѣшкою мститъ своему двойнику за христіанское воскресеніе духа этимъ унизительнымъ, скотскимъ положеніемъ мерт-

ваго тѣла, которое, можетъ быть, когда нибудь при звукѣ трубы и воскреснетъ въ нетлѣніе и будетъ принято на лоно Божье, а пока все-таки, безобразно и нелѣпо разставивъ ноги, „раскорячившись“, застыло какъ „мороженая туша“. Это—послѣдній, кажущійся ненужнымъ и кощунственнымъ ударъ той *святынѣ человѣческаго тѣла*, во всей своей немощи и тлѣнности все-же „богоподобного“, которую и въ жизни, и въ смерти такъ умѣли чтить эллины язычники въ противоположность язычникамъ-варварамъ.

А сколько *страшнаго-смѣшного* въ исторіи болѣзни Ивана Ильича. Здѣсь художникъ словно нарочно издѣвается надъ тою неодолимою человѣческою привычкою обманывать себя, закрывать глаза на послѣднюю животность своего тѣла, которая есть, можетъ быть, ничтожный, но сколь неискоренимый, сколь трогательный признакъ нашей сверхъживотной духовности. Мы, напримѣръ, узнаемъ, что „для испражненій Ивана Ильича были сдѣланы особыя приспособленія и всякій разъ это было мученье. Мученье отъ нечистоты, неприличія и запаха, отъ сознанія того, что въ этомъ долженъ участвовать другой человѣкъ: выносить за нимъ приходилъ буфетный мужикъ Герасимъ.—Одинъ разъ Иванъ Ильичъ, вставъ съ судна и не въ силахъ поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и съ ужасомъ смотрѣлъ на обнаженныя, съ рѣзко обозначенными мускулами—безсильныя ляжки“.

Съ какимъ безпощаднымъ упорствомъ останавливается художникъ на противоположности молодого, здороваго, свѣжаго, чистаго, ловкаго, сильнаго, добраго, простого мужика Герасима и грязнаго, дурно-пахнущаго, до потери человѣческаго достоинства изуродованнаго, опозореннаго болѣзнью барина Ивана Ильича.

Чтобы утишить боль, онъ заставляетъ Герасима держать его высоко-поднятыя ноги на плечахъ.

— „Такъ, подержи мнѣ такъ ноги повыше, можешь?“

— „Отчего-же, можно. — Герасимъ поднялъ ноги выше“.

И здѣсь, въ этихъ унизительныхъ положеніяхъ человѣческаго тѣла, въ этомъ созерцаніи своихъ обнаженныхъ ляжекъ, въ этихъ ногахъ его, высоко вздернутыхъ на плечи Герасима есть то-же самое, какъ будто злорадно-циническое—смѣшное и страшное, какъ въ раскоряченной мороженой тушѣ купца Брехунова.

Надо вообще замѣтить, что изобрѣтательность, утонченность пытокъ, всѣ эти „жженія огнемъ съ пристрастіемъ“, „дыбы“, „виски„ разнообразнѣйшихъ тѣлесныхъ и душевныхъ болей, угрызеній, раскаяній, ужасовъ, сквозь которые проводитъ Л. Толстой Ивана Ильича, своего героя или, лучше сказать, свою жертву, хотя-бы и съ благою христіанскою цѣлью, все-же нѣсколько напоминаютъ застѣнки *Святѣйшей Инквизиціи* или нашего Преображенскаго Приказа, гдѣ предсѣдательствовалъ одинъ изъ предковъ Льва Николаевича, „птенецъ гнѣзда Петрова“, начальникъ тайной канцеляріи, знаменитый графъ Петръ Андреевичъ Толстой.

Ивану Ильичу-ли имѣть свой *характеръ*, свое живое лицо, свою особенную, единственную и незамѣнимую человѣческую личность? Вѣдь въ концѣ концовъ отъ него остается даже не звѣрь, „ревущій“, „воющій“, „хрюкающій“ отъ боли, даже не тѣло, а только кусокъ истерзаннаго, изглоданнаго страданіями, полусгнившаго *мяса*.

Итакъ, въ произведеніяхъ Л. Толстого нѣтъ характеровъ, нѣтъ личностей, нѣтъ даже дѣйствующихъ лицъ, а есть только созерцающія, страдающія,—нѣтъ *героевъ*, а есть только *жертвы*, которыя не борются, не противятся, отдаваясь уносящему ихъ потоку стихійно-животной жизни. Только-что вынырнувъ, показавшись на поверхности, эти

человѣческія лица, тотчасъ-же снова поглащаемыя стихіями, уже навѣки погружаются и тонутъ въ нихъ.

А такъ какъ нѣтъ героевъ, то нѣтъ и трагедіи: всюду завязываются отдѣльные трагическіе узлы, но, не разрѣшаясь въ человѣческой личности, снова уходятъ въ безличное, безсмысленное, безвольное, нечеловѣческое; нѣтъ и объединяющей развязки, того, что древніе называли *катастрофою*. Въ океанѣ безбрежнаго эпоса все волнуется, движется, какъ отдѣльные блески и трепеты волнъ, все рождается, живетъ, умираетъ и снова рождается, — безъ конца, безъ начала.

И какъ нѣтъ освобождающаго ужаса, такъ нѣтъ освобождающаго смѣха. Ни разу, читая произведенія Л. Толстого, не только не разсмѣешься, но и не улыбнешься. Словно виситъ надо всѣмъ безоблачно-грозное, низкое, „мѣдное“ небо и давитъ, такъ что сердце, наконецъ, сжимается отъ тоски, и кажется, — нечѣмъ дышать, нѣтъ воздуха.

Гавные „герои“ или жертвы Л. Толстого — все люди умные, честные, добрые, по крайней мѣрѣ, добродушные, простые, по крайней мѣрѣ, наивные; а между тѣмъ, намъ съ ними не по себѣ; есть въ нихъ что-то безпокоящее, тягостное, смутное, даже какъ будто жуткое. Иногда словно вѣетъ отъ нихъ ото всѣхъ, даже отъ невиннѣйшихъ дѣвушекъ, „чистѣйшей прелести чистѣйшихъ образцовъ“ — тѣмъ лѣснымъ, звѣринымъ запахомъ, который свойственъ старому „лѣшему“, дядѣ Ерошкѣ. Зависитъ-ли это отъ нихъ самихъ или отъ ихъ создателя-художника — но никогда нельзя быть увѣреннымъ, что изъ-за знакомаго человѣческаго лица ихъ не выглянетъ другое, чуждое, стихійно-животное, что они,—какъ Вольтеръ шутилъ по поводу „естественнаго состоянія“ Руссо, — „не станутъ на четвереньки и не побѣгутъ въ лѣсъ“, не завизжатъ стран-

нымъ, дикимъ визгомъ, подобно Наташѣ во время охоты, не „захрюкаютъ“, какъ татаринъ, которому рѣжутъ спину, или не закричатъ, какъ, Иванъ Ильичъ, ужаснымъ крикомъ на „у“.

Уже Тургеневъ замѣтилъ это ощущеніе стѣсненности, какъ-бы отсутствіе какой-то высшей свободы, какого-то горняго воздуха, освѣжающаго дыханія, духа, духовности въ произведеніяхъ Л. Толстого и пытался объяснить недостатокъ этотъ отсутствіемъ знанія. Не точнѣе-ли, однако, то, что Тургеневъ разумѣлъ подъ словомъ *„знаніе“*, назвать *сознаніемъ*? „Желаю вамъ свободы — свободы духовной“, писалъ онъ однажды Л. Толстому. „Войну и Миръ“ считалъ Тургеневъ однимъ изъ величайшихъ произведеній всемірной поэзіи, но въ то-же время и „самымъ печальнымъ примѣромъ отсутствія истинной свободы, проистекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія“. „Нѣтъ!“— замѣчаетъ онъ,—„безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ—не мыслимъ истинный художникъ; *безъ этого воздуха дышать нельзя*“.

Передъ Бородинымъ, слѣдуя за войсками по Смоленской дорогѣ, князь Андрей увидѣлъ солдатъ, купавшихся въ небольшомъ пруду, у плотины. Былъ душный августовскій день, второй часъ послѣ полудня. „Солнце, красный шаръ въ пыли, невыносимо пекло и жгло... Вѣтру не было. Въ проѣздъ по плотинѣ на него пахнуло тиной и свѣжестью пруда. Ему захотѣлось въ воду — какая-бы грязная она ни была. Онъ оглянулся на прудъ, съ котораго неслись крики и хохотъ. Небольшой, мутный, съ зеленью прудъ видимо поднялся четверти на двѣ, заливая плотину, потому что онъ былъ полонъ человѣческими, солдатскими, голыми, барахтающимися въ немъ, бѣлыми тѣлами, съ кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое, бѣлое, *человѣческое мясо*, съ хохотомъ и ги-

комъ, барахталось въ этой грязной лужѣ, какъ караси, набитые въ лейку. Весельемъ отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно... Слышалось шлепанье другъ по другу, и визгъ, и уханье. На берегахъ, на плотинѣ, въ прудѣ вездѣ было бѣлое, здоровое, мускулистое *мясо*...

— „То-то хорошо, ваше сіятельство, вы-бы изволили!“— предложилъ одинъ изъ купающихся.

„Грязно,—сказалъ князь Андрей, поморщившись..“ Онъ придумалъ лучше облиться въ сараѣ.

„*Мясо, тѣло,* chair à canon!“ —думалъ онъ, глядя и на свое голое тѣло, и вздрагивалъ не столько отъ холода, сколько отъ самому ему непонятнаго *отвращенія и ужаса при видѣ этого огромнаго количества тѣлъ, полоскавшихся въ грязномъ прудѣ*“.

Это-же самое тѣло, „мясо“ видитъ онъ потомъ на перевязочномъ пунктѣ въ палаткѣ для раненыхъ: „все, что онъ видѣлъ вокругъ себя, слилось для него въ одно общее впечатлѣніе человѣческаго тѣла, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, какъ нѣсколько недѣль тому назадъ, въ этотъ жаркій августовскій день, это-же тѣло наполняло грязный прудъ по Смоленской дорогѣ. Да, это было то самое *тѣло, „мясо для пушекъ“*, видъ котораго еще тогда, какъ-бы предсказывая теперешнее, возбудилъ въ немъ ужасъ“.

Ужасъ человѣческаго тѣла, человѣческаго мяса вѣетъ надъ всѣми произведеніями Л. Толстого. Кажется иногда, что весь міръ представляется ему этимъ грязнымъ прудомъ съ безчисленными барахтающимися голыми тѣлами подъ нависшимъ низкимъ небомъ и знойнымъ солнцемъ, краснымъ шаромъ въ пыли,—или этою низкою палаткою для раненыхъ съ тѣми-же самыми истерзанными, окровавленными тѣлами.

Такъ вотъ отчего душно; отчего кажется, что въ произведеніяхъ Л. Толстого „воздуха нѣтъ, безъ котораго дышать нельзя“, по слову Тургенева: душно—отъ плоти и крови, отъ „человѣческаго мяса“. Слишкомъ все—плотское, плотяное, кровяное, мясистое. Или запахъ пеленокъ — въ дѣтской Наташи, въ смрадномъ человѣчьемъ гнѣздѣ, или запахъ крови—въ палаткѣ для раненыхъ. Душно, паритъ, какъ передъ грозою, а грозы нѣтъ,—все только надвигается, только собирается и не можетъ разразиться. Только томленіе ожиданія. „И все тянется, тянется и растягивается“ — какъ въ бреду князя Андрея. Нѣтъ громового удара,—ни молніи ужаса, ни молніи смѣха. Только предчувствія, только зловѣщіе отблески страшнаго „бѣлаго свѣта смерти“, безгромныя зарницы—

Какъ демоны глухонѣмые
Ведутъ бесѣду межъ собой.

Иногда и сами герои-жертвы какъ будто возмущаются, судорожно борются съ этимъ удушьемъ плоти и крови, бѣгутъ въ безплотное, безкровное,—въ отвлеченныя христіанскія „умствованія“. Но какое это жалкое, безкрылое бѣгство! „Связь души съ тѣломъ“ не пускаетъ ихъ, связь плоти рождающей съ плотью рождаемой—семейная связь: „мы можемъ рисковать собой, но не дѣтьми“—по слову графини Марьи. И едва поднявшись, падаютъ они еще тяжелѣе, еще глубже въ грязную лужу, въ тину съ барахтающимися голыми тѣлами. Тѣло—ихъ начало и конецъ—тѣло, разрушающееся въ смерти, продолжающееся въ дѣторожденіи. Или умираютъ они въ мукахъ, или въ мукахъ и для новыхъ мукъ рождаютъ,—иного выхода имъ нѣтъ.

Неужели нѣтъ выхода и для самого художника? По-

слѣдній-ли это предѣлъ, послѣдняя-ли ступень его творчества?—Кажется, есть еще одна ступень. Но онъ достигаетъ ея не сознаніемъ, идущимъ противъ плоти къ тому, что безъ плоти, а лишь ясновидѣніемъ, идущимъ черезъ плоть къ тому, что за плотью.

И только здѣсь, на этой послѣдней ступени, въ этой послѣдней, подземной глубинѣ есть для него выходъ въ другую половину міра, въ другое небо.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

„Ужъ я его знаю, звѣря“,—говоритъ дядя Ерошка.

Л. Толстой могъ-бы сказать о себѣ самомъ и поставить эпиграфомъ ко всѣмъ своимъ произведеніямъ эти слова стараго язычника:

— „*Ужъ я его знаю, звѣря*“.

— „А ты какъ думалъ?“ — заключаетъ дядя Ерошка разсказъ о кабаньей маткѣ, которая, „фыркнувъ на своихъ поросятъ“, сказала имъ: „Бѣда, молъ дѣтки, — человѣкъ сидитъ“.—„А ты какъ думалъ? Ты думалъ, онъ дуракъ звѣрь-то. Нѣтъ *онъ умнѣе человѣка*, даромъ что свинья называется. *Онъ все знаетъ*. Хоть то въ примѣръ возьми: человѣкъ-то по слѣду пройдетъ, не замѣтитъ, а свинья какъ наткнется на твой слѣдъ, такъ сейчасъ отдуетъ и прочь; значитъ, *умъ въ ней есть*, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышитъ. Да и то сказать: *ты ее убить хочешь, а она по лѣсу живая гулять хочетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она свинья, а все-же не хуже тебя: такая-же тварь Божія*. Эхъ-ма! Глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ!“—повторилъ нѣсколько разъ старикъ и, опустивъ голову, задумался“.

„Божья тварь“, не только „человѣкъ Божій“, но и „Божій звѣрь“,—въ этомъ народномъ, простонародномъ сочетаніи словъ, повидимому, столь обычномъ, естественномъ,

не чувствуется-ли какая-то, все еще неиспытанная тайна, какая-то странная, все еще неразрѣшенная загадка.

И человѣкъ есть „Божья тварь“, Божій звѣрь. Весь міръ есть цѣлое живое, животное (ξῶον) — божественно-живое, можетъ быть и божественно-животное — Богъ-Звѣрь.

„Любите все созданіе Божіе, и цѣлое, и каждую песчинку“, — говоритъ святой старецъ Зосима у Достоевскаго. — „Каждый листикъ, каждый лучъ Божій любите. *Любите животныхъ, любите растенія,* любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божію постигнешь въ вещахъ... И полюбишь, наконецъ, весь міръ уже всецѣлою всемірною любовью.— *Человѣкъ, не возносись надъ животными!*“

„Божья тварь“—выраженіе христіанское, „крестьянское“, благочестивое, почти церковное; но нѣтъ-ли въ немъ и чего-то до-христіанскаго, даже до-историческаго, индоевропейскаго, обще-арійскаго?

Съ какою безпечною легкостью древніе греки, чистѣйшіе арійцы, превращаютъ бога-человѣка въ бога-звѣря. Члены божески-прекраснаго, просвѣтленнаго человѣческаго тѣла такъ соединяются, переплетаются съ членами животныхъ, даже растеній, Великаго Пана съ Козломъ, Пазифаи съ Быкомъ, Леды съ Лебедемъ, Дафнэ съ Лавромъ,—что трудно иногда рѣшить, гдѣ именно въ человѣкѣ кончается человѣческое, божеское и начинается звѣрское, животное, даже растительное: одно въ другое переходитъ, одно переливается въ другое, какъ отдѣльные цвѣта въ радугѣ. Греки не столько задумываются, сколько забавляются этими метаморфозами, „превращеніями“, какъ сладострастными и веселыми баснями, играютъ какъ дѣти, съ дѣтскою рѣзвостью, этими священными и страшными религіозными сосудами, *соединеніями, символами,* которые

пришли къ нимъ съ дальняго, древняго Востока, и таинственное значеніе которыхъ для нихъ уже почти непонятно.

Но вотъ—такой-же ясный, простодушно-радостный, какъ эллины и, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе глубокій, тихій народъ,—египтяне; можно сказать, что разъ, какъ задумались они надъ соединеніемъ въ человѣкѣ божескаго и звѣрскаго, надъ тайною „Божьей твари", такъ съ тѣхъ поръ никогда и не выходили изъ этой задумчивости, такъ и истощили въ ней всю тысячелѣтнюю культуру. И донынѣ странные боги, изваянные изъ черно-блестящаго, неистребимаго гранита, эти полулюди, полузвѣри,—тѣла человѣческія съ головами кошекъ, собакъ, крокодиловъ, копчиковъ,—или звѣриныя тѣла сфинксовъ съ человѣческими лицами, съ тончайшими и одухотвореннѣйшими улыбками, какія являлись когда-либо на лицѣ человѣческомъ,—которыя нашему близорукому европейскому взгляду кажутся только чудовищно-суевѣрными идолами,—свидѣтельствуютъ объ этой ихъ неподвижной, вѣковѣчной и все-таки недодуманной, страшной и все-таки ясной думѣ.

Другое крошечное племя, горсть бродячихъ семитовъ, пастуховъ и кочевниковъ, чуждое всѣмъ, всѣми гонимое, ненавидимое и презираемое, заблудившееся въ пустыняхъ, цѣлыя тысячелѣтія видѣвшее надъ собою только небо, вокругъ себя только голую, мертвую землю и передъ собою единую, самую простую и великую во всей природѣ, черту, соединяющую небо и землю, черту горизонта, задумалось о единствѣ внѣшняго, стихійнаго, и внутренняго, духовнаго, до- и сверхъ-животнаго міра. Съ неимовѣрною гордыней и возмущеніемъ это жалкое племя признало себя единымъ изъ всѣхъ „языческихъ" племенъ и народовъ „*избраннымъ* народомъ Божіимъ", „Израилемъ",—своего Бога—единымъ истиннымъ Богомъ: „Я—твой Богъ, да

не будетъ у тебя иныхъ боговъ, кромѣ Меня". И во всей многообразной языческой плоти увидѣло оно лишь бездушное тѣло, лишь „мясо", годное для кровавыхъ жертвъ и всесожженій единому Богу Израиля. И ликъ человѣческій—свой собственный ликъ—уединило, отдѣлило какъ ликъ Божій и подобіе Божіе, отъ всей животной языческой твари непереступною бездною. Въ этой идеѣ страшнаго единства, уединенія, въ идеѣ Бога ревнующаго,—какъ огонь поядающаго, есть какъ бы духъ, дыханіе той огненной пустыни, изъ которой вышло это племя и которой оно никогда не могло забыть,—дыханіе, мгновенно раскаляющее и потому иногда поразительно творческое, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и смертоносное, изсушающее.

Іудейство, въ концѣ своей жизни, именно въ то время, когда въ борьбѣ съ многобожіемъ и многоязычіемъ „эллинскаго разсѣянія" отточило, обострило идеи своего религіознаго отъединенія, уединенія до послѣдней ужасающей изувѣрской крайности, столкнулось съ позднимъ эллинизмомъ, въ школѣ Александрійскихъ неоплатониковъ, неопиѳагорейцевъ, гностиковъ, въ этомъ горнилѣ, гдѣ образовался, какъ коринѳская мѣдь изъ множества металовъ, тотъ сплавъ, который называется христіанскою мудростью. Здѣсь впервые духъ Семитства, духъ пустыни и опустошенія дохнулъ на великолѣпно и дико разросшійся, многообразный, многолиственный, баснословный лѣсъ индо-европейскаго міра и хотя отравилъ своимъ ядомъ лишь одну, и безъ того уже засыхавшую, вѣтвь все еще свѣжаго, зеленаго Арійскаго дерева, но ядъ былъ такъ силенъ, что одной капли было достаточно, чтобы заразить новыя, только что хлынувшія изъ Азіи въ Европу, арійскія племена, вслѣдствіе крайней юности своей, беззащитныя передъ всѣми культурными ядами. Старикъ заразилъ ребенка.

Сѣверные полудикари, едва покинувшіе лѣсныя трущобы, приняли утонченнѣйшій и опаснѣйшій плодъ двухъ соединенныхъ и уже истощенныхъ многовѣковыхъ культуръ, съ дѣтской простотой, съ варварской грубостью. Въ христіанствѣ поражала ихъ, плѣняла, какъ плѣняетъ ужасъ, притягивала, какъ притягиваетъ бездна, именно та сторона его, которая была наиболѣе чуждою и противоположною ихъ собственной природѣ,—сторона исключительно семитская: добродѣтель, какъ умерщвленіе плоти, какъ отреченіе отъ міра, какъ уединеніе въ страшной духовной пустынѣ, на вершинѣ тѣхъ столбовъ, на которыхъ коченѣли столпники,—взглядъ на собственное тѣло, какъ на нѣчто неискупимо-грѣшное, звѣрское, скотское, взглядъ на всю животную стихійную природу, изъ которой сами они только что вышли и которую все еще слишкомъ любили,—какъ на порожденіе дьявола.

Этотъ духъ воскресшаго іудейства, духъ пустыни, въ которой скитался Израиль, все болѣе и болѣе усиливаясь въ Средніе Вѣка, пронесся, какъ огненный вихрь, надъ всею европейскою культурою, изсушая послѣдніе цвѣты и плоды греко-римской древности, до самаго Возрожденія, гдѣ, повидимому, онъ изнемогъ.

Но изнемогъ-ли онъ окончательно даже и въ наше время? Не сохраняется-ли и въ современномъ европейскомъ человѣчествѣ старая семитическая религіозная закваска—эти сѣмена потухающей, но все еще не потухшей заразы? Не пережило-ли въ насъ всѣ разрушенія, всѣ освобожденія, безсознательное, вошедшее въ нашу плоть и кровь, почитаніе духа, „чистаго духа“, единаго, уединеннаго, хотя-бы и въ мертвой пустынѣ, всего отвлеченно-духовнаго, безкровнаго и *безплотнаго*, хотя-бы и *безплоднаго*, взглядъ на животную природу, если уже не какъ на нѣчто грѣшное, дьявольское, то все-же унизительное, скотское, и

наконецъ, этотъ столь чуждый древнему арійству, столь чисто-семитскій страхъ передъ непокрытымъ тѣломъ, передъ наготою, какъ передъ чѣмъ-то постыднымъ, прелюбодѣйнымъ, оскверняющимъ?

Изсушающій Семитскій ураганъ прошелъ, однако, только по вершинамъ Арійскаго лѣса: въ чаще его, ближе къ землѣ, къ народу, ближе къ подземнымъ родникамъ и корнямъ, все еще оставалось довольно древней западной арійской влаги и свѣжести, чтобы противодѣйствовать опустошительному зною восточнаго самума; тамъ, въ баснословной тѣни, въ сказочномъ сумракѣ все еще плодилась, копошилась и кишѣла многоязычная, многобожная тварь, „звѣроподобная, бѣсовская нечисть“ — съ точки зрѣнія семитской, а съ арійской—все еще невинная, хотя и безсловесная, „Божья тварь“. Въ народныхъ, арійскихъ, столь родственныхъ индо-европейскому эпосу, средневѣковыхъ церковныхъ легендахъ постоянно является эта „Божья тварь“, Божій Звѣрь, святое животное: таинственный олень св. Губерта-охотника съ крестомъ, сіяющимъ между рогами; овечка, зашедшая въ церковь и во время возношенія Святыхъ Даровъ, съ благоговѣйнымъ блеяніемъ склоняющая колѣна—агнецъ передъ Агнцемъ, какъ будто и за нее пострадалъ Искупитель; св. Антоній Падуанскій, благословляющій рыбъ; св. Францискъ Ассизскій, проповѣдующій птицамъ; нашъ русскій отшельникъ, св. Сергій Радонежскій, укрощающій крестнымъ знаменіемъ свирѣпыхъ медвѣдей; св. Власій, Флоръ и Лавръ,—покровители домашнихъ животныхъ; св. мученикъ Христофоръ, котораго и донынѣ чтитъ русскій народъ, и о которомъ сказано въ одномъ иконописномъ „подлинникѣ“ XVII вѣка: „сей дивный мученикъ, песью главу имущій, бысть отъ страны человѣкоядецъ“, то-есть изъ Эфіопіи, изъ нижняго Египта.

— „Да неужто и у нихъ (то-есть у звѣрей) Христосъ?“—

спрашиваетъ юноша въ разсказѣ старца Зосимы въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“.

„Какъ-же можетъ быть иначе, говорю ему, ибо для всѣхъ Слово, все созданіе и вся тварь, каждый листикъ устремляется къ Слову, Богу славу поетъ, Христу плачетъ, себѣ невѣдомо тайной житія своего безгрѣшнаго совершаетъ сіе. Вонъ, говорю ему, въ лѣсу скитается страшный медвѣдь, грозный и свирѣпый, и ничѣмъ-то въ томъ неповинный“. И разсказалъ я ему, какъ приходилъ разъ медвѣдь къ великому святому, спасавшемуся въ лѣсу, въ малой келейкѣ, и умилися надъ нимъ великій святой, безстрашно вышелъ къ нему и подалъ ему хлѣба кусокъ: „Ступай, дескать, Христосъ съ тобой“, и отошелъ свирѣпый звѣрь послушно и кротко, вреда не сдѣлавъ. И умилился юноша на то, что отошелъ, вреда не сдѣлавъ, и что и съ нимъ Христосъ. „Ахъ, какъ, говоритъ, это хорошо, какъ все Божіе хорошо и чудесно!“ Сидитъ, *задумался* тихо и сладко“.

Да, тутъ есть какая-то незапамятно-древняя, все еще до конца не додуманная, постоянно возвращающаяся, неодолимая религіозная дума человѣчества не только о безплотной святости, но и о *святой плоти*, о переходѣ человѣческаго въ божеское не только черезъ духовное, но и черезъ животное,—незапамятно-древняя и, вмѣстѣ съ тѣмъ самая юная, новая, пророческая дума, полная великаго страха и великаго чаянія: какъ будто человѣкъ, вспоминая о „звѣрскомъ“ въ собственной природѣ, то-есть о незаконченномъ, движущемся, превращаемомъ,—(ибо вѣдь животное есть по преимуществу живое, не замершее, не остановившееся, легко и естественно преобразующееся, переливающееся изъ одной тѣлесной формы въ другую, какъ утверждаетъ и современная наука о животной метаморфозѣ),—вмѣстѣ съ тѣмъ предчувствуетъ, что онъ, че-

ловѣкъ — не послѣдняя достигнутая цѣль, не послѣдній неподвижный вѣнецъ природы, а только путь, только переходъ, только временно черезъ бездну переброшенный мостъ отъ дочеловѣческаго къ сверхчеловѣческому, отъ Звѣря къ Богу.

Темный ликъ Звѣря обращенъ къ землѣ,—но вѣдь у Звѣря есть и *крылья*, а у человѣка ихъ нѣтъ.

Откровеніе св. Іоанна предвѣщаетъ въ самомъ концѣ міра, передъ вторымъ пришествіемъ—явленіе Звѣря, который „выйдетъ изъ бездны". Первый Звѣрь, мудрѣйшій изъ всѣхъ звѣрей, обитавшихъ въ раю, „древній драконъ", *окрыленный* Змій, соблазнившій человѣка плодами съ Древа Познанія:—„вкусите отъ нихъ и откроются глаза ваши и станете, какъ боги",—дастъ этому второму Звѣрю „силу свою, и престолъ свой, и великую власть".—„И дивилась вся земля, слѣдя за Звѣремъ. И поклонились Звѣрю, говоря: кто подобенъ Звѣрю сему и кто можетъ сразиться съ нимъ? И отверзъ онъ уста для хулы на Бога. И дано было ему вести войну со святыми, *и побѣдить ихъ*; и дана ему была власть надъ всякимъ колѣномъ и народомъ, и языкомъ, и племенемъ. И творитъ онъ великія знаменія, такъ что и *огонь низводитъ съ неба на землю передъ людьми*".

Возставшій на небо Прометей—„Прозорливецъ", братъ подземныхъ титановъ со змѣиными тѣлами, тоже „извелъ огонь съ неба на землю".

Нигдѣ, можетъ быть, съ такою силою, какъ здѣсь, въ Апокалипсисѣ, не сказался древній семитскій ужасъ передъ Звѣремъ.

И вѣдь есть-же какая-то неисчерпанная сила у этого Звѣря, ежели дано ему, какъ Антихристу, возстать на Христа и сразиться съ Тѣмъ, Кто „побѣдилъ міръ". Есть-же какая-то страшная, не открывшаяся мудрость и *знаніе* у этого Звѣря.

„Звѣрь *знаетъ* все“,—утверждаетъ дядя Ерошка. Если и не все, то по крайней мѣрѣ онъ знаетъ что-то, чего не знаетъ человѣкъ, *что-то* помнитъ Звѣрь, что человѣкъ уже забылъ и никакъ не можетъ вспомнить; есть у звѣря какое-то непосредственное знаніе,—невинное, „по ту сторону зла и добра“, какое-то *ночное зрѣніе*, ясновидѣніе, которое на нашемъ грубомъ и надменномъ человѣческомъ языкѣ мы называемъ „чутьемъ звѣря“, инстинктомъ.

Звѣрь въ человѣкѣ уснулъ, но, можетъ быть, онъ когда нибудь проснется, можетъ быть, дѣйствительно предстоитъ еще послѣдній поединокъ человѣка со Звѣремъ, Богочеловѣка съ Богомъ-Звѣремъ?

— „Звѣрь знаетъ все. Глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ!“ — повторяетъ въ заключеніе дядя Ерошка и, „опустивъ голову, задумывается“ — такъ-же точно, какъ юноша въ разсказѣ старца Зосимы.

Эта дума—не есть-ли первая, колыбельная и въ то-же время самая послѣдняя, предсмертная дума человѣчества?

Во всякомъ случаѣ это—сокровеннѣйшая дума Л. Толстого — о „Божьей твари“, объ „образѣ звѣриномъ“ въ образѣ человѣческомъ, „въ образѣ и подобіи Божьемъ“,— о первомъ и послѣднемъ Звѣрѣ. Именно къ этой страшной и все-таки ясной думѣ сходятся всѣ ночные титаническіе корни, всѣ подземные родники его творчества. Тутъ ихъ и надо искать,— тутъ просвѣтъ и выходъ въ какую-то другую бездну, въ другое небо.

— „А ты убивалъ людей?—спрашиваетъ Оленинъ дядю Ерошку.

Старикъ вдругъ поднялся на оба локтя и близко придвинулъ свое лицо къ лицу Оленина.

— „Чортъ!—закричалъ онъ на него.—Что спрашиваешь? *Говорить не надо.* Душу загубить мудрено, охъ, мудрено!“

Нѣсколько раньше, во время этой-же самой бесѣды,—

„очнувшись отъ своей задумчивости, Ерошка поднялъ голову и началъ пристально всматриваться въ ночныхъ бабочекъ, которыя вились надъ колыхавшимися огнемъ свѣчи и попадали въ него.

— „Дура, дура!—заговорилъ онъ.—Куда летишь? Дура! Дура! — Онъ приподнялся и своими толстыми пальцами сталъ отгонять бабочекъ.

— „Сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети, мѣста много,— приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить,—Сама себя губишь, *а я тебя жалѣю*".

Должно быть, въ это мгновеніе, по лицу дяди Ерошки, убійцы звѣрей и людей, стараго лѣшаго,—проходитъ улыбка святого старца Зосимы, улыбка невѣдомаго, несознаннаго и неназваннаго милосердія, если не Христова, то все-же болѣе близкаго ко Христу (хотя, можетъ быть, близостью соприкасающихся крайностей), чѣмъ то, которое уже сознало и назвало себя милосердіемъ „христіанскимъ".

Да, дядя Ерошка не только „знаетъ", но и „жалѣетъ", „любитъ" звѣря. Потому и знаетъ, что любитъ. Онъ любитъ и того кабана, за которымъ охотится въ камышахъ и котораго убьетъ. — Вотъ чисто арійское противорѣчіе вотъ живой, животный изгибъ переплетенныхъ вѣтокъ въ арійской заросли, чуждый и непонятный простому, правильному, какъ черта горизонта, безпощадно-прямолинейному и пустыному духу Семита.

Л. Толстой, какъ дядя Ерошка, тоже „знаетъ Звѣря", потому что любитъ его.

Впервые послѣ тысячелѣтій семитскаго опустошенія и уединенія этотъ великій Аріецъ дерзнулъ сопоставить, соединить въ безстрашномъ *Соединеніи—Символѣ* трагедію Звѣря и Человѣка: „нѣмой взглядъ" мертвыхъ глазъ Анны Карениной и „говорящій взглядъ" убитой Вронскимъ ло-

шади взываютъ къ единому божескому правосудію, божескому Лику, помраченному въ ликѣ человѣческомъ.

Въ „Войнѣ и Мирѣ“ охотники смотрятъ на только что затравленнаго матерого волка: „свѣсивъ свою лобастую голову съ закушенною палкою во рту, большими стеклянными глазами онъ смотрѣлъ на всю эту толпу собакъ и людей, окружавшихъ его. Когда его трогали, онъ, вздрагивая завязанными ногами, *дико и вмѣстѣ съ тѣмъ просто* смотрѣлъ на всѣхъ“. Звѣрь „просто“, бездумно и беззлобно смотритъ на людей, своихъ убійцъ—свою смерть.

Такъ-же „просто“ смотритъ на смерть и Платонъ Каратаевъ. Каждое утро и каждый вечеръ говоритъ онъ всегда одинаково: положи, Господи, камушкомъ, подними калачикомъ“, „легъ — свернулся, всталъ — встряхнулся“. Онъ легъ, свернулся и умеръ, — Господь положилъ его „камушкомъ“ можетъ быть, Господь и подыметъ его „калачикомъ“. Каратаевъ знаетъ, *видитъ* что-то, послѣднюю точку какого-то круга, чего-то ему подобнаго, „совершенно круглаго“, что даетъ ему эту простоту жизни и смерти,— не ту-ли самую, о которой сказано: „будьте просты, какъ голуби?“ Волкъ тоже легъ, свернулся и умеръ.

Черезъ какіе муки и ужасы надо пройти бѣдному, умному, „умствующему“ князю Андрею, чтобы достигнуть этой нечеловѣческой, божеской и животной, „змѣиной“ мудрости, этой каратаевской „голубиной“ простоты взгляда на жизнь и смерть, этой „совершенной круглости“.

Въ одной довольно слабой и бездоказательной статьѣ Л. Толстого „Первая ступень“ (XIII ч.), проповѣдующей вегетаріанство, воздержаніе отъ убоины“, есть нѣсколько страницъ,—описаніе смерти животныхъ,—которыя принадлежатъ къ его величайшимъ созданіямъ.

Однажды, близъ Москвы, проѣзжая съ ломовымъ извозчикомъ мимо деревни, Левъ Николаевичъ увидѣлъ, какъ

рѣжутъ свинью. „Одинъ изъ людей полоснулъ ее по горлу ножомъ. Она завизжала, вырвалась и побѣжала прочь, обливаясь кровью. Я — близорукъ и не видѣлъ всего подробно, я видѣлъ только розовое, какъ человѣческое, тѣло свиньи и слышалъ отчаянный визгъ; но извозчикъ видѣлъ всѣ подробности и, не отрывая глазъ, смотрѣлъ туда. Свинью поймали, повалили и стали дорѣзывать. Когда визгъ ея затихъ, извозчикъ тяжело вздохнулъ.

— „Ужели-жъ за это отвѣчать не будутъ?“—проговорилъ онъ.

Черезъ нѣсколько дней, въ Тулѣ, пошелъ Левъ Николаевичъ на бойню. „Былъ жаркій іюльскій день.—Работа была въ самомъ разгарѣ. Въ каморѣ былъ тяжелый запахъ теплой крови, полъ былъ весь коричневый, глянцевитый, и въ углубленіяхъ пола стояла сгущающаяся черная кровь,— Я вошелъ въ камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что въ каморѣ было тѣсно отъ передвигаемыхъ тушъ, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и всѣ мясники, находившіеся тутъ, были измазаны ею, и, войдя въ середину, я непремѣнно измазался-бы кровью. Одну подвѣшенную тушу снимали, другую переводили къ двери, третья — убитый волъ лежалъ бѣлыми ногами кверху, и мясникъ сильнымъ кулакомъ подпарывалъ растянутую шкуру.—Изъ противоположной двери той, у которой я стоялъ, въ это-же время вводили большого, краснаго, сытаго вола. Двое тянули его. И не успѣли они ввести его, какъ я увидалъ, что одинъ мясникъ занесъ кинжалъ надъ его шеей и ударилъ. Волъ, какъ будто ему сразу подбили всѣ четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчасъ-же перевалился на одинъ бокъ и забился ногами и всѣмъ задомъ. Тотчасъ-же одинъ мясникъ навалился на передъ быка, съ противоположной стороны его бьющихся ногъ, ухватилъ его за рога, пригнулъ ему голову къ землѣ,

а другой мясникъ ножемъ разрѣзалъ ему горло, и изъ подъ головы хлынула черно-красная кровь, подъ потокъ который измазанный мальчикъ подставилъ жестяной тазъ. Все время, пока это дѣлали, волъ, не переставая, дергался головой, какъ-бы стараясь подняться, и бился всѣми четырьмя ногами въ воздухѣ. Тазъ быстро наполнялся, но волъ былъ живъ и, тяжело нося животомъ, бился задними и передними ногами, такъ что мясники сторонились его. Когда одинъ тазъ наполнился, мальчикъ понесъ его на головѣ въ альбуминный заводъ, другой—подставилъ другой тазъ, и этотъ сталъ наполняться. Но волъ все такъ-же носилъ животомъ и бился ногами. Когда кровь перестала течь, мясникъ поднялъ голову вола и сталъ снимать съ нея шкуру. Волъ продолжалъ биться. Голова оголилась и стала красная съ бѣлыми прожилками и принимала то положеніе, которое ей давали мясники; съ обѣихъ сторонъ ея висѣла шкура. Волъ не переставалъ биться. Потомъ другой мясникъ ухватилъ быка за ногу, надломилъ ее и отрѣзалъ. Въ животѣ и остальныхъ ногахъ еще пробѣгали содроганія. Отрѣзали и остальныя ноги и бросили ихъ туда, куда кидали ноги воловъ одного хозяина. Потомъ потащили тушу къ лебедкѣ и тамъ распяли ее, и тамъ движеній уже не было.—Я зашелъ потомъ со стороны той двери, въ которую вводили. Тутъ я видѣлъ то-же, только ближе и потому яснѣе. Я увидѣлъ тутъ главное, то, чего я не видалъ изъ первой двери: чѣмъ заставляли входить воловъ въ эту дверь. Всякій разъ, какъ брали вола изъ загона и тянули его спереди на веревкѣ, привязанный за рога волъ, чуя кровь, упирался, иногда ревѣлъ и пятился. Силою втащить двумъ людямъ его нельзя-бы было, и потому всякій разъ одинъ изъ мясниковъ заходилъ сзади, бралъ вола за хвостъ и винтилъ хвостъ, ломая рѣпицу, такъ что хрящи трещали, и волъ подвигался".

Привели быка. Это было „породистое, красивое, черное съ бѣлыми отмѣтинами и ногами,—молодое, мускулистое, энергичное животное“. Онъ долго боролся и вырывался изъ рукъ мясниковъ. Наконецъ, его притянули головой подъ брусъ. „Боецъ примѣрился, ударилъ, и прекрасная, полная жизни скотина рухнулась и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свѣжевали голову. Черезъ пять минутъ торчала уже красная, вмѣсто черной, голова безъ кожи, съ стекляными остановившимися глазами, *такимъ красивымъ свѣтомъ блиставшими* за пять минутъ тому назадъ“.

У мертвой, на столѣ казармы, Анны Карениной—тоже окровавленное тѣло, прекрасное, „еще полное недавней жизни“, и „остановившіеся незакрытые глаза“, только-что *„блестѣвшіе такимъ красивымъ свѣтомъ“*.

Потомъ Левъ Николаевичъ пошелъ въ то отдѣленіе бойни, гдѣ рѣжутъ мелкій скотъ, овецъ и телятъ. Здѣсь уже кончилась работа, и было только два мясника. „Одинъ надувалъ въ ногу уже убитаго барана и похлопывалъ его ладонью по раздутому животу; другой, молодой малый, въ забрызганномъ кровью фартукѣ, курилъ папироску, загнутую.—По виду отставной солдатъ принесъ связаннаго по ногамъ чернаго молодого баранчика и положилъ на одинъ изъ столовъ, точно на постель. Солдатъ, очевидно знакомый, поздоровался, завелъ рѣчь о томъ, когда отпускаетъ хозяинъ. Малый съ папироской подошелъ съ ножемъ, поправилъ его на краю стола и отвѣчалъ, что по праздникамъ. Живой баранъ такъ-же тихо лежалъ, какъ и мертвый, надутый, только быстро помахивалъ коротенькимъ хвостикомъ и чаще, чѣмъ обыкновенно, носилъ боками. Солдатъ слегка, безъ усилія, придержалъ его подымающуюся голову; малый, продолжая разговоръ, взялъ лѣвой рукой за голову барана и рѣзнулъ его по горлу. Баранъ

затрепыхался, и хвостикъ напружился и пересталъ махаться. Малый, дожидаясь, пока вытечетъ кровь, сталъ раскуривать потухшую папироску. Полилась кровь и баранъ сталъ дергаться. Разговоръ продолжался безъ малѣйшаго перерыва".

„А тѣ куры, цыплята, которые каждый день въ тысячахъ кухонь, съ срѣзанными головами, обливаясь кровью, *комично, страшно* — (вотъ, гдѣ опять смѣшное и страшное вмѣстѣ, *смѣшное въ страшномъ*)—прыгаютъ, вскидывая крыльями?"

— „Ужели-жъ за это отвѣчать не будутъ?"—невольно повторяется вопросъ въ душѣ читателя.

— „Человѣкъ, ты царь звѣрей — re delle bestie — ибо воистину звѣрство твое величайшее", пишетъ въ своемъ дневникѣ Леонардо да Винчи, тоже великій аріецъ, не вкушавшій отъ „убоины", жалѣвшій всякую живую тварь. Одинъ флорентійскій путешественникъ XVI вѣка, въ глубинѣ Индіи, по поводу буддійскихъ отшельниковъ, вспоминаетъ земляка своего Леонардо, который точно такъ-же какъ они, „не позволялъ, чтобы въ его присутствіи какому-либо животному или даже растенію причиняли вредъ".

Существуетъ древняя индійская легенда: однажды, искушая Будду, Спасителя міра, злой духъ, подъ видомъ коршуна, преслѣдовалъ голубя; голубь спрятался на груди Будды, и тотъ хотѣлъ защитить его, но коршунъ сказалъ: „По какому праву отнимаешь ты мою добычу? Одинъ изъ насъ долженъ умереть—или онъ отъ моихъ когтей, или я отъ голода. Почему-же тебѣ жаль его, а не меня? Если ты милосердъ и хочешь, чтобы никто не погибъ,—вырѣжь для меня изъ собственнаго тѣла кусокъ мяса, равный голубю". Явились двѣ чаши вѣсовъ. На одну опустился голубь. Будда вырѣзалъ кусокъ мяса изъ тѣла своего и положилъ на другую чашу. Но она осталась неподвижною.

Онъ бросилъ еще кусокъ, еще и еще, изрѣзалъ все свое тѣло, такъ что кровь лилась и обнажились кости, но чаша оставалась неподвижною. Тогда съ послѣднимъ усиліемъ подошелъ онъ къ ней и самъ бросился въ нее. И она опустилась, и чаша съ голубемъ поднялась.

Современному европейскому взгляду легенда эта кажется чудовищною, почти безумною своею чрезмѣрностью. Но въ ней заключенъ глубокій смыслъ: спасти кого-нибудь можно, отдавая не часть, а лишь всего себя.

Изъ этой-то древней, безбрежной арійской жалости къ живому животному вышелъ буддизмъ, и какъ наводненіе, прорывая плотины, разрушилъ самое твердое и окаменѣлое изъ всѣхъ, какія когда-либо были на землѣ, культурныхъ зданій,—касты съ ихъ безпощадными преградами, отдѣлявшими брамина отъ парія такимъ-же разстояніемъ, какъ Бога отъ Звѣря.

Кровопролитіе, избіеніе безчисленныхъ животныхъ, какъ бы страшная бойня, гдѣ „кровь течетъ внизу и капаетъ сверху“ — вотъ служеніе, угодное Богу „ревнующему“, „какъ огонь поядающему“ Богу Семитства, вотъ— „благоуханіе, пріятное Господу“. Всѣ языки, племена и народы земные—только жертвенное „мясо“. „Я войду въ мое точило и буду топтать народы, какъ гроздья, и кровью обагрятся ризы Мои“. Послѣднее ужасающее остріе этой религіи—ожиданіе Мессіи, грядущаго на облакахъ съ силою и славою многою судить живыхъ и мертвыхъ; Онъ— царь Израиля; Онъ отомститъ народамъ за гоненія и бѣдствія народа Божьяго, поработитъ или истребитъ ихъ до конца и воцарится на Сіонѣ во вѣки вѣковъ.

И Мессія пришелъ. — Но гдѣ-же царство, и сила, и слава Его? Вотъ Онъ, сынъ бѣднаго назарейскаго плотника, въ вертепѣ Виѳлеемскомъ, въ ясляхъ, посреди смиреннѣйшихъ людей и животныхъ. И Духъ Божій предъ

лицомъ Котораго „земля бѣжитъ отъ ужаса и горы таютъ какъ воскъ“, сходитъ на Него подъ видомъ голубя. И Царь грядетъ въ Сіонъ при крикахъ „Осанна“! — не страшный, а кроткій, „сидя на ослицѣ и молодомъ ослѣ, сынѣ подъяремной“ — да сбудется реченное черезъ пророка. И звѣри имѣютъ норы свои, и птицы — гнѣзда, а царь Израиля не имѣетъ, гдѣ преклонить голову. И Онъ учитъ людей простотѣ и мудрости животныхъ, растеній: будьте мудры, какъ змѣи и просты, какъ голуби. Взгляните на птицъ небесныхъ: онѣ не сѣютъ, не жнутъ, не собираютъ въ житницы, и Отецъ вашъ Небесный питаетъ ихъ. Посмотрите на полевыя лиліи какъ онѣ растутъ: не трудятся, не прядутъ; но говорю вамъ, что и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ. И не жертвы хочетъ Онъ, а милости. И Самъ умираетъ, какъ жертва, какъ агнецъ, ведомый на закланіе, безгласный въ рукахъ палачей.

Здѣсь, въ послѣдней глубинѣ Семитства—какой перегибъ, перевалъ къ Арійству—отъ выжженной мертвой пустыни Израиля, гдѣ дымятся лишь остатки жертвъ — къ цвѣтущему Божьему саду, новому раю, гдѣ виноградныя лозы и птицы, и колосья, и бѣлыя лиліи, и бѣлые голуби рядомъ съ мудрыми змѣями,—вся многообразная, многоязычная „Божья тварь“,—все живое, животное и растительное,—какой неимовѣрный поворотъ отъ умерщвленія плоти къ *воскресенію плоти.*

Какъ будто достигнувъ крайняго предѣла и острія своего, Семитство преломляетъ, преодолѣваетъ себя и возвращается къ началу своему; какъ будто два противоположные генія міровой культуры,—духъ семитскій и арійскій, духъ смерти и жизни, сквозь всѣ вѣка и народы тяготѣли, стремились другъ къ другу и, наконецъ, вдругъ встрѣтились, какъ два полюса, двѣ половины, два *пола* міра

для какого-то послѣдняго сліянія, соединенія—символа, для какой-то готовящейся вспыхнуть искры послѣдняго пожара.

„Огонь низводитъ съ неба на землю“ Звѣрь антихриста.

„Огонь пришелъ я низвесть на землю, и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже возгорѣлся!“—говоритъ Христосъ.

Но и въ этомъ огнѣ, въ этомъ пожарѣ, которымъ долженъ міръ загорѣться и сгорѣть, остается земная—неземная свѣжесть галилейскихъ лилій неувядаемою. Какая тайна въ благоуханіи бѣлыхъ лилій, въ благоуханіи бѣлой, какъ лиліи, Воскресшей Плоти?

Никто изъ арійцевъ не подходилъ такъ близко, хотя и безсознательно, подземно, только ночнымъ своимъ зрѣніемъ, только ясновидѣніемъ, къ этой послѣдней соединяющей тайнѣ духа и плоти—духовной плоти, какъ Л. Толстой.

Въ „Трехъ Смертяхъ“, раннимъ утромъ мужикъ рубитъ дерево. Въ тишинѣ „странный, чуждый природѣ звукъ разнесся и замеръ на опушкѣ лѣса.—Одна изъ макушекъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то.—Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше, сочныя бѣлыя щепки летѣли на росистую траву, и легкій трескъ послышался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ корню. На мгновеніе все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями“.

Безконечныя предсмерныя мысли и муки князя Андрея, дурной запахъ, грязь, ужасный крикъ Ивана Ильича: „не хочу-у-у!—и это безмолвное качаніе, замираніе вѣтки на срубленномъ деревѣ. Какое постепенное умиротвореніе по нисходящей лѣстницѣ—отъ человѣка къ животному, отъ животнаго къ растенію, отъ растенія къ тающему въ небѣ облаку,—все тише, тише и тише—къ послѣдней тишинѣ. Но и тамъ—не ничтожество, а начало бытія, тамъ выходъ въ другое небо, тамъ „безъимянный мракъ, который прекраснѣе всякаго свѣта“—по слову Плотина. „Въ твоемъ *ничто* я *все* найду, быть можетъ“—отвѣчаетъ Фаустъ Мефистофелю, проваливаясь въ подземную бездну, съ ключами отъ царства *Матерей*.

Птицы небесныя, лиліи полевыя что-то „знаютъ“, что-то помнятъ, что человѣкъ уже забылъ. Лиліи не трудятся, не прядутъ, но и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ. Деревья не думаютъ, не страдаютъ, но и Соломонъ во всей мудрости своей не умиралъ такъ, какъ всякое изъ нихъ.

„Пять лѣтъ нашъ садъ былъ заброшенъ“,—разсказываетъ Л. Толстой,—„я нанялъ работниковъ съ топорами и лопатами, и самъ сталъ работать съ ними въ саду. Мы вырубали и вырѣзывали сушь и дичь, и лишніе кусты, и деревья. Больше всего разрослись и глушили другія деревья тополь и черемуха. Тополь идетъ отъ корней и его нельзя вырыть, а въ землѣ надо вырубать корни. За прудомъ стоялъ огромный, въ два обхвата тополь. Вокругъ него была полянка; она вся заросла отростками тополей. Я велѣлъ ихъ рубить: мнѣ хотѣлось, чтобы мѣсто было веселѣе, а главное—мнѣ хотѣлось облегчить старый тополь, потому что я думалъ—всѣ эти молодыя деревья отъ него идутъ и изъ него тянутъ сокъ. Когда мы вырубали эти молодые тополь ки, мнѣ иногда жалко становилось смо-

трѣть, какъ разрубали подъ землею ихъ сочные коренья, какъ потомъ вчетверомъ мы тянули и не могли вырвать надрубленный тополекъ. *Онъ изо всѣхъ силъ держался и не хотѣлъ умирать. Я подумалъ: видно, нужно имъ жить, если они такъ крѣпко держатся за жизнь.* Но надо было рубить, и я рубилъ. Потомъ уже, когда было поздно, я узналъ, что не надо было уничтожать ихъ. Я думалъ, что отростки вытягиваютъ сокъ изъ стараго дерева, а вышло наоборотъ. Когда я рубилъ ихъ, старый тополь уже умиралъ. Когда распустились листья, я увидѣлъ (онъ расходился на два сука), что одинъ сукъ былъ голый, и въ то-же лѣто онъ засохъ. Онъ давно уже умиралъ и *зналъ* это и передалъ свою жизнь въ отростки. Отъ этого они такъ скоро разрослись, а я хотѣлъ его облегчить—и побилъ всѣхъ его дѣтей".

Растеніе умнѣе человѣка. „Да, глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ!"—какъ повторяетъ старый лѣшій, дядя Ерошка, опуская голову въ глубокой задумчивости. „Любите животныхъ, *любите растенія*",—говоритъ старецъ Зосима,—„каждый листокъ устремляется къ Слову, Богу славу поетъ, Христу плачетъ, себѣ невѣдомо тайной житія своего безгрѣшнаго совершаетъ сіе".

„Одна черемуха выросла на дорожкѣ орѣшника и заглушила лещиновые кусты. Долго думалъ я—рубить или не рубить; *мнѣ жалъ было.* Черемуха эта росла не кустомъ, а деревомъ, вершка три въ отрубѣ и сажени четыре въ вышину, вся развилистая, кудрявая и вся обсыпанная яркимъ, бѣлымъ, душистымъ цвѣтомъ. Издалека слышенъ былъ ея запахъ. Я-бы не срубилъ ее, да одинъ изъ работниковъ (я ему прежде сказалъ вырубить всю черемуху) безъ меня началъ рубить ее. Когда я пришелъ, ужъ онъ врубился въ нее вершка на два и сокъ такъ и хлюпалъ подъ топоромъ, когда онъ попадалъ въ прежнюю тяпку.

„Нечего дѣлать, видно судьба“,—подумалъ я, взялъ самъ топоръ и началъ рубить вмѣстѣ съ мужикомъ. Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топоръ и потомъ напрямикъ подсѣчь подкошенное и дальше, дальше врубаться въ дерево. Я совсѣмъ забылъ о черемухѣ и только думалъ о томъ, какъ-бы свалить ее. Когда я запыхался, я положилъ топоръ, уперся съ мужиковъ въ дерево и пытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на насъ закапало съ него росой, и посыпались бѣлые, душистые лепестки цвѣтовъ. Въ то-же время, *точно вскрикнуло что-то въ серединѣ дерева; мы налегли, и какъ-будто заплакало—затрещало въ серединѣ*, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цвѣтами на траву. Подрожали вѣтки и цвѣты послѣ паденія и остановились.

— „Эхъ! штука-то важная!—сказалъ мужикъ.—*Живо жалко!*“—*А мнѣ такъ было жалко, что я поскорѣе отошелъ къ другимъ рабочимъ*“.

Жаль человѣка, жаль звѣря, жаль дерева, жаль всего, потому что все есть одно живое, животное цѣлое—одна Божья тварь. Что-же дѣлать? Грѣшно вкушать отъ убоины—„добродѣтель несовмѣстима съ бифштексомъ“, говоритъ вегетаріанецъ Л. Толстой,—позволено питаться только невинною растительною пищею. Но вѣдь вотъ—и растенія жаль: „точно вскрикнуло что-то, заплакало“, затрещало въ серединѣ дерева. „Живо жалко!“ „Ужели-жъ за это отвѣчать не будутъ?“—„Нѣтъ, не будутъ отвѣчать“,—успокаиваетъ вегетаріанецъ. Это—безумная, чрезмѣрная буддійская жалость. Не казалась-ли, однако, въ прошлые вѣка и жалость къ животнымъ безумною, чрезмѣрною?

Можетъ быть, наступитъ время, когда всѣ люди откажутся отъ убоины, отъ кроваваго избіенія животныхъ, но

жалость и тогда не перестанетъ мучить людей: именно тогда-то и возгорится огонь ея съ еще небывалою силою. И уже никакое исполненіе внѣшняго долга, никакое нравственное дѣйствіе, никакая жертва не потушатъ этого огня („огонь пришелъ Я низвесть на землю и какъ-бы Я хотѣлъ, чтобы онъ уже возгорѣлся!"),—этого послѣдняго пожара, въ которомъ долженъ міръ сгорѣть.

Жить—это значитъ причинять кому-нибудь смерть. „Мы дѣлаемъ нашу жизнь изъ чужихъ смертей"—„facciamo la nostra vita delle altrui morte",—говоритъ Леонардо да Винчи. Предѣлъ любви—предѣлъ самой жизни, конецъ міра. И міръ идетъ къ этому концу.

„Добродѣтель несовмѣстима съ бифштексомъ",—вотъ законъ, такой-же рабскій и плотскій, какъ тотъ, который повелѣвалъ умилостивлять ревнующаго, пожирающаго Бога кровавыми жертвами. „Не жертвы хочу, а милости", то-есть милосердія,—говоритъ Господь у истиннаго перваго Предтечи Христова—пророка Исаіи. Богъ не требуетъ жертвы, а только *хочетъ* милости. Это—уже не законъ, а свобода.

Если когда-нибудь люди перестанутъ вкушать отъ убоины, то не потому, что такъ должно, а лишь потому, что такъ *хочется*, къ этому вольно и неудержимо влечется сердце; не потому, что таковъ законъ, а потому, что такова свобода. И міръ идетъ къ этой свободѣ,—къ этому концу.

Нѣтъ, изъ безмѣрной буддійской жалости Л. Толстого ко всякой „Божьей твари" вытекаетъ не какое-либо нравственное дѣйствіе, не какой-либо кажущійся новымъ, а въ сущности ветхій завѣтъ, не какой-либо внѣшній, связывающій долгъ и законъ (вродѣ „четырехъ упряжекъ", или „недѣланія", или „воздержанія отъ убоины", или неупотребленія табака), а только дѣйствительно новое, глубочайшее, трагическое и *религіозное созерцаніе*.

„Когда-же я начался?“—говоритъ онъ въ отрывкѣ „Первыя Воспоминанія“.—„Когда началъ жить?—Развѣ я не жилъ тогда, когда учился смотрѣть, слушать, понимать, говорить, когда спалъ, сосалъ и цѣловалъ грудь, и смѣялся, и радовалъ мою мать? Я жилъ и блаженно жилъ. Развѣ не тогда я пріобрѣталъ все то, чѣмъ я теперь живу, и пріобрѣталъ такъ много, такъ быстро, что всю остальную жизнь я не пріобрѣлъ и одной сотой того? *Отъ пятимѣсячнаго ребенка до меня только шагъ. Отъ новорожденнаго до пятимѣсячнаго страшное разстояніе. Отъ зародыша до новорожденнаго пучина. А отъ несуществованія до зародыша уже не пучина, а непостижимость*“.

Эта-то „непостижимость“, эта-то ночная, нижняя бездна, дочеловѣческая „пучина“ всего живого, животного и растительнаго („Посмотрите на полевыя лиліи, какъ онѣ *растутъ*“), всегда и влекла, и притягивала къ себѣ Л. Толстого. Такъ глубоко, такъ безстрашно, какъ еще никто никогда, заглянулъ онъ въ эту бездну, въ эту послѣднюю тайну плоти и крови.

Тайна, таинство Плоти и Крови. Когда Господь открылъ ее ученикамъ Своимъ, она ужаснула ихъ и соблазнила „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день, ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Меня жить будетъ Мною“.

— „Какія странныя слова! Кто можетъ это слушать? Не Іисусъ-ли это, сынъ Іосифовъ, котораго отца и мать мы знаемъ? Какъ Онъ можетъ дать намъ ѣсть Плоть Свою?“

„И съ этого времени многіе изъ учениковъ Его отошли отъ Него и уже не ходили съ Нимъ“.

Но тотъ, кто больше всѣхъ былъ пораженъ „странными словами“, остался съ Нимъ. „Не двѣнадцать-ли васъ

избралъ Я? Но одинъ изъ васъ—діаволъ".—Это говорилъ Онъ объ Іудѣ Симоновѣ Искаріотѣ, ибо сей хотѣлъ предать его, будучи одинъ изъ двѣнадцати".

Былъ-ли Іуда отъ начала діаволъ? Если такъ, то почему избралъ его Господь?—Тутъ есть тайна, отъ которой ключъ потерянъ. Мы только можемъ догадываться, что Іуда былъ вопрощеніемъ древняго чистаго духа семитства, хранителемъ закона, о которомъ и Учитель сказалъ: „Не нарушить, а исполнить законъ Я пришелъ",—хранителемъ сокровищницы Ветхаго Завѣта. Онъ ожидалъ Царя Израиля, грядущаго въ силѣ и славѣ, Сына Бога, для Котораго всѣ племена и народы — только кровавая жертва ярости, какъ огонь поядающей. Когда-же услышалъ онъ, что самъ Богъ становится жертвою, что Царь Израиля есть агнецъ безгласный въ рукахъ палачей, плоть его—пища, и кровь — питіе всѣхъ племенъ и языковъ, всей „твари",—какимъ кощунствомъ это должно было казаться ему! Не нужно было и тридцати сребренниковъ, чтобы рѣшить: лучше одному человѣку погибнуть, чѣмъ всему народу Божьему, всему Израилю, — искупленію міра. И чтобы спасти міръ, Іуда предалъ Сына человѣческаго.

Онъ не принялъ таинства Плоти и Крови, потому что не понялъ, что Духъ и Слово можетъ быть Плотью и Кровью. Другіе приняли, но тоже не поняли, что Плоть и Кровь можетъ быть Духомъ и Словомъ. Господь претворилъ воду въ вино и вино въ кровь. Не обратно-ли претворяется въ послѣдующіе вѣка аскетическаго христіанства кровь въ вино и вино въ воду, святое Тѣло—въ безтѣлесную святость, духовная Плоть—въ безплотную духовность, воскресеніе Плоти—въ умерщвленіе плоти? Не совершается-ли здѣсь второе предательство, равное первому? И вслѣдствіе этого предательства, не теменъ-ли донынѣ сокровенный Ликъ подъ явнымъ? Кто постигъ до

конца, что̀ значитъ въ наступающей тѣни Голгоѳы, надъ послѣднею Вечерью, это благоуханіе уже не галилейскихъ лилій, а Плоти Его, уже не сока виноградныхъ лозъ, а Крови Его? „Какія странныя слова! Кто можетъ это слушать?“ Не ропщутъ-ли, не соблазняются ли ученики и донынѣ? „Блаженъ, кто обо Мнѣ не *соблазнится*“.—„Слова сіи были для нихъ сокровенны и они не разумѣли сказаннаго“. Послѣдняя, страшная и *„соблазняющая“* тайна величайшаго Символа изъ всѣхъ, какіе были, есть и будутъ у человѣчества,—тайна соединенія Духа и Слова съ Плотью и Кровью—не остается-ли все еще неразгаданною?

Если когда нибудь религіозная жажда людей вернется къ этому единственно утоляющему источнику, то, можетъ быть, люди вспомнятъ, что и Л. Толстой, хотя не въ сознаніи своемъ, даже часто противъ своего сознанія, шелъ по этому-же пути, къ этому-же Символу.

Въ нашъ вѣкъ всеобщаго идолослуженія передъ безплотнымъ духомъ или передъ бездушною плотью, онъ, хотя и смутно, но все-же предчувствовалъ ту глубину религіознаго созерцанія, гдѣ открывается и въ религіи, такъ-же какъ древнимъ открылась въ искусствѣ,—святость всякаго тѣла, духовность всякой плоти.

Вотъ, для чего съ такою, повидимому, циническою жестокостью, на самомъ дѣлѣ съ такою стыдливою жалостью, обнажаетъ онъ человѣка отъ всего человѣческаго: онъ ищетъ въ немъ звѣрскаго, чтобы сдѣлать звѣрское божескимъ. И въ послѣдней подземной глубинѣ, въ этой—какъ онъ самъ выражается — „пучинѣ“ и „непостижимости“ всего живого, животнаго, растущаго, растительнаго—онъ уже видѣлъ тотъ свѣтъ, который велъ его къ выходу въ другую половину міра, въ другое небо.

Кажется, еще одна ступень, одно усиліе, и подземный

выходъ окончательно открылся-бы ему, и онъ понялъ-бы, что „небо внизу и небо вверху“—одно и то-же небо, что тайна плоти и тайна духа—одна и та-же тайна.

Но этого шага не сдѣлалъ онъ,—изнемогъ, испугался, затосковалъ о небѣ надземномъ, повернулъ назадъ и устремился отъ того, что̀ казалось ему „язычествомъ“, къ тому, что кажется ему „христіанствомъ“, отъ „духовнаго тѣла“ къ безтѣлесной духовности, отъ святой плоти къ безплотной святости, отъ воскресенія плоти къ умерщвленію плоти. Все, что создано было его творческимъ ясновидѣніемъ, захотѣлъ онъ уничтожить своимъ сознаніемъ.

Но ежели онъ самъ не видитъ, то мы за него видимъ, и тѣ, кто послѣ насъ придутъ, еще яснѣе увидятъ, что къ тайнѣ Христовой былъ онъ истинно близокъ не тогда, когда считалъ себя христіаниномъ, а когда меньше всего думалъ о христіанствѣ,—не въ косноязычномъ лепетѣ старца Акима, а въ безмолвной думѣ дяди Ерошки о „Божьей твари“, о „Звѣрѣ“, который „знаетъ все“, о мудрости небесныхъ птицъ и лилій полевыхъ. Только черезъ божеское въ звѣрскомъ коснулся онъ божескаго въ человѣческомъ,—черезъ Бога-звѣря коснулся Богочеловѣка.

„Съ каждымъ истиннымъ художникомъ“,—говоритъ Л. Толстой,—„случается то, что случилось съ Валаамомъ, который, желая благословить, сталъ проклинать то, что должно было проклинать, и, желая проклинать, сталъ благословлять то, что должно было благословлять; онъ невольно сдѣлалъ не то, что хочетъ, а то, что должно“.

Это именно и произошло съ самимъ Л. Толстымъ, какъ художникомъ: всю свою жизнь проклиналъ онъ, желая благословить, и благословлялъ, желая проклясть,—дѣлалъ не то, что хотѣлъ, а то, что должно было дѣлать. Тамъ, гдѣ видитъ онъ свой стыдъ и грѣхъ—вѣчная слава его и оправданіе.

ПЯТАЯ ГЛАВА.

Если-бы въ литературѣ всѣхъ вѣковъ и народовъ пожелали мы найти художника, наиболѣе противоположнаго Л. Толстому, то намъ пришлось-бы указать на Достоевскаго.

Я говорю—противоположнаго, но не далекаго, не чуждаго, ибо часто они соприкасаются, даже совершенно совпадаютъ, по закону сходящихся крайностей, взаимнаго тяготѣнія двухъ полюсовъ одной и той-же силы.

„Герои“ Л. Толстого, какъ мы видѣли, не столько герои, сколько жертвы: въ нихъ человѣческая личность, не завершившаяся до конца, поглощается стихіями. И такъ какъ здѣсь нѣтъ единой, царящей надо всѣмъ, героической воли, то нѣтъ и единаго, объединяющаго трагическаго дѣйствія,—есть только отдѣльные трагическіе узлы, завязки; отдѣльныя волны, которыя подымаются и падаютъ въ безбрежномъ движеніи, направляемыя не внутреннимъ теченіемъ, а только внѣшними стихійными силами. Ткань произведенія, какъ, впрочемъ, и ткань самой жизни, нигдѣ не начинается, нигдѣ не кончается.

У Достоевскаго всюду—человѣческая личность, доводимая до своихъ послѣднихъ предѣловъ, растущая, развивающаяся изъ темныхъ, стихійныхъ, животныхъ корней до послѣднихъ лучезарныхъ вершинъ духовности, всюду—

борьба героической воли: со стихіей нравственнаго долга и совѣсти—въ Раскольниковѣ; со стихіей сладострастія, утонченнаго, сознательнаго—въ Свидригайловѣ и Версиловѣ; первобытнаго, безсознательнаго—въ Рогожинѣ; со стихіей народа, государства, политики—въ Петрѣ Верховенскомъ, Ставрогинѣ, Шатовѣ; наконецъ,—со стихіей метафизическихъ и религіозныхъ тайнъ—въ Иванѣ Карамазовѣ, въ князѣ Мышкинѣ, въ Кирилловѣ. Проходя сквозь горнило этой борьбы, сквозь огонь раскаляющихъ страстей и еще болѣе раскаляющаго сознанія, ядро человѣческой личности, внутреннее *я* остается неразрушимымъ и обнажается. „Я обязанъ заявить своеволіе"—говоритъ въ „Бѣсахъ„ Кирилловъ, для котораго самоубійство, кажущійся предѣлъ самоотрицанія, есть въ дѣйствительности высшій предѣлъ самоутвержденія личности, предѣлъ „своеволія",—и всѣ герои Достоевскаго могли-бы сказать то-же самое: послѣдній разъ противопоставляютъ они себя поглощающимъ ихъ стихіямъ· утверждаютъ свое *я*, свою личность, „заявляютъ своеволіе"—въ самой гибели своей. Въ этомъ смыслѣ и христіанская покорность Идіота, Алеши, старца Зосимы есть неодолимое сопротивленіе окружающему ихъ, языческому, нехристіанскому, антихристову міру, покорность Божіей, но не человѣческой волѣ, то-есть обратная форма „своеволія", ибо вѣдь и мученикъ, умирающій за *свое* исповѣданіе, за *свою* истину, за *своего* Бога, есть тоже герой: онъ утверждаетъ свою внутреннюю свободу противъ внѣшняго насилія—онъ „заявляетъ своеволіе".

Соотвѣтственно преобладанію героической борьбы, главныя произведенія Достоевскаго, въ сущности, вовсе не романы, не эпосъ, а трагедіи.

„Война и Миръ", „Анна Каренина"—дѣйствительно романы, подлинный „эпосъ. Здѣсь, какъ мы видѣли, художественный центръ тяжести не въ діалогахъ дѣйствующихъ

лицъ, а въ повѣствованіи,—не въ томъ, что̀ они говорятъ, а лишь въ томъ, что̀ о нихъ говорится, не въ томъ, что мы ушами слышимъ, а глазами видимъ.

У Достоевскаго наоборотъ: повѣствовательная часть—второстепенная, служебная въ архитектурѣ всего произведенія. И это бросается въ глаза съ перваго взгляда: разсказъ, написанный всегда однимъ и тѣмъ-же торопливымъ, иногда явно-небрежнымъ языкомъ, то утомительно растянутъ и запутанъ, загроможденъ подробностями, то слишкомъ сжатъ и скомканъ. Разсказъ—еще не текстъ, а какъ бы мелкій шрифтъ въ скобкахъ, примѣчанія къ драмѣ, объясняющія мѣсто, время дѣйствія, предшествующія событія, обстановку и наружность дѣйствующихъ лицъ; это—построеніе сцены, необходимыхъ театральныхъ подмостковъ; когда дѣйствующія лица выйдутъ и заговорятъ,—тогда лишь начнется драма. Въ діалогѣ у Достоевскаго сосредоточена вся художественная сила изображенія; въ діалогѣ все у него завязывается и все разрѣшается. Зато во всей современной литературѣ по мастерству діалога нѣтъ писателя, равнаго Достоевскому.

Левинъ говоритъ такимъ-же языкомъ, какъ Пьеръ Безуховъ или князь Андрей, какъ Вронскій или Позднышевъ; Анна Каренина,—какъ Долли, Китти, Наташа. Если-бы мы не знали, кто о чемъ говоритъ, то не могли-бы отличить одно лицо отъ другого по языку, по звуку голоса, такъ сказать, съ закрытыми глазами. Правда, есть разница между языкомъ простонароднымъ и господскимъ,—но это уже не внутренняя, личная, а только внѣшняя, сословная разница. Въ сущности-же, языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ у Л. Толстого—одинъ и тотъ-же или почти одинъ и тотъ-же: это—разговорный языкъ, даже какъ-бы звукъ голоса самого Льва Николаевича—или въ барскомъ, или въ мужичьемъ нарядѣ. И только потому это сравнительно

мало замѣтно, что въ его произведеніяхъ важно не то, что дѣйствующія лица говорятъ, а то, какъ они молчатъ или-же кричатъ, стонутъ, воютъ, ревутъ, визжатъ, „хрюкаютъ“ отъ боли, отъ страсти; важны не человѣческія слова, а полуживотные, нечленораздѣльные звуки, звукоподражанія, какъ въ бреду князя Андрея: „и пити-пити-пити и ти ти“, или „мычаніе“ Вронскаго надъ убитою лошадью: „*А-а-а! А-а-а!*“, или рыданіе Анатоля надъ собственною отрѣзанною ногою: „*Ооооо! о! Ооооо!*“, или предсмертный крикъ Ивана Ильича: „*У-у!*“ Повторенія однѣхъ и тѣхъ-же гласныхъ *а*, *о*, *у* оказывается достаточнымъ для выраженія самыхъ сложныхъ, страшныхъ, потрясающихъ душевно-тѣлесныхъ чувствъ и ощущеній.

У Достоевскаго нельзя не узнать тотчасъ съ первыхъ-же словъ, не по содержанію рѣчи, а по самому звуку голоса, говоритъ-ли Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ или старецъ Зосима, Раскольниковъ или Свидригайловъ, князь Мышкинъ или Рогожинъ, Ставрогинъ или Кирилловъ. Въ странной, точно не русской, заплетающейся рѣчи нигилиста Кириллова чувствуется нѣчто особенное, жуткое, пророческое и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненное, напряженное, напоминающее о припадкахъ эпилепсіи—то-же, что и въ простомъ, глубоко-народномъ русскомъ языкѣ „святого“ князя Мышкина. Когда Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ, вдругъ весь оживляясь и присюсюкивая, обращается къ сыновьямъ своимъ:

— „Эхъ вы, ребята, дѣточки, поросяточки вы маленькіе, для меня... даже во всю мою жизнь—мовешекъ не существовало,—даже вьельфильки и въ тѣхъ иногда отыщешь такое, что только диву дашься... Босоножку и мовешку надо сперва-на-перво удивить — вотъ, какъ надо за нее браться... Удивить ее надо до восхищенія, до пронзенія, до стыда, что въ такую чернявку, какъ она, такой баринъ

влюбился", — мы видимъ не только душу старика, но и жирный, трясущійся кадыкъ его, и мокрыя, тонкія губы, которыя брызжутъ слюною, и крошечные, безстыдно-проницательные глазки, и весь его хищный обликъ, обликъ „стараго римлянина временъ упадка". Когда мы узнаемъ, что на пакетѣ съ деньгами, запечатанномъ и обвязанномъ ленточкою, написано было собственною рукою Ѳедора Павловича: „ангелу моему Грушенькѣ, если захочетъ прійти", а потомъ, дня черезъ три, прибавлено: *„и цыпленочку"*, — онъ вдругъ весь, какъ живой, встаетъ передъ нами. Мы не могли-бы объяснить,—какъ и почему, но мы чувствуемъ, что въ этомъ запоздаломъ *„и цыпленочку"* уловлена какая-то тончайшая сладострастная морщина въ лицѣ его, отъ которой намъ дѣлается физически-жутко, какъ отъ прикосновенія насѣкомаго—огромнаго паука или тарантула. Это—только слово, но въ немъ—плоть и кровь. Это—конечно „выдумано", но почти невозможно повѣрить, чтобы это было *только* выдумано. Это именно та послѣдняя черточка, вслѣдствіе которой портретъ становится слишкомъ живымъ, какъ будто художникъ, переступая за предѣлы искусства, заключилъ въ полотно и краски нѣчто волшебное, сверхъестественное,—душу того, съ кого писалъ портретъ, такъ что почти страшно смотрѣть на него,—кажется, вотъ-вотъ пошевелится и выступитъ изъ рамы, какъ видѣніе, какъ призракъ.

Такимъ образомъ, Достоевскому не нужно описывать наружность дѣйствующихъ лицъ: особенностями языка, звуками голоса сами они изображаютъ не только свои мысли и чувства, но и свои лица, и свои тѣла. У Л. Толстого движенія, выраженія внѣшняго тѣлеснаго облика, передавая внутреннія состоянія души, часто дѣлаютъ глубокими и многозначительными самыя ничтожныя рѣчи героевъ, даже нечленораздѣльные звуки и молчанія: отъ тѣ-

леснаго Л. Толстой идетъ къ душевному, отъ внѣшняго—къ внутреннему. Не меньшей ясности облика тѣлеснаго достигаетъ обратнымъ путемъ Достоевскій: отъ внутренняго идетъ онъ къ внѣшнему, отъ душевнаго—къ тѣлесному, отъ сознательнаго, человѣческаго—къ стихійно-животному. У Л. Толстого мы слышимъ, потому что видимъ; у Достоевскаго мы видимъ, потому что слышимъ.

Не одно мастерство діалога, но и другія особенности творчества приближаютъ Достоевскаго къ строю великаго трагическаго искусства. Иногда кажется, что только оттого не писалъ онъ трагедій, что внѣшняя форма эпическаго повѣствованія — романа была случайно преобладающею формою современной ему литературы, и также оттого, что не было для него достойной трагической сцены, а главное,—достойныхъ зрителей, ибо всякая трагедія создается лишь соединенными творческими силами художника и зрителей: надо, чтобы въ сердцѣ народа была способность къ трагическому, чтобы трагедія дѣйствительно родилась.

Невольно и естественно подчиняется Достоевскій тому непреложному закону сцены, который такъ необузданно, подъ вліяніемъ Шекспира, отвергла новая драма, тѣмъ самымъ въ корнѣ подрывая свое трагическое дѣйствіе, и который даетъ такую, все еще единственную, ни съ чѣмъ въ современной поэзіи несравнимую силу созданіямъ греческаго театра,—такъ называемому закону *„трехъ единствъ“*—времени, мѣста и дѣйствія.

Въ произведеніяхъ Л. Толстого всегда, рано или поздно, наступаетъ для читателя минута, когда онъ окончательно забываетъ о главномъ дѣйствіи романа, о судьбѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Какъ умираетъ князь Андрей или какъ Николай Ростовъ травитъ зайца, какъ рожаетъ Китти или коситъ Левинъ—для насъ такъ важно и любопытно, что мы теряемъ изъ виду Наполеона и Александра I,

Анну и Вронскаго. Намъ даже любопытнѣе, важнѣе въ эту минуту—затравитъ-ли зайца Николай Ростовъ, чѣмъ—проиграетъ-ли Наполеонъ Бородинское сраженіе. Во всякомъ случаѣ, мы не испытываемъ нетерпѣнія, не торопимся узнать дальнѣйшую судьбу героевъ; мы готовы ждать и развлекаться, сколько автору будетъ угодно. Мы уже не видимъ береговъ и не думаемъ о цѣли плаванія. Въ сущности, здѣсь, какъ и во всякомъ истинномъ эпосѣ, нѣтъ вовсе важнаго и неважнаго. Все безразлично важное, одинаково главное. Въ каждой каплѣ — тотъ-же соленый вкусъ, тотъ-же химическій составъ воды, какъ во всемъ океанѣ. Каждый атомъ жизни движется по тѣмъ-же законамъ, какъ цѣлые міры и созвѣздія.

Раскольниковъ убиваетъ старуху, чтобы доказать себѣ самому, что онъ уже—„по ту сторону добра и зла“, что онъ—не „дрожащая тварь“, а „властелинъ“. Но Раскольниковъ, по замыслу Достоевскаго, долженъ понять, что ошибся,—убилъ не „принципъ“, а только старуху, не „переступилъ“, а только хотѣлъ переступить. И когда онъ это пойметъ, — долженъ ослабѣть, испугаться, выйти на площадь и, ставъ на колѣни, исповѣдываться передъ толпою. И вотъ именно къ этой крайней точкѣ, къ одному этому послѣднему мгновенью въ дѣйствіи романа все направляется, собирается, стягивается, для этого послѣдняго удара все съуживается, заостряется, оттачивается, какъ лезвіе шпаги; къ этому трагическому „паденію“ — катастрофѣ все стремится, какъ теченіе рѣки, стѣсненное скалами, стремится къ тому послѣднему обрыву, съ котораго низвергнется оно водопадомъ.

Тутъ не можетъ быть, не должно быть и дѣйствительно нѣтъ ничего побочнаго, вводнаго, задерживающаго, отвлекающаго вниманіе отъ главнаго дѣйствія. Событія слѣдуютъ одно за другимъ, все быстрѣе и быстрѣе, все

неудержимѣе, гонятъ одно другое, тѣснятся, какъ будто нагромождаются, — на самомъ-же дѣлѣ, въ строгомъ и стройномъ порядкѣ, въ подчиненіи главной единственной цѣли, сосредоточиваются въ возможно большемъ количествѣ въ возможно меньшее время. Ежели и есть у Достоевскаго соперники, то не въ современной, а развѣ въ древней литературѣ—творецъ Орестейи и творецъ Эдипа—по этому искусству постепеннаго напряженія, накопленія, усиленія и ужасающаго сосредоточенія трагическаго дѣйствія.

„Какъ вспомню этотъ несчастный день, — удивляется Подростокъ,—то все кажется, что всѣ эти сюрпризы и нечаянности точно тогда сговорились вмѣстѣ и такъ и посыпались разомъ на мою голову изъ какого-то проклятаго рога изобилія“.—„Это былъ день неожиданностей,—замѣчаетъ разсказчикъ „Бѣсовъ“,—день развязокъ прежняго и завязокъ новаго, рѣзкихъ разъясненій и еще пущей путаницы.—Однимъ словомъ, это былъ день удивительно сошедшихся случайностей“. Такъ и во всѣхъ романахъ Достоевскаго; вездѣ—этотъ „проклятый рогъ изобилія“, изъ котораго сыплются на головы героевъ трагическія неожиданности. Когда мы кончаемъ первую часть „Идіота“, пятнадцать главъ, десять печатныхъ листовъ, то произошло столько событій, обнаружилось столько узловъ, въ которыхъ запутаны нити разнообразнѣйшихъ человѣческихъ судебъ, обнаружалось столько глубинъ человѣческой страсти и совѣсти, что, кажется, отъ начала романа прошли долгіе годы,—въ дѣйствительности прошелъ день, половина сутокъ отъ утра до вечера. Необъятная, всемірно-историческая картина, которая развертывается въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, сосредоточена, если не считать перерывовъ между дѣйствіями, въ нѣсколько дней. Но и въ одинъ день, въ одинъ часъ, и при томъ почти въ одномъ и

томъ-же мѣстѣ или, по крайней мѣрѣ, на самомъ небольшомъ пространствѣ,—между такою-то скамейкой Павловскаго парка и Вокзаломъ, между Садовою улицею и Сѣнною площадью,—герои Достоевскаго переживаютъ, то, что́ обыкновенные люди не успѣваютъ пережить за годы, даже за цѣлую жизнь, переносясь изъ одного конца міра въ другой.

Раскольниковъ стоитъ на лѣстницѣ передъ дверью старухи процентщицы. Онъ „оглядѣлся въ послѣдній разъ, подобрался, оправился и еще разъ попробовалъ въ петлѣ топоръ.—„Не подождать-ли еще... пока сердце перестанетъ биться?“ Но сердце не переставало. Напротивъ, какъ нарочно, стучало сильнѣй, сильнѣй, сильнѣй.—*А тѣла своего онъ почти и не чувствовалъ на себѣ*“.

Для всѣхъ героевъ Достоевскаго наступаетъ мгновеніе, когда они перестаютъ „чувствовать на себѣ свое тѣло“. Это—существа не безплотныя и безкровныя, не призрачныя. Мы хорошо знаемъ, какое у нихъ *было* тѣло, когда еще они его чувствовали на себѣ. Но высшій подъемъ, крайнее напряженіе духовной жизни, наиболѣе раскаляющія страсти не сердца и чувства, а ума, сознанія, совѣсти, даютъ имъ эту освобожденность отъ тѣла, какъ-бы сверхъестественную легкость, окрыленность, духовность плоти. У нихъ именно тѣ *духовныя тѣла*, о которыхъ говоритъ апостолъ Павелъ. Вотъ, кому не душно отъ плоти и крови, отъ „человѣческаго мяса“. Ихъ тѣло до такой степени прозрачно, что, кажется, иногда его не видно вовсе, а видна только душа, въ противоположность героямъ Л. Толстого, у которыхъ часто видно только тѣло, а „души вовсе не видно“.

— „На васъ смотришь и говоришь: „у нея лицо, какъ у доброй сестры“,—описываетъ Идіотъ красоту одной женщины. Любопытно сравнить эти мгновенныя, какъ-бы

сверхчувственныя описанія Достоевскаго съ описаніями Л. Толстого, напримѣръ, наружности Анны Карениной, полными такой безконечно-углубленной чувственности, такъ-же, какъ и вообще „духовныя тѣла“, живыя души Достоевскаго, съ живыми, даже порою слишкомъ живыми, кровяными, мясистыми тѣлами и душами, если не мертвыми, то иногда какъ будто замершими, заглохшими, заросшими плотью, „мясомъ“ у Л. Толстого. Всѣ герои Достоевскаго живутъ, благодаря своей высшей духовности, неимовѣрно-ускоренною, удесятеренною жизнью; у нихъ у всѣхъ, какъ у Раскольникова, „сердце стучитъ сильнѣй, сильнѣй, сильнѣй“, и, кажется, они не ходятъ какъ обыкновенные люди, а летаютъ и въ самой гибели испытываютъ упоеніе этого страшнаго полета, ибо они вѣдь все-таки летятъ въ бездну.

Въ стремительности волнъ чувствуется близость бездны; въ неудержимости трагическаго дѣйствія чувствуется близость катастрофы.

Иногда въ греческихъ трагедіяхъ, передъ самою катастрофою раздается неожиданно-радостная пѣснь Хора во славу Діониса, бога вина и крови, веселія и ужаса. И въ этомъ гимнѣ вся совершающаяся, почти совершившаяся трагедія, все самое роковое и таинственное, что есть въ человѣческой жизни, представляется безпечною игрою какихъ-то зрителей-боговъ. Это веселіе въ ужасѣ, эта трагическая игра—подобна игрѣ зажигающейся радуги въ брызгахъ водопада надъ бездною.

Едва-ли въ современной литературѣ есть другой художникъ, который такъ приближался-бы къ самымъ внутреннимъ, глубокимъ настроеніямъ греческой трагедіи, какъ Достоевскій: не сказывается-ли и у него въ изображеніи катастрофъ нѣчто подобное этому ужасному веселію Хора?

Какъ будто та самая гроза, которая собиралась у

Л. Толстого, здѣсь наконецъ, разражается, и какимъ громовымъ ударомъ, какою молніей ужаса! Нѣтъ больше скуки, томленія, тоски ожиданія, того неподвижнаго зноя, въ которомъ, кажется, нечѣмъ дышать, той медленной мертвенной тяжести, которая давитъ сердце наше въ повседневной жизни. Вотъ, гдѣ все не „тянется, тянется и растягивается", какъ въ бреду князя Андрея, какъ во всѣхъ произведеніяхъ Л. Толстого, какъ, увы, большей частью въ самой дѣйствительности. Порою и въ произведеніяхъ Достоевскаго духъ захватываетъ,—но уже отъ быстроты движенія, отъ вихря событій, отъ полета въ бездну. И какая утоляющая свѣжесть, какое освобожденіе въ этомъ дыханіи бури. Какъ самое мелкое, пошлое, будничное, что̀ только есть въ человѣческой жизни, становится здѣсь праздничнымъ, страшнымъ и веселымъ, точно въ блескѣ молніи.

О музѣ Л. Толстого можно-бы сказать то, что говоритъ однажды Пьеръ Безуховъ о Наташѣ.

— „Умна она?"—спросила княжна Марья. Пьеръ задумался.

— „Я думаю, нѣтъ,—сказалъ онъ,—а впрочемъ, да. *Она не удостаиваетъ быть умною...* Да нѣтъ, она обворожительна, и больше ничего".

Обворожительность толстовской музы заключается именно въ томъ, что она какъ будто „не удостаиваетъ быть умною", что съ нею иногда забываешь вовсе о человѣческомъ умѣ, помнишь только о мудрости дочеловѣческой, о мудрости птицъ небесныхъ, лилій полевыхъ.

Что касается музы Достоевскаго, то можно сомнѣваться въ какихъ угодно качествахъ ея,—но только не въ умѣ. Онъ замѣчаетъ однажды, что у писателя должно быть жало: „это жало,—поясняетъ онъ,—есть остроуміе глубокаго чувства". Кажется, никто изъ русскихъ писа-

телей, кромѣ Пушкина, не обладалъ въ такой мѣрѣ этимъ *умнымъ жаломъ чувства*, какъ Достоевскій.

Въ противоположность излюбленнымъ героямъ Л. Толстого, не столько умнымъ, сколько „умствующимъ“, главные герои Достовескаго—Раскольниковъ, Версиловъ. Ставрогинъ, князь Мышкинъ, Иванъ Карамазовъ, — люди, прежде всего, умные; это, кажется, даже вообще самые умные, сознательные, культурные, самые европейскіе изъ русскихъ людей,—они потому и русскіе, что „въ высшей степени европейцы“.

Мы привыкли думать, что мысль, чѣмъ отвлеченнѣе,—тѣмъ холоднѣе, безстрастнѣе. Но это не такъ, или, по крайней мѣрѣ, уже для насъ не такъ. На герояхъ Достоевскаго видно, какъ отвлеченныя мысли могутъ быть страстными, какъ метафизическія посылки и выводы коренятся не только въ нашемъ разумѣ, но и въ сердцѣ, чувствѣ, волѣ.

Существуютъ мысли, которыя подливаютъ масла въ огонь страстей, зажигаютъ человѣческую плоть и кровь сильнѣе, чѣмъ самыя неудержимыя похоти. Существуетъ логика страстей; но существуютъ и *страсти логики*. И это—по преимуществу наши, особенныя, чуждыя людямъ прежнихъ культуръ, новыя страсти.—Прикосновеніе голаго тѣла къ самому холодному производитъ иногда впечатлѣніе ожога: прикосновеніе сердца къ самому отвлеченному, метафизическому производитъ иногда дѣйствіе раскаляющей страсти.

Раскольниковъ „отточилъ свою казуистику, какъ бритву“. Но объ эту бритву отвлеченностей онъ и въ дѣйствительной жизни обрѣжется чуть не до смерти. Его преступленіе есть плодъ — какъ выражается судебный слѣдователь Порфирій—„теоретически раздраженнаго сердца“. Точно то-же можно-бы сказать о всѣхъ герояхъ Достоевскаго:

ихъ страсти, ихъ преступленія, совершаемыя или только „разрѣшаемыя по совѣсти“, суть неизбѣжные выводы ихъ діалектики. Ледяная, отточенная, какъ бритва, она не гаситъ, а разжигаетъ, раскаляетъ страсть. Въ ней—огонь и ледъ вмѣстѣ. Они глубоко чувствуютъ, потому что глубоко думаютъ; безконечно страдаютъ, потому что безконечно сознаютъ; смѣютъ хотѣть, потому что смѣютъ мыслить. И чѣмъ, повидимому, дальше отъ жизни, отвлеченнѣе—тѣмъ пламеннѣе мысль, тѣмъ глубже войдетъ она въ жизнь, тѣмъ неизгладимѣе запечатлѣется выжженный ею слѣдъ на живой человѣческой плоти и крови.

И самая отвлеченная мысль есть вмѣстѣ съ тѣмъ самая страстная, жгучая мысль о Богѣ. „Всю жизнь меня Богъ мучилъ!“—признается нигилистъ Кирилловъ. И всѣхъ героевъ Достоевскаго „мучитъ Богъ“. Не жизнь тѣла,—его конецъ и начало, смерть и рожденіе, какъ у Л. Толстого,—а жизнь духа, отрицаніе и утвержденіе Бога у Достоевскаго есть вѣчно кипящій родникъ всѣхъ человѣческихъ страстей и страданій. Потокъ самой дѣйствительной, самой „живой жизни“, низвергаясь только съ этихъ именно высочайшихъ ледяныхъ вершинъ метафизики и религіи, пріобрѣтаетъ для него ту силу страсти, силу дѣйствія, неудержимую стремительность, которая влечетъ его къ трагической катастрофѣ или разрѣшенію, къ паденію, въ пропасть или полету.

Великіе поэты прошлыхъ вѣковъ, изображая страсти сердца, оставляли безъ вниманія страсти ума, какъ-бы считая ихъ предметомъ, невозможнымъ для художественнаго изображенія. Если Фаустъ и Гамлетъ намъ ближе всѣхъ героевъ, потому что они больше всѣхъ мыслятъ, то все-таки они меньше чувствуютъ, меньше дѣйствуютъ, именно потому, что больше мыслятъ, и все-таки трагедія Гамлета, Фауста заключается въ неразрѣшимомъ *для нихъ*

противорѣчіи страстнаго сердца и безстрастной мысли. Но не возможна-ли трагедія мыслящей страсти и страстной мысли? Не принадлежитъ-ли именно этой трагедіи будущее? Во всякомъ случаѣ, Достоевскій одинъ изъ первыхъ къ ней приблизился.

Онъ побѣдилъ свойственную новымъ художникамъ, суевѣрную робость чувства передъ умомъ. Онъ увидѣлъ и показалъ намъ связь, которая существуетъ между трагедіей нашего сердца и трагедіей нашего разума — нашего философскаго и религіознаго сознанія. Это для него—по преимуществу современная русская трагедія. Онъ замѣтилъ, что стоитъ образованнымъ русскимъ людямъ въ извѣстномъ настроеніи сойтись—въ свѣтской-ли гостиной, какъ слушатели князя Мышкина, или въ грязномъ трактирчикѣ съ безголосымъ соловьемъ, какъ Подростокъ съ Версиловымъ, Иванъ Карамазовъ съ Алешею,—чтобы заспорить о самыхъ, повидимому, отвлеченныхъ предметахъ—о будущности европейской культуры, о безсмертіи души, о существованіи Бога. На самомъ дѣлѣ, не только образованные русскіе люди, но и весь русскій народъ, какъ свидѣтельствуетъ хотя-бы исторія нашего сектантства отъ „жидовствующихъ“ XV вѣка до современныхъ скопцовъ и духоборцевъ,—занятъ мыслью о Богѣ, о Христѣ и Антихристѣ, о кончинѣ міра,—„всѣ нынѣ сумнятся, всѣ о вѣрѣ пытаютъ на путяхъ и на торжищахъ“ — жаловался еще преподобный Іосифъ Волоцкій. Именно этою врожденною философскою и религіозною чуткостью,—казалось Достоевскому,—русскіе люди „въ высшей степени— европейцы“, если не современные, то будущіе европейцы. Въ этой неутомимой религіозной жаждѣ усматривалъ онъ признакъ неизбѣжнаго участія русскаго духа, русскаго слова въ будущей всемірно-исторической культурѣ.

Какъ въ тѣлесной впечатлительности нашей что-то мѣ-

няется, по прочтеніи Л. Толстого, такъ, по прочтеніи Достоевскаго, что-то мѣняется въ нашей духовной, если такъ можно выразиться, *умственной впечатлительности*. У него постоянно встрѣчаются тѣ ледяныя и жгучія иглы діалектики, по преимуществу русскія отвлеченно-страстныя мысли, которыхъ—читатель это чувствуетъ—нельзя забыть,—ни отвергнуть, ни принять безнаказанно. Мысли входятъ не только въ умъ, но и въ сердце, волю нашу, въ дѣйствительную жизнь, какъ новыя, можетъ быть, роковыя событія, которыя должны имѣть послѣдствія. Мы когда-нибудь вспомнимъ о нихъ и, можетъ быть, именно въ самыя рѣшающія, страстныя минуты жизни. „Это,—какъ самъ Достоевскій говоритъ,—разъ пронзаетъ сердце, а потомъ навѣки остается рана". Или, какъ говоритъ апостолъ Павелъ: это—„живо и дѣйственно и острѣе всякаго меча обоюдоостраго: оно проникаетъ до раздѣленія души и духа, составовъ и мозговъ, и судитъ помышленія и намѣренія сердечныя".

Существуютъ простодушные читатели съ размягченною дряблою современною чувствительностью, которымъ Достоевскій всегда будетъ казаться „жестокимъ", только „жестокимъ талантомъ".

И въ самомъ дѣлѣ, въ какія невыносимо-безвыходныя, неимовѣрныя положенія ставитъ онъ своихъ героевъ. Чего онъ только надъ ними не продѣлываетъ. Черезъ какія бездны нравственнаго паденія, духовныя пытки, не менѣе ужасныя, чѣмъ тѣлесная пытка Ивана Ильича, доводитъ онъ ихъ до преступленія, самоубійства, слабоумія, бѣлой горячки, сумасшествія. Не сказывается-ли у Достоевскаго въ этихъ страшныхъ и унизительныхъ положеніяхъ человѣческихъ душъ такое-же циническое злорадство, какъ у Л. Толстого въ страшныхъ и унизитель-

ныхъ положеніяхъ человѣческихъ тѣлъ? Не кажется-ли иногда, что Достоевскій мучитъ свои „жертвочки“ безъ всякой цѣли, только для того, чтобы насладиться ихъ муками? Да, во-истину, это—палачъ, сладострастникъ мучительства, Великій Инквизиторъ душъ человѣческихъ,—„жестокій талантъ“.

И развѣ все это естественно, возможно, *реально*, развѣ это бываетъ въ дѣйствительной жизни? Гдѣ это видано? И если даже бываетъ, то какое дѣло намъ, здравомыслящимъ людямъ, до этихъ рѣдкихъ изъ рѣдкихъ, исключительныхъ изъ исключительныхъ случаевъ, до этихъ нравственныхъ и умственныхъ чудовищностей, уродствъ и юродствъ, подобныхъ видѣніямъ горячечнаго бреда?

Вотъ главное, всѣмъ понятное обвиненіе противъ Достоевскаго — неестественность, необычность, искусственность, отсутствіе такъ называемаго „здороваго реализма“.

„Меня зовутъ психологомъ,—говоритъ онъ самъ,—неправда, я лишь *реалистъ въ высшемъ смыслѣ*, т. е. изображаю всѣ глубины души человѣческой“.

Естествоиспытатель—тоже иногда „въ высшемъ смыслѣ реалистъ“—реалистъ новой, еще неизвѣстной, небывалой реальности,—дѣлая научные опыты, окружаетъ въ своихъ машинахъ и приборахъ естественное явленіе природы искусственными, исключительными, рѣдкими, необычайными условіями и наблюдаетъ, какъ, подъ вліяніемъ этихъ условій, явленіе будетъ измѣняться. Можно-бы сказать, что сущность всякаго научнаго опыта заключается именно въ преднамѣренной искусственности окружающихъ условій. Такъ, химикъ, увеличивая давленіе атмосферъ до степени невозможной въ условіяхъ извѣстной намъ природы, постепенно сгущаетъ воздухъ и доводитъ его отъ газообразнаго состоянія до жидкаго. Не кажется-ли „нереальною“‘ неестественною, сверхъестественною, чудесною эта

темно-голубая какъ самое чистое небо, прозрачная жидкость, испаряющаяся, кипящая и холодная, холоднѣе льда, холоднѣе всего, что мы можемъ себѣ представить? Жидкаго воздуха не бываетъ, по крайней мѣрѣ не бываетъ въ доступной нашему изслѣдованію, земной природѣ. Онъ казался намъ чудомъ,—но вотъ онъ оказывается самою реальною научною дѣйствительностью. Его „не бываетъ“, но онъ есть.

Не дѣлаетъ-ли чего-то подобнаго и Достоевскій—„реалистъ въ высшемъ смыслѣ“—въ своихъ опытахъ съ душами человѣческими? Онъ тоже ставитъ ихъ въ рѣдкія, странныя, исключительныя, искусственныя условія и самъ еще не знаетъ, ждетъ и смотритъ, что изъ этого выйдетъ, что съ ними будетъ, Для того, чтобы непроявившіяся стороны, силы, сокрытыя въ „глубинахъ души человѣческой“, обнаружились,—ему необходимы такая-то степень давленія нравственныхъ атмосферъ, которая, въ условіяхъ *теперешней* „реальной“ жизни, никогда или почти никогда не встрѣчается,—или разрѣженный, ледяной воздухъ отвлеченной діалектики, или огонь стихійно-животной страсти, огонь бѣлаго каленія. Въ этихъ опытахъ иногда получаетъ онъ состоянія души человѣческой, столь-же новыя, кажущіяся невозможными, „неестественными“, сверхъестественными, какъ жидкость воздуха. Подобнаго состоянія души не бываетъ; по крайней мѣрѣ, въ доступныхъ нашему изслѣдованію, культурно-историческихъ и бытовыхъ условіяхъ—не бываетъ: но оно можетъ быть, потому что міръ духовный такъ-же, какъ вещественный, „полонъ,—по выраженію Леонардо да Винчи, неисчислимыми возможностями, которыя еще никогда не воплощались“. Этого не бываетъ, и однако это болѣе, чѣмъ естественно, это *есть*.

Такъ называемая „психологія“ Достоевскаго напоми-

наетъ огромную лабораторію съ тончайшими и точнѣйшими приборами, машинами для измѣренія, изслѣдованія, испытыванія душъ человѣческихъ. Легко себѣ представить, что непосвященнымъ лабораторія эта должна казаться чѣмъ-то вродѣ „дьявольской кухни“ средневѣковыхъ алхимиковъ.

Впрочемъ, нѣкоторые изъ его научныхъ опытовъ дѣйствительно могутъ быть и не совсѣмъ безопасны для самого изслѣдователя. Намъ, по крайней мѣрѣ, иногда становится страшно за него. Вѣдь глаза его впервые видятъ то, что, казалось, не позволено видѣть глазамъ человѣческимъ. Онъ сходитъ въ „глубины“, въ которыя еще никогда никто не сходилъ. Вернется-ли? Справится-ли съ тѣми силами, которыя вызвалъ? Что, если онѣ прорвутъ очерченный имъ заколдованный кругъ? Намъ страшно за безстрашнаго. Въ этой отвагѣ изслѣдованія, которая ни передъ чѣмъ не останавливается, въ этой потребности доходить во всемъ до конца, до „послѣдней черты“, переступать за предѣлы—есть нѣчто въ высшей степени современное, свойственное, если еще не всей европейской культурѣ, то, по крайней мѣрѣ, уже европейской наукѣ, и въ то-же время въ высшей степени русское,—то самое, что есть и у Л. Толстого: не съ такимъ же-ли дерзновеннымъ любопытствомъ, какъ Достоевскій въ „глубины души человѣческой“, въ бездны духа, заглянулъ Л. Толстой въ противоположныя, но *не меньшія* бездны плоти? Впослѣдствіи мы увидимъ, какъ они отвѣчаютъ другъ другу, точно сговорившись,—какъ изъ ихъ произведеній чуждыми и все-таки родными голосами эти двѣ бездны перекликаются.

Въ романахъ Достоевскаго есть мѣста, въ которыхъ всего болѣе отражаются особенности его, какъ художника, и о которыхъ трудно рѣшить, такъ-же, какъ о нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Гете и рисункахъ Леонарда да

Винчи, что это—искусство или наука? Во всякомъ случаѣ это не „чистое искусство“ и не „чистая наука“. Здѣсь точность знанія и ясновидѣніе творчества—вмѣстѣ. Это новое *соединеніе*, которое предчувствовали величайшіе художники и ученые, и которому нѣтъ еще имени.

И вотъ все-таки—„жестокій талантъ“. Упрекъ этотъ, какъ-бы чувство неясной, но личной досады, остается въ сердцѣ читателей, одаренныхъ такъ называемою *„душевною теплотою“*, которую иногда хотѣлось-бы назвать *„душевною оттепелью“*.—Зачѣмъ эти острыя „жала“, эти крайности, этотъ „ледъ и огонь?“ Зачѣмъ не подобрѣе, не потеплѣе или не попрохладнѣе?—Что-жъ, можетъ быть, они и правы, можетъ быть, дѣйствительно, Достоевскій — „жестокъ“, даже болѣе жестокъ, хотя ужъ, конечно, и болѣе милосердъ, чѣмъ они могутъ себѣ представить. И если даже цѣль его жестокости—знаніе, то вѣдь въ глазахъ людей съ теплыми, не холодными и горячими, а именно только *теплыми* душами, эта цѣль не оправдываетъ средства. Не позволено-ли было-бы, однако, усомниться: такой-ли ужъ онъ, въ самомъ дѣлѣ, „жестокій талантъ“ и для нихъ, какъ они увѣряютъ? Существуютъ яды, которые убиваютъ человѣка, но не дѣйствуютъ на животныхъ. Можетъ быть, именно для тѣхъ, кому Достоевскій кажется жестокимъ, только „жестокимъ талантомъ“,—самыя главныя жестокости его, самые смертельные жала и яды останутся навѣки безвредными.

Есть вопросъ, болѣе достойный вниманія,—вопросъ о жестокости Достоевскаго не къ другимъ, а къ себѣ самому, о *болѣзни* или, по крайней мѣрѣ, *болѣзненности* его, какъ художника.

Въ самомъ дѣлѣ, что за странный писатель, съ неутолимымъ любопытствомъ „копающійся“ только въ болѣз-

няхъ, только въ самыхъ страшныхъ и позорныхъ язвахъ души человѣческой, вѣчно бередящій эти язвы, какъ будто не можетъ или не хочетъ онъ говорить о другомъ. И что за странные герои—эти „блаженненькіе“, кликуши, сладострастники, юродивые, бѣсноватые, идіоты, помѣшанные. Можетъ быть, это—не столько художникъ, сколько врачъ душевныхъ болѣзней, и при томъ такой врачъ, которому должно сказать: врачъ, исцѣлися самъ? Можетъ быть, это не столько герои, сколько собраніе болѣе или менѣе любопытныхъ „клиническихъ случаевъ?“ И въ концѣ „концовъ, что-же намъ, здоровымъ, здравомыслящимъ—до всей этой „силоамской купели?“ Что намъ, неуязвимымъ, до этихъ уязвленныхъ?

Но вѣдь вотъ, мы-же знаемъ, что самыя позорныя язвы позорнѣйшаго орудія пытки сдѣлались славными, страшными отъ славы и святости, оказались и все еще оказываются единственнымъ источникомъ вѣчнаго здоровья, единственною надеждою уязвленнаго міра на исцѣленіе, ибо во-истину только „язвами Его мы исцѣлѣли“.—Недолжно-ли намъ, получившимъ такое всемірно-историческое предостереженіе, намъ, хотя-бы только по имени „христіанамъ“, относиться съ менѣе развязною „клиническою“ самоувѣренностью, съ болѣе утонченною культурною осмотрительностью ко всякимъ вообще язвамъ, болѣзнямъ человѣческаго духа и плоти? Мы, положимъ, знаемъ о нихъ больше, чѣмъ лекари и знахарки. Но, можетъ быть, все-таки мы знаемъ о нихъ *не все?*

Намъ слишкомъ, напримѣръ, очевидна связь между здоровьемъ и силою, избыткомъ жизни—съ одной стороны, между болѣзнью и слабостью, ущербомъ жизни—съ другой. Не существуетъ-ли, однако, менѣе очевидная, но не менѣе дѣйствительная связь между болѣзнью и силою, между кажущеюся болѣзнью и дѣйствительною силою? Ежели сѣмя

не переболѣетъ, не умретъ, не истлѣетъ, то и не оживетъ—не дастъ плода. Если безкрылое насѣкомое въ куколкѣ не переболѣетъ, то никогда не сдѣлается крылатымъ. И „женщина, когда рожаетъ, терпитъ скорбь, потому что пришелъ часъ ея; но когда родитъ младенца, уже не помнитъ скорби отъ радости, потому что родился человѣкъ въ міръ". Это—болѣзнь не къ смерти, а къ жизни, болѣзнь отъ здоровья и къ здоровью, необходимая, естественная, здоровая болѣзнь. Вотъ цѣлыя поколѣнія, цѣлыя всемірно-историческія культуры и народы какъ-будто умираютъ отъ болей; но и это—„боли родовъ", и эта болѣзнь—не къ смерти, а къ жизни, естественная, *здоровая болѣзнь*. Здѣсь, однако, уже неизмѣримо труднѣе отличить кажущуюся болѣзнь отъ дѣйствительной, Упадокъ—отъ Возрожденія. Здѣсь мы все еще бродимъ въ потемкахъ, ощупью. Только смутно предчувствуемъ, что бываютъ какія-то сложныя и опасныя культурныя болѣзни, которыя зависятъ не отъ скудости, а отъ избытка непроявившейся жизни, накопленной внутренней силы, не находящей себѣ выхода,—отъ чрезмѣрности здоровья. Нашимъ русскимъ богатырямъ иногда становилось „тяжело отъ силы", какъ отъ „бремени", они казались больными, потому что были слишкомъ здоровыми. Наши богатыри только варвары. Но вѣдь и древніе эллины, самые трезвые и разумные изъ людей, въ своихъ подземныхъ элевзинскихъ таинствахъ, гдѣ хлѣбъ претворяется въ плоть, и въ таинствахъ Діониса, гдѣ вино претворялось въ кровь, казались пьяными, „вышедшими изъ себя", безумными отъ оргійнаго избытка здоровья, отъ вакхической мудрости.

Бываетъ и наоборотъ: временный, кажущійся избытокъ жизни, изощреніе естественныхъ способностей зависитъ отъ дѣйствительной болѣзни. Слишкомъ натянутая струна

звучитъ сильнѣе передъ тѣмъ, чтобы лопнуть. Пламя вспыхиваетъ ярче передъ тѣмъ, чтобы угаснуть.

Да, чѣмъ глубже вдумываешься, тѣмъ труднѣе и загадочнѣе становится вопросъ о культурныхъ болѣзняхъ вообще, о „священной“ или не священной болѣзни Достоевскаго въ частности. Кажется, впрочемъ, ясно даже съ перваго взгляда, что, великъ онъ или малъ,—во всякомъ случаѣ не похожъ ни на кого въ семьѣ великихъ писателей всемірной литературы. Значитъ-ли это, что въ семьѣ не безъ урода? Потому-ли онъ ни на кого не похожъ, что боленъ, или потому боленъ, что не похожъ ни на кого? Сила-ли его отъ болѣзни, или болѣзнь отъ силы? Дѣйствительная-ли святость—если не самого Достоевскаго (хотя близкіе къ нему люди увѣряютъ, что бывали, такія минуты, когда и онъ казался почти „святымъ“), то хотя-бы святость „Идіота“ — отъ кажущейся болѣзни, или несомнѣнная болѣзнь отъ сомнительной святости?

Я ничего не предрѣшаю; я только указываю на то, что, можетъ быть, теперь уже нельзя отъ этого вопроса отдѣлываться съ тою легкостью, которая свойственна исключительно будто бы научной, *клинической* точкѣ зрѣнія.

— „Сходите къ доктору“, — совѣтуетъ Раскольниковъ Свидригайлову, который разсказалъ ему о своихъ „привидѣніяхъ“.

— „Это-то я и безъ васъ понимаю,—отвѣчаетъ Свидригайловъ,—что нездоровъ, хотя, право, не знаю чѣмъ; по моему, я, навѣрно, здоровѣе васъ впятеро. Я васъ не про то спросилъ—вѣрите-ли вы, или нѣтъ, что привидѣнія являются? Я васъ спросилъ: вѣрите-ли вы, что *есть* привидѣнія?

— „Нѣтъ, ни за что не повѣрю! — съ какою-то даже злобою вскричалъ Раскольниковъ.

— „Вѣдь обыкновенно какъ говорятъ? — бормоталъ

Свидригайловъ какъ-бы про себя, смотря въ сторону и наклонивъ нѣсколько голову.—Они говорятъ: „ты боленъ, стало-быть, что тебѣ представляется—есть одинъ только несуществующій бредъ“. *А вѣдь тутъ нѣтъ строгой логики.* Я согласенъ, что привидѣнія являются только больнымъ; но вѣдь этого только доказываетъ, что привидѣнія могутъ являться не иначе, какъ больнымъ, а не то, что ихъ нѣтъ самихъ по себѣ.

— „Конечно, нѣтъ!—раздражительно настаивалъ Раскольниковъ.

— „Нѣтъ? Вы такъ думаете?—продолжалъ Свидригайловъ, медленно посмотрѣвъ на него.—Ну, а что если такъ разсудить (вотъ, помогите-ка): привидѣнія—это, такъ сказать, клочки и отрывки другихъ міровъ, ихъ начало. Здоровому человѣку ихъ, разумѣется, не зачѣмъ видѣть, потому что здоровый человѣкъ есть наиболѣе земной человѣкъ и, стало быть, долженъ жить одною здѣшнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболѣлъ, чуть нарушился нормальный земной порядокъ въ огранизмѣ, тотчасъ и начинаетъ сказываться возможность другого міра, и *чѣмъ больше боленъ, тѣмъ и соприкосновеній съ другимъ міромъ больше*“.

Понятно, почему Раскольниковъ раздражается: хотя у него самого діалектика, на которую онъ вѣдь только и разсчитываетъ, „отточена, какъ бритва„,—онъ чувствуетъ, что у Свидригайлова, котораго презираетъ, какъ завѣдомаго „мерзавца“, она, пожалуй, еще острѣе. Не смѣется-ли по-просту Свидригайловъ надъ Раскольниковымъ? Не дразнить-ли его своими „привидѣніями?“ Или Свидригайлову не до смѣха? Если, впрочемъ, онъ и вѣритъ, то только потому, что окончательно усомнился во всемъ—даже въ безвѣріи. Во всякомъ случаѣ для него „соприкосновенія съ другимъ міромъ“ не представляютъ ничего утѣшитель-

наго. Онъ вѣдь самъ тотчасъ признается, что вѣчность иногда ему кажется „комнатой, этакъ вродѣ деревенской бани, закоптѣлой, съ пауками по всѣмъ угламъ“. Чего-бы не отдалъ „вѣрующій“ Свидригайловъ за ребяческую наивность Раскольникова, которая еще позволяетъ ему отвѣчать съ такою циническою легкостью:

— Я не вѣрю въ будущую жизнь!—Вы, должно быть, больны,—пойдите къ доктору.

Любопытно, что самъ Достоевскій въ предсмертномъ дневникѣ, высказывая замѣтныя мысли свои о христіанствѣ, повторяетъ почти слово въ слово выраженія Свидригайлова:

„Убѣжденіе человѣчества въ *соприкосновеніи мірамъ инымъ*, упорное и постоянное, то-же вѣдь весьма значительно“.

Мало того, — эти слова Свидригайлова повторяетъ и „святой“ старецъ Зосима въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“: „взрощенное живетъ и живо лишь чувствомъ *соприкосновенія* таинственнымъ мірамъ инымъ“.

Въ мысляхъ о болѣзни, какъ объ источникѣ какого то высшаго или, по крайней мѣрѣ, не всѣмъ доступнаго бытія, сходится съ „мерзавцемъ“ и „развратникомъ“ Свидригайловымъ и „святой“ князь Мышкинъ—„Идіотъ“.

„Онъ задумался, между прочимъ, о томъ, что въ эпилептическомъ состояніи его была одна степень передъ самымъ припадкомъ — когда вдругъ, среди грусти, душевнаго мрака, давленія, какъ-бы воспламенялся его мозгъ, и съ необыкновеннымъ порывомъ напрягались разомъ всѣ жизненныя силы его. Ощущеніе жизни, самосознанія почти удесятерялось въ эти мгновенія, продолжавшіяся, какъ молнія. — Раздумывая надъ этимъ впослѣдствіи, уже въ здоровомъ состояніи, онъ часто говорилъ самъ себѣ, что вѣдь всѣ эти молніи и проблески высшаго самоощущенія и самосознанія, а стало-быть—и „высшаго бытія“ *ничто иное, какъ болѣзнь*, какъ нарушеніе нормальнаго состоянія;

а если такъ, то это *вовсе не высшее бытіе, а напротивъ, должно быть причислено къ самому низшему.* И однако-же онъ все-таки дошелъ, наконецъ, до чрезвычайно парадоксальнаго вывода: *„что-же въ томъ, что это болѣзнь?“* — рѣшилъ онъ, наконецъ,—„какое до того дѣло, что это напряженіе ненормальное, если самый результатъ, *если минута ощущенія, припоминаемая и разсматриваемая уже въ здоровомъ состояніи, оказывается въ высшей степени гармоніей,* красотой, даетъ неслыханное и негаданное дотолѣ чувство полноты, мѣры, примиренія [и восторженнаго молитвеннаго слитія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни?“—Если въ ту секунду, то есть въ самый послѣдній сознательный моментъ передъ припадкомъ, ему случалось ясно и сознательно сказать себѣ: „Да, за этотъ моментъ можно отдать всю жизнь!“ — то, конечно, этотъ моментъ самъ по себѣ и стоилъ всей жизни. Впрочемъ, за діалектическую часть своего вывода онъ не стоялъ: отупѣніе, душевный мракъ, идіотизмъ стояли передъ нимъ яркимъ послѣдствіемъ этихъ высочайшихъ минутъ“.

Жаль, что князь Мышкинъ не стоитъ за діалектическую часть своего вывода: вѣдь огромное, не только религіозное, но и философское, научное, культурно-историческое значеніе имѣетъ вопросъ: можно-ли отдать за „моментъ высшаго бытія“ жизнь не только человѣка, но и всего человѣчества? Другими словами: есть-ли цѣль всемірно-историческаго развитія безконечное продолженіе во времени, въ преемственности культуръ, въ чредѣ поколѣній, или нѣкоторое окончательное завершеніе всѣхъ историческихъ судебъ, всѣхъ „временъ и сроковъ“ въ мгновеніи „высшаго бытія“, въ томъ, что христіанская мистика называетъ „кончиною міра“?—Вопросъ этотъ кажется мистическимъ, отвлеченнымъ, далекимъ отъ дѣйствительной и дѣятельной, общественной, политической,

нравственной жизни современнаго человѣчества: на самомъ дѣлѣ, сознательно или безсознательно, но неизбѣжно входитъ онъ въ нее. Какъ не только на отвлеченную, созерцательную, но и на реальную жизнь каждаго отдѣльнаго человѣка не можетъ не вліять мысль о земномъ концѣ—о смерти, такъ эта-же мысль не можетъ, рано или поздно, не повліять на реальную, дѣятельную, культурно-историческую жизнь всего человѣчества.

До христіанства жило оно такъ, какъ живутъ звѣри,—внѣ сознанія смерти, съ чувствомъ животнаго безсмертія. Первою и до сихъ поръ единственною изъ религій, которая сознала или, по крайней мѣрѣ, почувствовала неотразимость мысли о концѣ, о смерти не только для человѣка въ отдѣльности, но и *для всего человѣчества*, — было христіанство. И можетъ быть, именно въ этомъ и заключается главная особенность культурно-историческаго вліянія христіанства,—вліянія, и донынѣ еще не завершившагося,—на самыя реальныя общественныя, нравственныя и политическія судьбы европейскаго міра.

И вотъ, къ той-же идеѣ о концѣ міра, о послѣднемъ завершеніи всѣхъ земныхъ судебъ человѣчества въ мгновеніи, когда ангелъ Апокалипсиса „клянется живущимъ во вѣки, что времени больше не будетъ“, въ моментѣ высшей гармоніи, „высшаго бытія“, — къ идеѣ о послѣднемъ остріѣ и обрывѣ горнаго кряжа всѣхъ историческихъ культуръ, къ той-же краеугольной идеѣ, какъ религія Богочеловѣка, съ противоположной стороны подходитъ и религія Человѣкобога. Ея проповѣдникъ у Достоевскаго, въ „Бѣсахъ“, нигилистъ Кирилловъ, тотъ самый, котораго всю жизнь „Богъ мучилъ“,—до поразительныхъ совпаденій въ оборотахъ рѣчи, въ словахъ, въ тончайшихъ внутреннихъ оттѣнкахъ мысли повторяетъ по этому поводу „чрезвычайный парадоксъ“ князя Мышкина:

— „Бываютъ съ вами, Шатовъ, минуты вѣчной гармоніи?.. Есть секунды, ихъ всего заразъ приходитъ пять или шесть,—и вы вдругъ чувствуете присутствіе вѣчной гармоніи. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что человѣкъ въ земномъ видѣ не можетъ перенести. *Надо перемѣниться физически или умереть.* Это чувство ясное и неоспоримое. Какъ будто вдругъ ощущаете всю природу и вдругъ говорите: да, это правда. Богъ, когда міръ создавалъ, то въ концѣ каждаго созданія говорилъ: „да, это правда, это хорошо". Это... это не умиленіе, а только такъ, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите, о,—тутъ выше любви! Всего страшнѣе, что такъ ужасно ясно и такая радость. Если болѣе пяти секундъ—то душа не выдержитъ и должна исчезнуть. Въ эти пять секундъ я проживаю жизнь и *за нихъ отдамъ всю мою жизнь, потому что стоитъ.* Чтобы выдержать десять секундъ, надо перемѣниться физически. — Я думаю, что человѣкъ долженъ перестать родить. Къ чему дѣти, къ чему развитіе, коли цѣль достигнута? Въ Евангеліи сказано, что въ воскресеніи не будутъ родить, а будутъ, — какъ ангелы Божіи".

Здѣсь, въ сущности, Кирилловъ только доводитъ до крайняго вывода діалектику князя Мышкина: тотъ говоритъ: „за этотъ моментъ можно отдать человѣку всю жизнь". Кирилловъ продолжаетъ и кончаетъ: „за этотъ моментъ можно отдать жизнь всего человѣчества".

Впрочемъ, и князь Мышкинъ иногда приближается, повидимому, къ этому для него страшному, но, кажется, неизбѣжному острію діалектики. Въ „этотъ моментъ,—говорилъ онъ однажды Рогожину въ Москвѣ, во время ихъ тамошнихъ сходокъ, — мнѣ какъ-то становилось понятно необычайное слово о томъ, что *времени больше не будетъ*".

„Серьезно, разумѣется, онъ не сталъ-бы спорить,—неожиданно и робко заключаетъ Достоевскій.—Въ выводѣ его, то есть въ оцѣнкѣ этой минуты, безъ сомнѣнія, заключалась ошибка". Какая-же собственно ошибка? „Отупѣніе, душевный мракъ, идіотизмъ стояли передъ нимъ яркимъ послѣдствіемъ этихъ высочайшихъ минутъ". Но только-ли передъ нимъ, отъ рожденія „идіотомъ", или вообще передъ каждымъ человѣкомъ, передъ всѣмъ человѣчествомъ? И уничтожаетъ-ли окончательно эта „ошибка въ выводѣ" значеніе всей діалектики? Вотъ вопросъ, на который Достоевскій не хочетъ или не можетъ отвѣтить. А вѣдь вопросъ этотъ коренится въ самомъ сердцѣ его собственной, да и *всей* христіанской религіи.

— „Это часто приходитъ"?—спрашиваетъ Шатовъ Кириллова послѣ его признанія о минутахъ вѣчной грамоніи.

— „Въ три дня разъ, въ недѣлю разъ".

— „У васъ нѣтъ падучей?"

— „Нѣтъ".

— „Значитъ, будетъ. Берегитесь, Кирилловъ, я слышалъ, что именно такъ падучая начинается. Мнѣ одинъ эпилептикъ подробно описывалъ ощущеніе передъ припадкомъ, точь въ точь какъ вы; пять секундъ онъ назначалъ и говорилъ, что болѣе нельзя вынести".

Въ заключеніе, не только Кириллову, но и князю Мышкину, вся душевная красота котораго, столь несомнѣнная въ глазахъ Достоевскаго, вытекаетъ изъ этихъ-же проблесковъ „вѣчной гармоніи",—Шатовъ могъ-бы дать циническій совѣтъ Раскольникова:

— „Пойдите къ доктору".

Вопросъ о болѣзни, какъ о „низшемъ бытіи", который такъ смущаетъ Идіота и заставляетъ его предполагать роковую ошибку въ собственныхъ выводахъ, въ оцѣнкѣ „моментовъ высшаго бытія", разрѣшается для Кириллова

тѣмъ, что онъ называетъ „физическою перемѣною человѣка“. И странно, и неимовѣрно звучать здѣсь оттолоски Апокалипсическихъ пророчествъ: „Се, творю все новое.— Будетъ новая земля и новое небо“. И у Апостола Павла: „Древнее прошло—теперь все новое“. „Во Христѣ Іисусѣ— *новая тварь*“.— „Физическая перемѣна человѣка“ — перерожденіе плоти — „воскресеніе плоти“. — „Говорю вамъ тайну: не всѣ мы умремъ, но всѣ измѣнимся, вдругъ, во мгновеніе ока при послѣдней трубѣ“ (*Первое посланіе къ Коринѳянамъ* XV, 51—52).

— „Тогда новая жизнь,—говоритъ Кирилловъ Ставрогину,— тогда новый человѣкъ, тогда все новое... *Тогда исторію будутъ раздѣлять на двѣ части: отъ гориллы до уничтоженія Бога, и отъ уничтоженія Бога до...*

— „До гориллы?“... съ холодною усмѣшкою подхватываетъ Ставрогинъ.

— „*...до перемѣны земли и человѣка физически*“, — продолжаетъ Кирилловъ съ невозмутимостью.—Будетъ богомъ человѣкъ и перемѣнится физически. И міръ перемѣнится, и дѣла перемѣнятся, и мысли, и всѣ чувства“.

Мысль о физической перемѣнѣ человѣка не даетъ Кириллову покоя, преслѣдуетъ его какъ „неподвижная идея“.

— „Я начну и кончу, и дверь отворю. И спасу“,—говоритъ онъ Петру Верховенскому передъ самымъ самоубійствомъ въ пророческомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, жалкомъ восторгѣ.—„Только это одно спасетъ всѣхъ людей и въ слѣдующемъ-же поколѣніи переродитъ людей физически; ибо въ теперешнемъ физическомъ видѣ, сколько я думалъ, нельзя быть человѣку, безъ прежняго Бога, никакъ. Я три года искалъ аттрибутъ божества моего и нашелъ: аттрибутъ божества моего — Своеволіе! Это все, чѣмъ я могу въ главномъ пунктѣ показать непокорность и новую страшную свободу мою“.

Для Достоевскаго Кирилловъ—сумасшедшій, „одержимый бѣсомъ“, однимъ изъ тѣхъ „Бѣсовъ“, которыхъ еще Пушкинъ предчувствовалъ въ русской природѣ:

То были *двухъ бѣсовъ* изображенья.
. . . . . .
Безконечны, безобразны,
Въ мутной мѣсяца игрѣ.
Закружились *бѣсы* разны,
Точно листья въ ноябрѣ.

Недаромъ эти именно пушкинскіе стихи взялъ Достоевскій эпиграфомъ и къ своимъ „Бѣсамъ“. Онъ изслѣдовалъ въ Кирилловѣ, до какихъ чудовищныхъ крайностей можетъ дойти въ русской природѣ, въ русской душѣ, послѣдовательная діалектика безбожія.

Но вѣдь и князь Мышкинъ—тоже сумасшедшій, одержимый бѣсомъ, конечно, только въ глазахъ „міра сего“, мудрость котораго есть „безуміе предъ Господомъ“, а не въ глазахъ самого Достоевскаго. „Минуты вѣчной гармоніи“, озаряющія образъ „Идіота“ такимъ сіяніемъ нездѣшней красоты и святости, возникаютъ тоже, по собственному его признанію, изъ „священной“ или бѣсовской болѣзни, какъ у Кириллова. Если Кирилловъ *только* сумасшедшій для Достоевскаго, то что-же значатъ эти поразительныя совпаденія самыхъ глубокихъ, главныхъ мыслей Кириллова и князя Мышкина о „минутахъ вѣчной гармоніи“,—какъ источникѣ „высшаго бытія“, въ связи съ пророчествомъ апокалипсическаго Ангела, что „времени больше не будетъ“, то-есть, что цѣль всемірно-историческаго развитія не безконечное земное продолженіе, а конецъ человѣчества,—второе явленіе Слова, Второе Пришествіе? Очевидно, Достоевскій чего-то тутъ не договариваетъ,—самаго страшнаго и важнаго для себя, не можетъ или не хочетъ договорить, отступаетъ передъ ка-

кою-то бездною, закрываетъ глаза,—и мыслитель прячется за художника. Нѣтъ-ли въ самомъ дѣлѣ вѣщаго бреда въ безумномъ бреду Кириллова? Не кажется-ли иногда, что въ князѣ Мышкинѣ Достоевскій любитъ и оправдываетъ себя, въ Кирилловѣ ненавидитъ и обличаетъ себя, но и въ томъ, и въ другомъ—изображаетъ себя и что оба ему одинаково близки? Идіотъ и Кирилловъ — двѣ стороны его собственнаго существа, два лица его—одно явное, другое тайное? Кирилловъ—двойникъ Идіота? Вотъ загадка, которой Достоевскій, дерзновеннѣйшій изъ дерзновенныхъ, не только не смѣлъ разгадать, но о которой и думать почти не смѣлъ, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ ни о чемъ другомъ думать не могъ.

„Сознать, что нѣтъ Бога, и не сознать въ тотъ-же разъ, что самъ Богомъ сталъ—есть нелѣпость, иначе непременно убьешь себя самъ". Это говоритъ Кирилловъ. „Если есть Богъ, то какъ-же вынесу я мысль, что этотъ Богъ не я" [1]). Это говоритъ Фридрихъ Нитче. „Бога нѣтъ, Богъ умеръ. И мы его убили.—Не должны-ли мы сами обратиться въ боговъ?—*Никогда не было совершено дѣла, болѣе великаго, и кто родится послѣ насъ, этимъ самымъ будетъ принадлежать къ исторіи высшей, чѣмъ вся прежняя исторія*". Кто это говоритъ? Опять Кирилловъ? Нѣтъ, Фридрихъ Нитче. Но Кирилловъ почти дословно повторяетъ: „тогда новый человѣкъ, тогда все новое. Тогда исторію будутъ дѣлить на двѣ части: отъ гориллы до уничтоженія Бога и отъ уничтоженія Бога до перемѣны земли и человѣка физически",—то-есть, другими словами, до явленія „Человѣкобога"—„Сверхчеловѣка".

---

[1]) Здѣсь, такъ—же, какъ въ нѣкоторыхъ другихъ цитатахъ изъ Фр. Нитче, я пользуюсь переводомъ Л. Шестова (*„Добро въ ученіи гр. Л. Толстого и Фр. Нитче"*).

Хотя Нитче называлъ Достоевскаго „своимъ великимъ учителемъ“, мы знаемъ, что главныя идеи Нитче сложились независимо отъ Достоевскаго, подъ вліяніемъ эллинскаго міра,—по преимуществу древней трагедіи,—философіи Канта и Шопенгауэра съ одной стороны, съ другой—точныхъ выводовъ современной опытной науки, идей Дарвина, Спенсера, Геккеля о біологическомъ превращеніи видовъ, о всемірномъ развитіи, объ естественной метаморфозѣ, о такъ называемой *эволюціи*. Нитче только продолжилъ эти научные выводы и примѣнилъ ихъ къ вопросамъ культурнымъ, всемірно-историческимъ. Человѣкъ для него не есть конецъ, послѣднее звено, а лишь одно изъ звеньевъ въ цѣпи космическаго развитія: такъ-же, какъ человѣкъ вышелъ изъ превращенія животныхъ видовъ,—новое существо выйдетъ изъ превращенія человѣческихъ, культурно-историческихъ видовъ. Это новое существо—„*новая тварь*“—Сверхчеловѣкъ; или, какъ съ наивною циничностью выражается русскій нигилистъ: „отъ гориллы до человѣка, и отъ человѣка до уничтоженія Бога“—до Человѣкобога.

Здѣсь, впрочемъ, только та общедоступная, явная, внѣшняя сторона Нитче, которая впослѣдствіи ему самому казалась грубою шелухою; у него есть и другая, болѣе глубокая, таинственная, внутренняя сторона: „что касается моей болѣзни,—признается онъ однажды, — я ей несомнѣнно большимъ обязанъ, чѣмъ моему здоровью. Я ей обязанъ *высшимъ здоровьемъ*, такимъ, при которомъ человѣкъ крѣпнетъ отъ всего, что его не убиваетъ. Я ей обязанъ всей моей философіей. Только великая боль—послѣдній освободитель духа.—Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораемъ на сырыхъ дровахъ, которая не торопится,—только эта боль заставляетъ насъ, философовъ,

спуститься въ послѣднія наши глубины, и все довѣрчивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, посредственное,—въ чемъ, быть можетъ, мы сами прежде полагали нашу человѣчность, отбросить отъ себя". Итакъ, Нитче, подобно Идіоту и Кириллову, находитъ въ боли родовъ, въ болѣзни своей—„минуты вѣчной гармоніи", источникъ „высшаго бытія"; въ смерти человѣческаго находитъ первыя молніи, проблески „сверхчеловѣческаго".

„Человѣкъ есть то, что надо преодолѣть" — говоритъ Заратустра. Только преодолѣвъ, умертвивъ и въ духѣ, и въ плоти своей все *„человѣческое, слишкомъ человѣческое"*, только сбросивъ плоть „ветхаго человѣка", со звѣриною, змѣиною мудростью, какъ старую, мертвую кожу, можетъ человѣкъ достигнуть божескаго существа, для котораго—„новое небо и новая земля"; только умеревъ, истлѣвъ, можетъ онъ воскреснуть въ нетлѣніе. Но вѣдь объ этой „физической перемѣнѣ человѣка", физической и духовной вмѣстѣ, объ этомъ перерожденіи, превращеніи „плотяной" плоти въ духовную плоть уже задумывался самый здоровый, трезвый изъ русскихъ людей—Пушкинъ:

И онъ къ устамъ моимъ приникъ
И вырвалъ грѣшный мой языкъ
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрое змѣи
Въ уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
. . . . . .
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ
И сердце трепетное вынулъ
И уголь, пылающій огнемъ,
Во грудь отверзтую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынѣ я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
Возстань пророкъ!

Трупъ человѣка, лежавшій въ пустынѣ,—былъ только ветхой слинявшей кожей змѣи,—тотъ, кто возстанетъ, по голосу Бога, будетъ уже *не человѣкъ*.

Въ одной изъ своихъ басенъ Платонъ разсказываетъ, что, когда, подъ вліяніемъ божественной Похоти, Эроса, у человѣческой души начинаютъ расти крылья, она испытываетъ нѣчто подобное болѣзни дѣтей, у которыхъ прорѣзываются зубы. Съ нѣсколько странною для насъ, анатомическою точностью, описываетъ греческій философъ, какъ эта болѣзнь души начинается съ „чесанія“, „зуда“,—словно что-то бьется, нарываетъ, напрягается, хочетъ прорвать стѣсняющую „плотяную“ оболочку и не можетъ, какъ потомъ образуется воспаленная опухоль и, наконецъ, страшныя гноящіяся язвы на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны прорѣзаться крылья,—какъ вся душа то пылаетъ въ жару, то дрожитъ отъ озноба,—словно умираетъ.

Если сѣмя не умретъ, то не оживаетъ. Созидающая боль родовъ подобна уничтожающей болп смерти.

„Происходятъ какъ-бы ненужныя, безполезныя страданія,—говоритъ Л. Толстой въ „Царствіи Божіемъ“, по поводу внутренняго состоянія—перехода къ новой формѣ жизни, испытываемаго современнымъ человѣчествомъ.—Происходитъ нѣчто подобное родамъ. Все готово къ новой жизни, но жизнь эта все еще не появляется. Положеніе кажется безвыходнымъ“.—И черезъ нѣсколько строкъ говоритъ онъ *о полетѣ, о крыльяхъ, о новомъ человѣкѣ*, который „почувствуетъ себя совершенно свободнымъ, въ родѣ того, какъ почувствовала-бы себя свободной птица въ загороженномъ кругомъ мѣстѣ, *когда-бы она раскрыла свои крылья*“.

Кто знаетъ,—можетъ быть, не только въ другихъ, но и въ самомъ себѣ иногда чувствовалъ Л. Толстой эту болѣзнь современнаго человѣчества—болѣзнь родовъ, боль

прорѣзающихся крыльевъ. Такъ-ли самъ онъ здоровъ, какъ это кажется, какъ этого хочется ему? Или-же только искуснѣе, чѣмъ кто-либо, умѣетъ скрывать свою болѣзнь, обличая болѣзни другихъ?

„Всякій человѣкъ нашего времени, если вникнуть въ противорѣчіе его сознанія и его жизни, находится въ отчаянномъ положеніи", — говоритъ онъ, по обыкновенію, только о другихъ,—о людяхъ „міра сего", о всѣхъ вообще людяхъ, кромѣ себя. Не могъ-ли бы онъ, однако, этого сказать и о самомъ себѣ? Есть-ли другой „человѣкъ нашего времени", у котораго сознаніе и жизнь находились-бы въ бо̀льшемъ противорѣчіи, чѣмъ у Л. Толстого? Онъ молчитъ о своемъ собственномъ „отчаянномъ положеніи". Но вѣдь и всегда, какъ мы видѣли, старался онъ скрыть отъ себя и отъ людей борьбу, происходившую не въ его сознаніи, а въ его безсознательной, стихійной жизни, борьбу между старымъ лѣшимъ, дядей Ерошкой съ его звѣриною, „змѣиною" мудростью и добродѣтельнымъ старцемъ Акимомъ, Платономъ Каратаевымъ съ ихъ голубиною простотою, борьбу Богозвѣря съ Богочеловѣкомъ, живого Звѣря съ мертвымъ Богомъ. Мы теперь уже не видимъ этой борьбы; но о томъ, что она и теперь продолжается, свидѣтельствуютъ тѣ подземныя содроганія, отголоски, подобные глухому гулу землетрясенія, которые все еще доносятся до насъ, изъ послѣдней глубины его сердца, гдѣ душитъ мертвый Богъ живого Звѣря. Въ „Воскресеніи" старецъ Акимъ празднуетъ свое „воскресеніе" и смерть Звѣря,—свою будто-бы окончательную побѣду намъ нимъ. Но если это и побѣда, то какая жалкая. Не можетъ-же Л. Толстой, въ тайнѣ художественной совѣсти своей, не чувствовать, что именно здѣсь, въ эту самую важную рѣшающую минуту, что-то сорвалось, измѣнило, отомстило ему. Въ этомъ „воскресеніи" умерщвленіе плоти привело

къ тому, къ чему оно почти всегда приводитъ—къ умерщвленію духа, и, кажется, на нашихъ глазахъ совершается самое ужасное изъ всѣхъ самоубійствъ—самоубійство генія. Какъ человѣкъ, который, спасаясь отъ звѣря, чтобы обмануть его, кидаетъ ему свою одежду, такъ Л. Толстой бросилъ своему Звѣрю ту часть своей души, которая казалась ему самою ненужною, внѣшнею,—свой художественный геній. Но онъ обманулъ себя, а не Звѣря,—онъ долженъ былъ отдать ему вмѣстѣ съ геніемъ всю душу свою.

Такого-ли „воскресенія“ ждали мы отъ него, ждалъ онъ самъ отъ себя? Недаромъ отрекается онъ именно отъ тѣхъ своихъ произведеній, которымъ обязанъ своею „всемірною славою“. И какъ порою долженъ ненавидѣть онъ эту славу несомнѣннаго художника, сомнительнаго „пророка“. Вѣдь онъ правъ: онъ въ самомъ дѣлѣ больше, чѣмъ художникъ. Въ немъ былъ или могъ быть пророкъ, хотя и вовсе не тотъ, котораго онъ самъ въ себѣ предполагалъ. Какое-же теперь для него оскорбленіе — чувствовалъ себя не больше, чѣмъ собственная слава, а только равнымъ ей.

У Л. Толстого есть слава человѣческая, но нѣтъ Божьей славы—человѣческаго безславія, гоненія пророковъ. И какъ должны уязвлять его гордость раболѣпныя хвалы и признанія „безчисленныхъ малыхъ“. Не напоминаетъ-ли это послѣднее униженіе въ славѣ пытку тѣхъ несчастныхъ, которыхъ, раздѣвъ до нага, связавъ и обмазавъ медомъ, выставляли подъ солнцемъ на съѣденіе насѣкомымъ? Тучами слетаются они, вьются, жужжатъ, прилипаютъ и невинно жалятъ, потому что хочется каждому изъ нихъ отвѣдать хоть капельку этого меда—этой сладкой славы.—Или теперь уже ему все равно, и онъ ихъ больше не чувствуетъ, какъ заживо погребенный подъ собственнымъ памятникомъ?

Но что мы знаемъ о немъ, о теперешнемъ? Онъ все молчитъ, какъ будто для него молчаніе—послѣднее убѣжище. Онъ до конца не хочетъ дать отчета въ своихъ страданіяхъ людямъ. Но вѣдь знаетъ-же онъ, что близится часъ, когда отчета потребуетъ у него Тотъ, Кому нельзя его не дать.

Страшно за Л. Толстого, и кажется иногда, что жалости достоинъ этотъ человѣкъ нашего времени, находящійся въ самомъ отчаянномъ положеніи, самый одинокій, покинутый и невѣдомый, несмотря на всю свою славу. А иногда, наоборотъ, кажется,—онъ такъ великъ, что достоинъ безжалостности своихъ страданій.

Во всякомъ случаѣ, пусть тѣ, кто не любятъ его, вѣрятъ здоровью, спокойствію, счастью, *„воскресенію“* Л. Толстого.

Не криками боли, не горячечнымъ жаромъ и бредомъ, какъ у Достоевскаго и Фридриха Нитче,—болѣзнь его сказывается только постепенно наступающимъ безмолвіемъ, безчувствіемъ, замираніемъ, окостенѣніемъ, окаменѣніемъ сердца, нѣкогда самаго живого изъ всѣхъ человѣческихъ сердецъ. Но именно потому, что болѣзнь эта—скрытая, тайная, вся ушедшая внутрь, притворившаяся здоровьемъ, потому, что онъ самъ едва знаетъ о ней,—она страшнѣе, чѣмъ болѣзнь Достоевскаго, чѣмъ безуміе Нитче.

Какъ-бы то ни было, Л. Толстой отъ насъ ушелъ, скрылся, кажется, навѣки, покинулъ насъ такъ-же, какъ мы его покидаемъ.

Пушкинъ унесъ въ гробъ тайну своего великаго здоровья. Достоевскій — тайну своей великой болѣзни. И Нитче, трупъ Сверхчеловѣка или только человѣка, ушелъ отъ насъ и унесъ въ свое безуміе загадку своей мудрости.

И мы одни, какъ, можетъ быть, никогда еще люди не были въ мірѣ одни. Самые покинутые, робкіе, больные,

даже иногда смѣшные, не только въ чужихъ, но и въ собственныхъ глазахъ, должны мы разгадывать загадку, которую не разгадали боги и титаны,—проводить черту, которая отдѣлила-бы наше здоровье отъ нашей болѣзни, нашу жизнь отъ нашей смерти, наше Возрожденіе отъ нашего Упадка. Обойти эту загадку намъ уже нельзя: она не ждетъ, смотритъ намъ въ глаза,—хочетъ быть разгаданной. Но развѣ мы можемъ? Развѣ мы смѣемъ?

Это и есть та почти невыносимая тяжесть отвѣтственности, которая обрушилась на наше поколѣніе, и о которой я говорилъ въ началѣ этого изслѣдованія.

Можетъ быть, никогда еще судьбы міра такъ не колебались незримо для всѣхъ, какъ-бы на остріѣ меча, между двумя безднами, не висѣли на такомъ волоскѣ, какъ теперь; можетъ быть, никогда еще духъ человѣческій такъ не предчувствовалъ, тайно для всѣхъ, что близокъ, если не конецъ, то *начало конца*, что оно — при дверяхъ, стучится въ двери.

Горе проснувшимся въ гробахъ слишкомъ рано, когда всѣ еще спятъ. Но если-бы мы и хотѣли, то уже не могли-бы себя обмануть, снова заснуть, мы можемъ только притвориться спящими. Уже увидѣли еще не совсѣмъ открывшіеся, полусонные, слабые глаза наши тотъ свѣтъ, который [illegible] если самые зоркіе и дерзновенные изъ человѣческихъ глазъ. Куда намъ спрятаться отъ него? Какъ намъ скрыть наготу свою?—И пока эта ничтожная горсть, проснувшись, уже видитъ, — остальные, какъ „во время Ноя передъ потопомъ“, только пьютъ и ѣдятъ, покупаютъ и продаютъ, женятся и выходятъ замужъ.

И какимъ безумнымъ бредомъ кажутся имъ эти наши слова, этотъ слышный шопотъ и шелестъ шевелящихся въ гробахъ.

Только тамъ въ глубинахъ народа, можетъ быть, есть

такъ-же, какъ мы, пробудившіеся. Но насъ отдѣляетъ отъ нихъ пропасть, и голосъ нашъ не долетитъ до нихъ: они, какъ мы—одни въ своихъ гробахъ.

Кто-же встанетъ первый и скажетъ, что онъ проснулся? Кто имѣетъ право говорить объ этомъ? Кто побѣдилъ послѣдній бѣсовскій соблазнъ нашего времени, которое смѣшиваетъ у каждаго изъ насъ не только въ сознаніи, но и въ жизни, въ дѣйствіи, въ плоти и крови,—тлѣніе сѣмени съ его воскресеніемъ, боли родовъ съ болями смерти, болѣзнь Возрожденія съ болѣзнью Вырожденія,—такъ называемый „символизмъ“ съ такъ называемымъ „декадентствомъ“?—Сначала нужно *сдѣлать* и только, когда будетъ сдѣлано или, по крайней мѣрѣ, начато, можно будетъ объ этомъ *говорить*.

А пока—здѣсь кончается наше явное, наше слово, наше созерцаніе, здѣсь начинается наше тайное, наше молчаніе, наше дѣйствіе.

ШЕСТАЯ ГЛАВА.

Въ 1863 году одинъ изъ простодушныхъ московскихъ славянофиловъ, И. С. Аксаковъ, писалъ Достоевскому:

„...Первое условіе для освобожденія въ себѣ плѣненнаго чувства народности — возненавидѣть Петербургъ всѣмъ сердцемъ своимъ и всѣми помыслами своими. Да и вообще, нельзя креститься въ христіанскую вѣру — (а славянофильство есть ничто иное, какъ высшая христіанская проповѣдь)—не отдувшись, не отплевавшись, не отрекшись отъ сатаны". „Сатана" для Аксакова конечно— Петербургъ, или даже самъ Петръ.

По смѣшенію безпомощной злобы и безпомощнаго страха, это напоминаетъ угрозу сумасшедшаго въ „Мѣдномъ Всадникѣ":

Добро, строитель чудотворный.
Ужо тебя—

Л. Толстой не „отдувался", не „отплевывался" отъ Петербурга; онъ просто забылъ, не замѣтилъ его, пренебрегъ имъ, какъ неважнымъ, ненужнымъ, почти несуществующимъ: ушелъ не только изъ Петербурга, но даже изъ любезной славянофиламъ Москвы въ деревню, въ землю, въ тѣло Россіи. А если и въ деревнѣ встрѣчаетъ Петербургъ, „Петра творенье" въ образѣ новой русской

фабричной „культуры“, съ гармоникой, водкой и сифилисомъ, то это для него—духъ тьмы, „власть тьмы“, „плоды просвѣщенія“. Дѣйствіе „Войны и Мира“, „Анны Карениной“ происходитъ частью въ Петербургѣ, но петербургскаго, петровскаго духа здѣсь нѣтъ. Духъ столичнаго большого „свѣта“ для Л. Толстого—тоже духъ тьмы, „власть тьмы“. Во всѣхъ его произведеніяхъ—только деревня, земля, только *тѣло*, плоть и темная, стихійная душа Россіи; но духа, какъ власти свѣта, какъ новаго культурнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, народнаго сознанія, исканія будущаго русскаго Города, который за Петербургомъ,—не открывшагося лица и главы Россіи—у Л. Толстого вовсе нѣтъ.

Хотя и съ иною, но неменьшею чуткостью, чѣмъ Л. Толстой, понимаетъ Достоевскій до-петербургскую и даже до-московскую, древнюю, крестьянскую, христіанскую, русскую землю,—„эти бѣдныя селенія, эту скудную природу“.

Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Алеша въ монастырѣ, у гроба старца Зосимы, проснувшись отъ вѣщаго сна о Канѣ Галилейской, выходитъ изъ кельи въ садъ: „Надъ нимъ широко, необозримо опрокинулся небесный куполъ, полный тихихъ, сіяющихъ звѣздъ! Съ зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный путь. Свѣжая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. *Бѣлыя башни и золотыя главы собора сверкали на яхонтовомъ небѣ.* Осенніе роскошные цвѣты въ клумбахъ заснули до утра. Тишина земная какъ-бы сливалась съ небесною, тайна земная соприкасалась съ звѣздною“,

Эти бѣлыя башни и золотыя главы собора, сверкающія на яхонтовомъ небѣ, не напоминаютъ-ли таинственныхъ горъ и „градовъ“, очерченныхъ такими волшебными и однако точными, твердыми чертами, въ потускнѣвшей глубинѣ старинныхъ русскихъ иконъ?

А вотъ еще болѣе иконописная природа. Въ „Бѣсахъ“ Лизавета-„хромоножка“, юродивая разсказываетъ бывшему нигилисту Шатову о своей монастырской жизни:

„Уйду я, бывало, на берегъ къ озеру: съ одной стороны—нашъ монастырь, а съ другой наша острая гора, такъ и зовутъ ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицомъ къ востоку, припаду къ землѣ и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потомъ, обращусь назадъ, а солнце заходитъ, да такое большое, пышное, славное,—любишь ты на солнце смотрѣть, Шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назадъ къ востоку, а тѣнь-то, тѣнь-то отъ нашей горы далеко по озеру какъ стрѣла бѣжитъ, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самаго на озерѣ острова, и тотъ каменный островъ, совсѣмъ какъ есть пополамъ перерѣжетъ, и какъ перерѣжетъ пополамъ, тутъ и солнце совсѣмъ зайдетъ, и все вдругъ погаснетъ. Тутъ и я начну совсѣмъ тосковать, тутъ вдругъ и память придетъ,—боюсь сумраку, Шатушка“.

Здѣсь вольное вѣяніе богатырскихъ былинъ, какъ-бы самый пѣсенный ладъ ихъ сливается съ тихою и темною монашескою легендою въ еще небывалую русскую музыку.

Существуетъ мнѣніе, будто-бы Достоевскій не любилъ природы. Но, если дѣйствительно онъ мало и рѣдко описываетъ ее, то это, можетъ быть, именно потому, что любовь его къ природѣ слишкомъ глубока, чтобы не быть стыдливою, скрытною, цѣломудренно-сдержанною. Первому встрѣчному онъ ея не покажетъ; зато въ этихъ рѣдкихъ описаніяхъ—какая сила, не сравнимая ни съ чѣмъ даже у Л. Толстого.

Нѣтъ, не меньше, чѣмъ онъ, Достоевскій любитъ землю,

„тѣло“ Россіи, но не „плотяное“, „кровяное“, „земляное“, „перстное“, а одухотворенное, „духовное“, пропитанное какъ-бы мироточивыми благоуханіями святости, *святое тѣло* Россіи, святую русскую землю, ту самую, которую „всю отъ края и до края“

Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ, благословляя.

Святая Россія для Достоевскаго—все же далекое,—если не далекое прошлое, какъ для славянофиловъ, то далекое будущее. Ни для будущаго, ни для прошлаго не забываетъ онъ и близкой, слишкомъ близкой, современной русской, петербургской дѣйствительности и ужъ, конечно, не меньше Аксакова чувствуетъ въ ней то, что такъ пугало наивнаго московскаго мечтателя, и отъ чего полагалъ онъ возможнымъ спастись, „отдувшись и отплевавшись“, какъ отъ сатаны.

Больше, чѣмъ кто-либо, Достоевскій понималъ, какое „несчастіе обитать въ Петербургѣ, самомъ отвлеченномъ и умышленномъ (города бываютъ умышленные и неумышленные)“,—въ „самомъ фантатическомъ городѣ, съ самою фантастическою исторіей изъ всѣхъ городовъ земного шара“,—въ этомъ хваленомъ „*парадизѣ*“ Петра Великаго, построенномъ, словно нарочно, съ „сатанинскимъ умысломъ“, съ насмѣшкою надъ людьми и природою, не столько для естественной жизни, сколько для противоестественной смерти людей.

Однажды Раскольниковъ, уже послѣ убійства, проходя въ лѣтній день по Николаевскому мосту, остановился и оборотился лицомъ къ Невѣ, по направленію къ дворцу. „Небо было безъ малѣйшаго облачка, а вода почти голубая, что на Невѣ такъ рѣдко бываетъ. Куполъ собора, который ни съ какой точки не обрисовывается лучше,

какъ смотря на него отсюда, съ моста,—такъ и сіялъ, и сквозь чистый воздухъ можно было отчетливо разглядѣть даже каждое его украшеніе.—*Необъяснимымъ холодомъ* вѣяло на него всегда отъ этой великолѣпной панорамы; *духомъ нѣмымъ и глухимъ* полна была для него эта пышная картина".

Не тотъ-ли это самый „холодъ", подобный могильному холоду призраковъ, не тотъ-ли „духъ нѣмой и глухой", отъ котораго спасается и пушкинскій „жалкій безумецъ", слыша за спиной своей,—

Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-мѣдное скаканье
По потрясенной мостовой.

Изъ этого страшнаго духа, какъ-будто чуждаго, западнаго, на самомъ дѣлѣ, родного, древняго русскаго, дохристіанскаго, богатырскаго, духа Петра и Пушкина, вышелъ Раскольниковъ,—въ значительной мѣрѣ вышелъ и самъ Достоевскій.

„Градъ Петра"—не только „самый фантастическій", но и самый прозаическій изъ всѣхъ городовъ земного шара. Рядомъ съ ужасомъ бреда—не меньшій ужасъ дѣйствительности.

„На улицѣ жара стояла страшная, къ тому-же духота, толкотня, всюду известка, лѣса, кирпичъ, пыль и та особенная лѣтняя вонь, столь извѣстная каждому петербуржцу.—Вонь изъ распивочныхъ и пьяные.—Чувство глубочайшаго омерзѣнія мелькнуло на мигъ въ тонкихъ чертахъ молодого человѣка". Такъ начинается „Преступленіе и наказаніе". Это—петербургскій воздухъ, глубина картины. И уже послѣ „преступленія", когда Раскольниковъ идетъ прятать окровавленное платье: „на улицѣ опять жара невыносимая; хоть-бы капля дождя во всѣ эти дни. Опять пыль, кирпичъ и известка, опять вонь изъ лаво-

чекъ и распивочныхъ, опять поминутно пьяные, чухонцы-разнощики и полуразвалившіеся извощики. Солнце ярко блеснуло ему въ глаза, такъ что больно стало глядѣть, и голова его совсѣмъ закружилась,—обыкновенное ощущеніе лихорадочнаго, выходящаго вдругъ на улицу въ яркій солнечный день".

Кто лучше знаетъ Петербургъ, кто больше ненавидитъ его и чувствуетъ къ нему сильнѣйшее „омерзѣніе", чѣмъ Достоевскій? Ужъ, конечно, не И. С. Аксаковъ, который только „отдувается" и „отплевывается", и не Л. Толстой, который забылъ о Петербургѣ.—И вотъ, бываютъ-же, однако, минуты, когда Достоевскій прощаетъ вдругъ все и за что-то любитъ этотъ городъ, какъ и Петръ любилъ свой чудовищный *парадизъ*, какъ и Пушкинъ любилъ „Петра творенье". „Пасынка природы", самый отверженный изъ городовъ, котораго и жители, въ тайнѣ, стыдятся, умѣетъ Достоевскій силою любви своей дѣлать трогательнымъ, жалкимъ, почти милымъ и роднымъ, почти прекраснымъ, хотя безконечно-болѣзненною, но зато и не всѣмъ доступною, „необщей", какъ теперь сказали-бы, „декадентскою" красотою.

„...Есть у меня въ Петербургѣ,—признается Подростокъ,—нѣсколько мѣстъ счастливыхъ, то-есть такихъ, гдѣ почему-нибудь бывалъ я когда-нибудь счастливъ,—и что-же, я берегу эти мѣста, и не захожу въ нихъ, какъ можно дольше, нарочно, чтобы потомъ, когда буду уже совсѣмъ одинъ и несчастливъ, зайти погрустить и припомнить".

„Я люблю,—говоритъ Раскольниковъ,—какъ поютъ подъ шарманку въ холодный, темный и сырой осенній вечеръ, непремѣнно въ сырой, когда у всѣхъ прохожихъ блѣднозеленыя и больныя лица; или, еще лучше, когда снѣгъ мокрый падаетъ, совсѣмъ прямо, безъ вѣтру, знаете? а сквозь него фонари съ газомъ блистаютъ".

„Привелъ онъ меня,—разсказываетъ другой герой,—въ маленькій трактиръ на канавѣ, внизу. Публики было мало. Игралъ разстроенный, сиплый органчикъ, пахло засаленными салфетками; мы усѣлись въ углу.

— „Ты, можетъ быть, не знаешь? Я люблю иногда отъ скуки..., отъ ужасной душевной скуки..., заходить въ разныя вотъ эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся арія изъ „Лучіи“, эти половые въ русскихъ до неприличія костюмахъ, этотъ табачище, эти крики изъ билліардной — *все это до того пошло и прозаично, что граничитъ почти съ фантастическимъ*“.

Точно такіе-же „грязненькіе“ трактиры-„клоаки“ — слѣды петербургской „Европы“, хотя-бы и „тамъ, во глубинѣ Россіи“—встрѣчаются во всѣхъ романахъ Достоевскаго. Въ нихъ-то происходятъ самые важные, мистическіе, отвлеченные и страстные разговоры главныхъ героевъ его о послѣднихъ судьбахъ русской и всемірной исторіи. И какъ ни странно, а чувствуется, что именно пошлость этой „европейской“, лакейской, „смердяковской“ обстановки, реальность и пошлость, „граничащая почти съ фантастическимъ“, придаютъ бесѣдамъ этимъ ихъ особенный, современный, русскій, можетъ быть, единственно-русскій, грозовой и зловѣщій,—какъ небо передъ ударомъ грома, полное землистою, точно трупною блѣдностью,—апокалипсическій отблескъ; чувствуется, что здѣсь впервые наша русская мысль выступаетъ на арену подлинно-европейской, вселенской культуры, что, несмотря на „сиплый органчикъ, крики изъ билліардной и безголосаго соловья“. здѣсь внимаютъ ей—„силы, начальства и власти“, „человѣки и ангелы“, такъ что, кажется, если-бы подобные разговоры происходили въ менѣе пошлой, болѣе внѣшнепоэтической, величественной обстановкѣ, они утратили-бы часть своего внутренняго величія, своей особенной, един-

ственно-русской, — потому-то, можетъ быть, и всемірной поэзіи.

Гранитная глыба Мѣднаго Всадника, кажущаяся незыблемою, стоитъ, однако, на зыбкомъ гниломъ болотѣ, изъ котораго рождаются призрачные туманы. „Утро было холодное, и на всемъ лежалъ сырой, молочный туманъ. Не знаю, почему, но раннее, дѣловое, петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой видъ, мнѣ всегда нравится, и весь этотъ спѣшащій по своимъ дѣламъ, эгоистическій и всегда задумчивый людъ имѣетъ для меня, въ восьмомъ часу утра, нѣчто особенно привлекательное. Всякое раннее утро, петербургское въ томъ числѣ, имѣетъ на природу человѣка отрезвляющее дѣйствіе. Иная пламенная ночная мечта, вмѣстѣ съ утреннимъ свѣтомъ и холодомъ, совершенно даже испаряется, и мнѣ самому случалось иногда припоминать по утрамъ иныя свои ночныя, только что минувшія грезы, а иногда и поступки, съ укоризною и стыдомъ. Но мимоходомъ, однако, замѣчу, что считаю петербургское утро, казалось-бы, самое прозаическое на всемъ земномъ шарѣ, — чуть-ли не самымъ фантастическимъ въ мірѣ. Это мое личное воззрѣніе или, лучше сказать, впечатлѣніе, но я за него стою. Въ такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинскаго Германа изъ *Пиковой дамы*—(колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургскій типъ, — типъ изъ петербургскаго періода!)— мнѣ кажется, должна еще больше укрѣпиться. Мнѣ сто разъ, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, какъ разлетится этотъ туманъ и уйдетъ кверху, — не уйдетъ-ли съ нимъ вмѣстѣ и весь этотъ гнилой, склизлый городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ, какъ дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый

всадникъ на жарко-дышащемъ, загнанномъ конѣ?—Вотъ они всѣ кидаются и мечутся, а почемъ знать, *можетъ быть, все это чей-нибудь сонъ*, и ни одного-то человѣка здѣсь нѣтъ настоящаго, истиннаго, ни одного поступка дѣйствительнаго? Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это грезится—и все вдругъ исчезнетъ".

Не удивительно-ли: „реальный" Л. Толстой зачался и выросъ во весь свой исполинскій ростъ, какъ будто „петербургскаго періода русской исторіи", — ни Петра, ни Пушкина вовсе не было. Онъ даже не отрицаетъ, а только обходитъ ихъ мимо. И рядомъ „фантастическій" Достоевскій оказывается въ самой живой, жизненной, реальной и сознательной связи со всею историческою преемственностью русской культуры, съ Петромъ и Пушкинымъ, петербургскимъ Пушкинымъ, творцомъ „колоссальнаго" Германа (который, конечно, предвѣщаетъ не менѣе „колоссальнаго" Раскольникова). Не съ того-ли именно, чѣмъ кончаетъ пѣвецъ „Петрова Града", — не съ глубочайшихъ-ли предсмертныхъ мыслей Пушкина о „чудотворномъ строителѣ", Достоевскій начинаетъ?—Да, онъ вышелъ изъ Петербурга, и этого не должно ему стыдиться, ибо вѣдь, въ концѣ концовъ, Петербургъ есть все-таки созданіе русскаго, если не навсегда, то, по крайней мѣрѣ, донынѣ самаго русскаго и въ то-же время самаго всемірнаго изъ русскихъ героевъ. Петербургъ, этотъ противоестественный, „умышленный" городъ безплотныхъ, безкровныхъ людей, призраковъ съ плотью и кровью — по преимуществу — городъ Достоевскаго, и Достоевскій по преимуществу—художникъ Петербурга.

И однако онъ уже не сказалъ-бы, подобно Пушкину:

Красуйся, градъ Петра, и стой
Неколебимо, какъ Россія.

Достоевскій первый изъ русскихъ почувствовалъ и понялъ, что здѣсь-то именно, въ Петербургѣ, петровская Россія, „вздернутая на дыбы желѣзною уздою“, какъ „загнанный конь“, дошла до какой-то „окончательной точки“, и теперь „вся *колеблется* надъ бездною“.—„Можетъ быть, это чей-нибудь сонъ? Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это грезится—и все вдругъ исчезнетъ“? Онъ даже навѣрное знаетъ, что исчезнетъ, знаетъ, что никогда Россія не пойдетъ назадъ въ Москву, куда зовутъ ее славянофилы, ни еще дальше назадъ въ ясно-полянское, какъ-будто крестьянское, на самомъ дѣлѣ помѣщичье „Царствіе Божіе“, куда зовутъ ее толстовцы; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ знаетъ, что Россія и въ Петербургѣ не останется.

Въ послѣдніе годы жизни своей, во время русско-турецкой войны, мечталъ онъ о Константинополѣ, о нашемъ древнемъ Царь-Градѣ, какъ о новой и окончательной русской столицѣ. О реальномъ, историческомъ Царь-Градѣ только мечталъ, но онъ уже совершенно точно и ясно сознавалъ, что Петербургъ—второй городъ Россіи—не есть ея предѣлъ и цѣль, а только переходъ, только мостъ, какъ будто противоестественно перекинутый черезъ какую-то историческую бездну,—только путь отъ перваго русскаго города къ третьему и послѣднему, русскому и въ то-же время всемірному, къ „третьему русскому Риму“—тому самому, мысль о которомъ была предсмертною мыслью древней московской, „святой“ Россіи, и есть первая, едва пробуждающаяся мысль новой, не современной, а дѣйствительно новой, будущей, послѣ петербургской, послѣ-петровской, тоже *святой* Россіи. Достоевскій, одинъ во всемъ нашемъ культурномъ обществѣ, былъ тотъ всемірный человѣкъ, о которомъ говоритъ апостолъ Павелъ, и котораго такъ давно уже понялъ русскій народъ,—человѣкъ, „настоящаго града не имѣющій, грядущаго града взыскую-

щій". За колеблющимися петербургскими туманами онъ уже провидѣлъ на ясномъ и твердомъ, иконописномъ „яхонтовомъ небѣ бѣлыя башни, сверкающія золотыя главы" собора, русскаго и вселенскаго собора Св. Софіи, Премудрости Божьей, въ третьемъ и послѣднемъ Римѣ, въ „грядущемъ Градѣ", болѣе дѣйствительномъ и „неколебимомъ", чѣмъ „настоящій", хотя-бы даже пушкинскій „градъ Петра", чѣмъ вся призрачная петербургская дѣйствительность, которая „можетъ быть, вдругъ исчезнетъ, когда проснется тотъ, кому все это грезится".

Но если Петербургъ и сонъ, то вѣдь недаромъ же сонъ этотъ снится Мѣдному Всаднику на гранитной скалѣ, съ подобной мѣди и граниту, нечеловѣческой волей, дѣлающей сверхъ-или, по крайней мѣрѣ, противо-естественное какъ-бы естественнымъ, несуществующее какъ-бы существующимъ. Никто больше, чѣмъ Достоевскій, не считался съ этою волею „чудотворца-исполина", никто глубже, чѣмъ онъ, не чувствовалъ и не сознавалъ всей реальной неотразимости, всей страшной дѣйствительности этого сна „петербургскаго періода русской исторіи", который все еще кажется западникамъ „*парадизомъ*" — видѣніемъ райскимъ, а славянофиламъ—„бѣсовскимъ навожденіемъ".

Почти то-же, что̀ о Петербургѣ, „самомъ фантастическомъ изъ городовъ", созданіи Петра, Достоевскій говоритъ и о собственныхъ созданіяхъ, о всемъ своемъ художественномъ творчествѣ: „Я ужасно люблю реализмъ въ искусствѣ; реализмъ, такъ сказать, доходящій до фантастическаго".—„Для меня, что̀ можетъ быть фантастичнѣе и неожиданнѣе дѣйствительности? Что̀ можетъ быть даже невѣроятнѣе иногда дѣйствительности?"—„То что̀ большинство называетъ почти фантастическимъ и исключительнымъ, то для меня иногда составляетъ самую сущность дѣйствительнаго".

Всѣ герои Достоевскаго раздѣляются какъ-бы на двѣ семьи, противоположныя, но имѣющія много точекъ соприкосновенія: или,—какъ Алеша, Идіотъ, Зосима, — это люди „грядущаго града“,—Россіи слишкомъ древней и въ то-же время слишкомъ юной, несуществующей, или, какъ Иванъ Карамазовъ, Рогожинъ, Раскольниковъ, Версиловъ, Ставрогинъ, Свидригайловъ,—люди „настоящаго града“, современной, реальной, петербургской, петровской Россіи. Первые кажутся призрачными, но они дѣйствительны; вторые кажутся дѣйствительными, но они призрачны: они только „сны во снѣ“, въ безпощадно-реальномъ и фантастическомъ снѣ, который вотъ уже два вѣка снится Мѣдному Всаднику.

Раскольниковъ видитъ во снѣ комнату, въ которой онъ убилъ старуху: „огромный, круглый, мѣдно-красный мѣсяцъ глядѣлъ прямо въ окна. „Это отъ мѣсяца такая тишина“, подумалъ онъ. Онъ стоялъ и ждалъ, долго ждалъ, и чѣмъ тише былъ мѣсяцъ, тѣмъ сильнѣе стукало его сердце,—даже больно становилось. И все тишина. Вдругъ послышался мгновенный сухой трескъ, какъ будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдругъ съ налета ударилась объ стекло и жалобно зажужжала“.—Раскольниковъ увидѣлъ старуху-процентщицу; онъ ударилъ ее топоромъ по темени разъ, другой, но она залилась тихимъ, неслышнымъ смѣхомъ, и чѣмъ больше онъ ее билъ, тѣмъ сильнѣе старушонка вся колыхалась отъ хохота.—„Онъ хотѣлъ вскрикнуть и проснулся.—Онъ тяжело перевелъ дыханіе,—но странно, *сонъ какъ будто все еще продолжался*: дверь его была отворена настежъ и на порогѣ стоялъ совсѣмъ незнакомый ему человѣкъ и пристально его разглядывалъ. „Сонъ это продолжается или нѣтъ?“ думалъ онъ.—Прошло минутъ съ десять. Было еще свѣтло, но уже вечерѣло. Въ комнатѣ была совер-

шенная тишина. Даже съ лѣстницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь съ налета объ стекло".

Эта реальная, соединительная, символическая черточка—жужжащая въ обѣихъ комнатахъ муха („все, что у васъ—есть и у насъ",—говоритъ Чортъ Ивану Карамазову, то-есть все, что въ мірѣ явленій—есть и въ мірѣ сущностей—въ *„обѣихъ комнатахъ"*)—связываетъ сонъ съ явью такъ, что уже и читатель едва можетъ отличить, гдѣ кончается призрачное, гдѣ начинается дѣйствительное.

„Наконецъ это стало невыносимо: Раскольниковъ вдругъ приподнялся и сѣлъ на диванѣ.

— „Ну, говорите, чего вамъ надо?

— „А вѣдь я такъ и зналъ, что вы не спите, а только видъ показываете,—странно отвѣтилъ незнакомый, спокойно разсмѣявшись.—Аркадій Ивановичъ Свидригайловъ, позвольте отрекомендоваться".

Этимъ кончается третья часть „Преступленія и Наказанія".

„Неужели это продолженіе сна? подумалось Раскольникову",—такъ начинается четвертая часть.

„Осторожно и недовѣрчиво всматривался онъ въ неожиданнаго гостя.

— „Свидригайловъ? Какой вздоръ! Быть не можетъ!—проговорилъ онъ, наконецъ, вслухъ, въ недоумѣніи".

И когда, послѣ длиннаго, отчасти даже дѣлового разговора, гость ушелъ, Раскольниковъ спрашиваетъ товарища своего, студента Разумихина:

— „Ты его видѣлъ?

— „Ну да, замѣтилъ, твердо замѣтилъ.

— „Ты его точно видѣлъ? Ясно видѣлъ?—настаиваетъ Раскольниковъ.

— „Ну да, ясно помню; изъ тысячи узнаю, я памятливъ на лица.

„Опять помолчали.

— „Гм... то-то...—пробормоталъ Раскольниковъ.—А то знаешь... мнѣ подумалось... мнѣ все кажется... что это, можетъ быть, моя фантазія... Можетъ быть, я въ самомъ дѣлѣ помѣшанный и только призракъ видѣлъ".

Свидригайловъ выходитъ изъ сна; и самъ онъ весь точно сонъ, точно густой, грязно-желтый петербургскій туманъ. Но если это и „призракъ", то призракъ съ плотью и кровью. Въ этомъ главный ужасъ его. Въ немъ нѣтъ ничего романтическаго, неяснаго, неопредѣленнаго, отвлеченнаго. Въ дѣйствіи романа Свидригайловъ все болѣе и болѣе воплощается, такъ что въ концѣ-концовъ онъ оказывается реальнѣе, чѣмъ „кровяные", „мясистые", задушенные кровью и мясомъ, герои Л. Толстого,—какой-нибудь Левинъ или Пьеръ Безуховъ. Тѣ состоятъ лишь изъ геометрически правильныхъ, простыхъ, прямыхъ, параллельныхъ, а этотъ изъ живыхъ, безконечно сложныхъ, извилистыхъ, какъ будто противорѣчивыхъ, на самомъ дѣлѣ только противоположныхъ и переплетающихся, пересѣкающихся чертъ, какъ все живое. Такъ, мы узнаемъ, что этотъ „самый порочный изъ людей", „мерзавецъ", способенъ на рыцарское великодушіе, на утонченное и безкорыстное чувство: когда сестра Раскольникова, Дуня, невинная дѣвушка, которую Свидригайловъ заманилъ, чтобы ее изнасиловать, въ западню,—уже въ совершенной власти его, онъ вдругъ отпускаетъ ее, не тронувъ, хотя знаетъ навѣрное, что это насиліе надъ собою будетъ ему стоить жизни,—что онъ убьетъ себя. Передъ самою смертью заботится просто и самоотверженно, какъ о родной дочери, — о почти незнакомой ему дѣвочкѣ-сироткѣ, которую сначала хотѣлъ растлить, и обезпечиваетъ ея

судьбу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на совѣсти Свидригайлова — уголовное дѣло, „съ примѣсью звѣрскаго и, такъ сказать фантастическаго душегубства, за которое онъ весьма и весьма могъ-бы прогуляться въ Сибирь“.—Ну, какъ не повѣрить намъ, что онъ есть? Мы слышимъ звукъ его голоса, видимъ лицо его, такъ что сразу „изъ тысячи узнаемъ“. Онъ для насъ живѣе, дѣйствительнѣе; чѣмъ множество лицъ, которыхъ мы каждый день встрѣчаемъ въ такъ-называемой „жизни“ и „дѣйствительности“. Да развѣ мы и не встрѣчали Свидригайлова на улицахъ Петербурга? — Въ наши самые отвратительные дни, когда падаетъ „мокрый, точно теплый снѣгъ“, когда отъ оттепели душно, словно паритъ,—не онъ-ли наполняетъ „фантастическій“ городъ? Не имъ-ли пахнетъ грязно-желтый петербургскій туманъ? Какъ это ни странно и ни страшно, а вѣдь кровь и плоть этого „призрака“ въ значительной мѣрѣ — наша собственная кровь и плоть.

Но вотъ, когда мы окончательно повѣрили въ Свидригайлова, онъ, какъ вынырнулъ изъ тумана, такъ и тонетъ въ немъ,—какъ вышелъ изъ сна. такъ и уходитъ въ сонъ. И въ смерти его столь-же мало условнаго и романтическаго, какъ въ жизни: это — самая ужасная, но и самая обыкновенная, петербургская смерть,—содержаніе полицейскаго протокола, мелкій шрифтъ петербургскаго листка.

„Утро было раннее. Молочный, густой туманъ лежалъ надъ городомъ. Свидригайловъ пошелъ по скользкой грязной, деревянной мостовой, по направленію къ Малой Невѣ. Ни прохожаго, ни извозчика не встрѣчалось по проспекту. Уныло и грязно смотрѣли ярко-желтые, деревянные домики съ закрытыми ставнями. Холодъ и сырость прохватывали все его тѣло. Онъ поровнялся съ большимъ каменнымъ домомъ. Высокая каланча мелькнула ему влѣво — „Ба“, подумалъ онъ, „да вотъ и мѣсто... По крайней мѣрѣ, при

оффиціальномъ свидѣтелѣ...“ Онъ чуть не усмѣхнулся этой новой мысли.—У запертыхъ большихъ воротъ дома стоялъ, прислонясь къ нимъ плечомъ, небольшой человѣкъ, закутанный въ сѣрое солдатское пальто и въ мѣдной ахиллесовской каскѣ. Дремлющимъ взглядомъ холодно покосился онъ на подошедшаго Свидригайлова. На лицѣ его виднѣлась та вѣковѣчная брюзгливая скорбь, которая такъ кисло отпечаталась на всѣхъ безъ исключенія лицахъ еврейскаго племени. Оба они, Свидригайловъ и Ахиллесъ, нѣсколько времени молча разсматривали одинъ другого. Ахиллесу, наконецъ, показалось не порядкомъ, что человѣкъ не пьянъ, а стоитъ передъ нимъ въ трехъ шагахъ, глядитъ въ упоръ и ничего не говоритъ.

— „А-зе, сто-зе вамъ и здѣся на-а-до?—проговорилъ онъ все еще не шевелясь и не измѣняя своего положенія.

— „Да ничего, братъ, здравствуй,—отвѣтилъ Свидригайловъ.

— „Здѣся не мѣста.

— „Я, братъ, ѣду въ чужіе края.

— „Въ чужіе края?

— „Въ Америку.

— „Въ Америку?

„Свидригайловъ вынулъ револьверъ и взвелъ курокъ. Ахиллесъ приподнялъ брови.

— „А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здѣся не мѣста!

— „Да почему-же бы и не мѣсто?

— „А потому-зе сто не мѣста.

— „Ну, братъ, это все ровно. Мѣсто хорошее; коли тебя станутъ спрашивать, такъ и отвѣчай, что поѣхалъ, дескать, въ Америку.

„Онъ приставилъ револьверъ къ своему правому виску.

— „А-зе здѣся нельзя, здѣся не мѣста!—встрепенулся Ахиллесъ, расширяя все больше зрачки.

„Свидригайловъ спустилъ курокъ".

И читатель въ недоумѣніи спрашиваетъ себя, какъ Раскольниковъ: „видѣлъ-ли я Свидригайлова? Точно-ли видѣлъ? Это, можетъ быть, моя фантазія? Можетъ быть, я помѣшанный и только призракъ видѣлъ?"—Но если кровь и плоть Свидригайлова дѣйствительно призрачны, то такъ-ли мы ужъ окончательно увѣрены, что и наша собственная плоть и кровь не призрачны?

...И сами мы вещественны, какъ сны.

Что̀ если и наша современная петербургская явь—изъ того-же „вещества", какъ наши историческіе петербургскіе сны? Что̀, если мѣдь этого жидовскаго Ахиллеса, охраняющаго „большой домъ съ каланчею"—столь-же призрачна, какъ мѣдь Гиганта на гранитной скалѣ? „Что, какъ разлетится этотъ туманъ и уйдетъ кверху,—не уйдетъ-ли съ нимъ вмѣстѣ и весь этотъ гнилой, склизлый городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ, какъ дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый Всадникъ?"

— „А кстати, вѣрите вы въ привидѣнія?"—спрашиваетъ Свидригайловъ Раскольникова.

— „Въ какія привидѣнія?

— „Въ *обыкновенныя привидѣнія*,—въ какія!

— „А вы вѣрите?

— „Да пожалуй и нѣтъ, pour vous plaire... То-есть не то, что нѣтъ...

— „Являются, что-ли?"

И съ величайшею простотою, даже какъ будто съ насмѣшливостью, разсказываетъ Свидригайловъ о томъ, какъ три раза являлась ему Марѳа Петровна, покойная жена его.

— „Все это вздоръ!"—съ досадой восклицаетъ Расколь-

никовъ, и однако тотчасъ любопытствуетъ: „Что-же она вамъ говоритъ, когда приходитъ?

— „Она-то? Вообразите себѣ, о самыхъ ничтожныхъ пустякахъ, и подивитесь человѣку: меня вѣдь это-то и сердитъ. Въ первый разъ вошла (я, знаете, усталъ: похоронная служба, со святыми упокой, потомъ литія, закуска,— наконецъ-то въ кабинетѣ одинъ остался, закурилъ сигару, задумался), вошла въ дверь: „А вы, говоритъ, Аркадій Ивановичъ, сегодня за хлопотами и забыли въ столовой часы завести". А часы эти я, дѣйствительно, всѣ семь лѣтъ, каждую недѣлю самъ заводилъ, а забуду — такъ всегда бывало, напомнитъ. На другой день—я ужъ ѣду сюда: вошелъ на разсвѣтѣ на станцію,—за ночь вздремнулъ, изломанъ, глаза заспанные,—взялъ кофею;—смотрю Марѳа Петровна вдругъ садится подлѣ меня, въ рукахъ колода картъ: „Не загадать-ли вамъ, Аркадій Ивановичъ, на дорогу-то?" А она мастерица гадать была. *Ну, и не прощу-же себѣ, что не загадалъ.* Убѣжалъ, испугавшись, а тутъ, правда, и колокольчикъ. Сижу сегодня послѣ дряннѣйшаго обѣда изъ кухмистерской, съ тяжелымъ желудкомъ — сижу, курю,— вдругъ опять Марѳа Петровна входитъ, вся разодѣтая, въ новомъ, шелковомъ зеленомъ платьѣ, съ длиннѣйшимъ хвостомъ: „Здравствуйте, Аркадій Ивановичъ! Какъ на вашъ вкусъ мое платье? Аниська такъ не сошьетъ..."— Экой вздоръ, а?

— „Да, вы, впрочемъ, можетъ быть, все лжете?—отозвался Раскольниковъ.

— „Я рѣдко лгу,—отвѣчалъ Свидригайловъ задумчиво и какъ-бы совсѣмъ не замѣтивъ грубости вопроса.

— „А прежде, до этого, вы никогда привидѣній не видывали?

— „Н-нѣтъ, видѣлъ, одинъ только разъ въ жизни, шесть лѣтъ тому. Филька, человѣкъ дворовый у меня былъ;

только что его похоронили, я крикнулъ, забывшись: „Филька, трубку!“—вошелъ и прямо къ горкѣ, гдѣ стоятъ у меня трубки. Я сижу, думаю: „Это онъ мнѣ отомстить“, потому что передъ самою смертью мы крѣпко поссорились.—„Какъ ты смѣешь, говорю, съ продраннымъ локтемъ ко мнѣ входить,—вонъ, негодяй!“ Повернулся, вышелъ и больше не приходилъ. Я Марѳѣ Петровнѣ тогда не сказалъ. Хотѣлъ было панихиду по немъ отслужить, да посовѣстился“.

Гамлету тѣнь отца является въ обстановкѣ торжественной, романтической, при ударахъ грома и землетрясеніи; Мефистофель является Фаусту въ сверхъестественномъ освѣщеніи адскаго пламени или краснаго бенгальскаго огня. Но вотъ—Филька съ продраннымъ локтемъ: въ немъ уже нѣтъ ровно ничего торжественнаго и романтическаго; а вѣдь мы чувствуемъ, что въ немъ, пожалуй, бо́льшій ужасъ, чѣмъ въ привидѣніяхъ Шекспира и Гете. Тѣнь отца говоритъ Гамлету о загробныхъ тайнахъ, о Богѣ, о мести и крови. Марѳа Петровна ни о какихъ тайнахъ не говоритъ,—только о часахъ въ столовой. А вѣдь мы опять-таки чувствуемъ, что въ этихъ словахъ ея есть дѣйствительно грозная, нуменальная тайна.—Да, привидѣнія Достоевскаго, эти пошлыя, современныя, русскія, петербургскія, какъ выражается Свидригайловъ,—*„обыкновенныя привидѣнія“*, являющіяся при свѣтѣ тусклаго дня гдѣ-нибудь въ меблированной комнатѣ, послѣ сквернаго обѣда изъ кухмистерской или „на станціи Малой Вишерѣ“,—страшнѣе, таинственнѣе, нуменальнѣе, чѣмъ кровавые призраки въ замкѣ Эльзинорѣ, можетъ быть, страшнѣе, чѣмъ всѣ вообще призраки, которые когда-либо являлись людямъ.

Ужасъ „обыкновенныхъ привидѣній“ заключается, между прочимъ, въ томъ, что они какъ будто сами сознаютъ свою современную пошлость и нелѣпость, но этою-то нелѣпостью

и дразнятъ живыхъ, какъ будто со своей особенной, потусторонней точки зрѣнія злорадствуютъ, смѣются надъ посюсторонним человѣческимъ здравымъ смысломъ; они также сознаютъ все, что могутъ противъ нихъ возразить люди нашего просвѣщеннаго вѣка желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, телефоновъ, психіатрическихъ лѣчебницъ и прочаго, и прочаго: ну, конечно, привидѣній не бываетъ, по крайней мѣрѣ, теперь уже не бываетъ, все это—болѣзнь, бредъ, галлюцинація,—явленія не внѣшняго, объективнаго, а лишь внутренняго, субъективнаго міра.—Не возможна-ли, однако, точка зрѣнія, съ которой именно въ болѣзни, въ утонченьи, въ опрозрачненьи плоти, въ ея приближеніи къ своему естественному концу и началу открываются кажущіяся сверхъестественными и все таки дѣйствительныя „соприкосновенія мірамъ инымъ?“—„Этотъ вопросъ меня не касается“, отвѣчаетъ наука,—„онъ внѣ моихъ изслѣдованій. Я этого не знаю и знать не хочу“. Но тутъ возникаетъ другой вопросъ: исчерпываются-ли наукою всѣ реальныя возможности человѣческаго существа? Наука опять отвѣчаетъ: „не знаю“. Но вѣдь вотъ именно съ этихъ-то „*не знаю*“ и начинается ужасъ вообще всѣхъ „*явленій*“,—и чѣмъ глубже эти „не знаю“—(а когда они были глубже, чѣмъ теперь?),—тѣмъ неотразимѣе религіозный ужасъ. Мы надѣялись, что всѣ тѣни внѣнаучнаго исчезнутъ при свѣтѣ науки; онѣ однако не только не думаютъ исчезать а напротивъ, чѣмъ ярче свѣтъ — тѣмъ становятся все чернѣе, точнѣе, рѣзче, опредѣленнѣе и таинственнѣе. Тѣни подражаютъ тѣламъ своимъ—людямъ: люди сдѣлались научными, и тѣни ихъ, призраки поспѣваютъ за ними,—тоже дѣлаются научными: привидѣнія сами не вѣрятъ или, по крайней мѣрѣ, притворяются не вѣрующими въ свою реальность, сами называютъ себя бредомъ, галлюцинаціей, сами надъ собой смѣются и ужъ,

конечно, не становятся отъ этого менѣе ужасными, чѣмъ ненаучные призраки добраго стараго времени.

Привидѣнія Достоевскаго отнюдь не противорѣчатъ нашей діалектикѣ „отточенной, какъ бритва“, нашей критикѣ познанія, „критикѣ чистаго разума“,—всему твердому, точному, трезвому, опытному, математическому, „эвклидовскому“ въ нашемъ умѣ; напротивъ, отсюда-то они и почерпаютъ свою главную силу,—*возможность своей дѣйствительности:* если-бы они были только дѣйствительными, то были-бы доступнѣе, человѣчнѣе, слабѣе, понятнѣе: но именно изъ этой сомнительной возможности своего реальнаго значенія, изъ этого неразрѣшеннаго и неразрѣшимаго вопроса, который они намъ задаютъ,—возникаетъ ихъ новый, еще небывалый въ мірѣ ужасъ.

Въ „Идіотѣ“ чахоточный юноша Ипполитъ, въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ сновъ, видитъ какое-то чудовищное насѣкомое, которое заползло къ нему въ комнату. „Оно было въ родѣ скорпіона, но не скорпіонъ, а гаже и гораздо ужаснѣе, и, кажется, именно тѣмъ, что такихъ животныхъ въ природѣ нѣтъ и что оно *нарочно* у меня явилось.—Я его очень хорошо разглядѣлъ: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающійся гадъ, длиной вершка въ четыре, у головы толщиной въ два пальца, къ хвосту постепенно тоньше, такъ что самый кончикъ хвоста не больше десятой доли вершка. На вершокъ отъ головы изъ туловища выходятъ, подъ угломъ въ сорокъ пять градусовъ, двѣ лапы, по одной съ каждой стороны, вершка по два длиной, такъ что все животное представляется, если смотрѣть сверху, въ видѣ трезубца. Головы я не разсмотрѣлъ, но видѣлъ два усика, недлинные, въ видѣ двухъ крѣпкихъ иглъ, тоже коричневые. Такіе-же два усика и на концѣ хвоста и на концѣ каждой изъ лапъ, всего, стало быть, восемь усиковъ. Животное бѣгало по комнатѣ очень

быстро, упираясь лапами и хвостомъ, и когда бѣжало, то и туловище, и лапы извивались, какъ змѣйки, съ необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотрѣть.—Оно пряталось подъ комодъ, подъ шкафъ, заползало въ углы. Я сѣлъ на стулъ съ ногами и поджалъ ихъ подъ себя. Я надѣялся, что оно не вползетъ на стулъ. Вдругъ я услышалъ сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучій шелестъ; я обернулся и увидѣлъ, что гадъ вползаетъ по стѣнѣ и уже наравнѣ съ моей головой, и касается даже моихъ волосъ хвостомъ, который вертѣлся и извивался съ чрезвычайною быстротой".

„Длина четыре вершка", „толщина два пальца", „восемь усиковъ", „уголъ въ сорокъ пять градусовъ",—какая геометрическая точность, какое „эвклидовское" построеніе призрака. Ужасъ бреда, выраженный въ числахъ. Какъ въ Апокалипсисѣ: „имѣющій умъ — сочти *число* звѣря". Математика не только не уменьшаетъ ужаса и тайны, а, напротивъ, увеличиваетъ ихъ. Этотъ звѣрь напоминаетъ фантастическія и, однако, столь естественныя чудовища, „карикатуры на животныхъ", въ научныхъ дневникахъ Леонардо да-Винчи. Никогда не изображаетъ Достоевскій своихъ реальныхъ дѣйствующихъ лицъ съ такими чувственными подробностями. Мы видимъ тѣло этого призрачнаго насѣкомаго съ неменьшею ясностью, чѣмъ тѣло Фру-Фру или Анны Карениной.

„Я предчувствовалъ,—замѣчаетъ Ипполитъ, — что въ звѣрѣ заключается что-то роковое, какая-то тайна". И для дяди Ерошки въ „Божьей твари", въ Звѣрѣ есть тайна, есть недоступная человѣку Божеская мудрость. „Звѣрь знаетъ все"—говоритъ дядя Ерошка; но, можетъ быть, и Звѣрь Достоевскаго, „новая тварь"—тоже знаетъ все? Мы увидимъ впослѣдствіи, что дѣйствительно существуетъ глу-

бочайшая связь между этимъ Звѣремъ-Дьяволомъ Достоевскаго—(его излюбленные герои—Версиловъ, Ставрогинъ, Свидригайловъ, Рогожинъ, Дмитрій и Ѳедоръ Карамазовы—кажутся иногда,—какъ самъ онъ выражается,—„насѣкомыми“, „сладострастными и злыми пауками“, „тарантулами“ въ человѣческомъ образѣ) — и Божьей тварью, Звѣремъ Л. Толстого.

Когда въ кошмарѣ Ипполита огромная черная собака его, Норма, вбѣгаетъ въ комнату, бросается на гадину и хочетъ ее перегрызть пополамъ, то насѣкомое жалитъ ее въ языкъ, такъ что она визжитъ и воетъ, и мы какъ будто на мгновеніе чувствуемъ, что не все—бредъ въ этомъ бреду, что здѣсь рѣшается какая-то наша собственная, реальная, хотя и премірная судьба, просвѣчиваетъ какая-то дѣйствительная тайна, съ которой мы связаны не только по ту, но и по сю сторону явленій: *„все что у васъ, есть и у насъ“*.

Мы не знаемъ, да пока и не можемъ знать, чѣмъ кончится поединокъ злого и добраго Звѣря.—„Тутъ я проснулся, и вошелъ князь“—заключаетъ Ипполитъ. Но то, что началось во снѣ, будетъ продолжаться на яву,—въ поединкѣ „святого“ князя Мышкина съ „жестокимъ и сладострастнымъ насѣкомымъ“, — реальнѣйшимъ изъ реальныхъ, купеческимъ сынкомъ Рогожинымъ: сонъ углубится явью, какъ зеркало зеркаломъ.

Не только призраки у Достоевскаго преслѣдуютъ живыхъ, но и сами живые преслѣдуютъ и пугаютъ другъ друга, какъ призраки, какъ собственныя тѣни, какъ двойники.

„Мы съ вами одного поля ягода“,—говоритъ Свидригайловъ Раскольникову, и, несмотря на все свое сопротивленіе, омерзѣніе, тотъ чувствуетъ, что это правда, что у нихъ есть какія-то „общія точки“, что, можетъ быть, даже самая главная глубокая точка, средоточіе ихъ личностей

у нихъ—общее. Свидригайловъ только неизмѣримо далѣе ушелъ по тому-же пути, на который едва вступилъ Раскольниковъ; Свидригайловъ показываетъ ему неизбѣжные сверхнаучные выводы изъ его научной діалектики о добрѣ и злѣ,—служитъ ему вѣщимъ зеркаломъ. И уже окончательно убѣдившись, что Свидригайловъ — не бредъ, не призракъ, а живой человѣкъ, Раскольниковъ все-таки боится, именно теперь-то еще гораздо больше боится его, какъ тѣни своей, двойника своего. „Я этого человѣка боюсь"—говоритъ Раскольниковъ. — „Знаешь что,—говоритъ Иванъ Карамазовъ лакею Смердякову, — я боюсь, что ты сонъ, что ты призракъ передо мной сидишь".

— „Никакого тутъ призрака нѣтъ-съ,—отвѣчаетъ ему Смердяковъ,—кромѣ насъ обоихъ-съ, да еще нѣкотораго *третьяго*. Безъ сумлѣнія тутъ онъ теперь, третій этотъ находится *между нами двумя*.

— „Кто онъ? Кто находится? Кто третій?—испуганно проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ, озираясь кругомъ и поспѣшно ища глазами кого-то по всѣмъ угламъ".

Этотъ „третій", соединяющій, по мнѣнію Смердякова - Провидѣніе, Богъ, для Ивана Ѳедоровича оказался впослѣдствіи міровымъ воплощеніемъ смердяковскаго духа—Чортомъ.

— „Вы убили,—говоритъ Смердяковъ Ивану,—вы главный убивецъ и есть, а я только вашимъ приспѣшникомъ былъ, слугой Личардой вѣрнымъ, и по слову вашему дѣло это и совершилъ".

Петръ Верховенскій тоже „приспѣшникъ", „вѣрный слуга Личарда" своего господина, своего полубога, своего сказочнаго „Ивана Царевича"—Ставрогина. Тотъ прямо такъ и называетъ его своей „обезьяною", — конечно, въ томъ-же смыслѣ, какъ Богъ могъ-бы назвать Дьявола Своею обезьяною: „я на мою обезьяну смѣюсь". И это

темное, искажающее, корчащее обезьяньи рожи и все-же бездонно-глубокое, вѣрное зеркало—не только смѣшно для Ставрогина, но и страшно. Когда онъ однажды называетъ Петра Верховенскаго „шутомъ", тотъ возражаетъему съужасающимъ вдохновеніемъ и какъ будто праведною яростью:

— „Я-то—шутъ, но не хочу, чтобы вы, *главная половина моя*, были шутомъ! Понимаете вы меня?

„Ставрогинъ понималъ, *одинъ только онъ, можетъ быть*",—прибавляетъ Достоевскій многозначительно: одинъ Ставрогинъ понимаетъ Петра Верховенскаго, какъ одинъ Богъ понимаетъ Дьявола, свою вѣчную „Обезьяну".

Такъ у Достоевскаго всѣ трагическія борющіяся пары самыхъ живыхъ реальныхъ людей, которые кажутся себѣ и другимъ едиными, цѣлыми существами,—на самомъ дѣлѣ, оказываются только двумя половинами какого-то „третьяго" расколотаго существа,—половинами, ищущими одна другую,—другъ друга преслѣдующими двойниками. Раскольниковъ, Ставрогинъ, Иванъ Карамазовъ могли-бы или, по крайней мѣрѣ, хотѣли-бы сказать этимъ своимъ проклятымъ „половинамъ"—Свидригайлову, Петру Верховенскому, Смердякову то, что съ такою безсильною и не „праведною" яростью говоритъ Иванъ Чорту:

— „Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду. Ты ложь, ты болѣзнь моя, ты призракъ. Я только не знаю, чѣмъ тебя истребить.—Ты моя галлюцинація. Ты воплощеніе меня самого, только одной, впрочемъ, моей стороны,—моихъ мыслей и чувствъ, только самыхъ гадкихъ и глупыхъ.—Все, что ни есть глупаго въ природѣ моей,—злобно простоналъ Иванъ,—давно уже пережитаго, перемолотаго, отброшеннаго какъ падаль,—ты мнѣ-же подносишь какъ какую-то новость! Ты—я, самъ я, только съ другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю—и *ничего не въ силахъ сказать мнѣ новаго*!"

Но, вѣдь, тутъ-то и весь вопросъ: дѣйствительно-ли Чортъ не можетъ сказать ему ничего новаго? Весь ужасъ этого призрака для Ивана, а, пожалуй и для самого Достоевскаго заключается именно въ томъ, что они оба только хотятъ быть увѣренными, но не увѣрены, что не можетъ. Ну, а что, если можетъ?

Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что Чортъ Ивана Карамазова есть одно изъ самыхъ великихъ, загадочныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, личныхъ, особенныхъ, русскихъ, ни на что другое во всемірной литературѣ не похожихъ созданій Достоевскаго, такое, которое, уходитъ корнями своими въ послѣднюю глубину его сознанія и его безсознательнаго. Недаромъ-же устами Чорта высказываетъ онъ свои собственныя, самыя завѣтныя, *святыя* мысли. Можно-бы прослѣдить, какъ черезъ всѣ свои созданія Достоевскій шелъ къ нему. О сущности своей говоритъ Чортъ почти тѣми-же словами, какъ и самъ Достоевскій—о сущности собственнаго художественнаго творчества,—и первомъ источникѣ, о той рождающей силѣ, изъ которой возникли всѣ его произведенія.

„Я ужасно люблю реализмъ,—реализмъ, такъ сказать доходящій до фантастическаго. То, что большинство называетъ фантастическимъ, то для меня иногда составляетъ самую сущность дѣйствительнаго“,—говоритъ Достоевскій.—„Вѣдь я, какъ и ты-же, страдаю отъ фантастическаго,—говоритъ Чортъ,—а потому и люблю вашъ земной реализмъ. Тутъ у васъ все очерчено, тутъ формула, тутъ геометрія, а у насъ все какія-то неопредѣленныя уравненія. Я здѣсь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. Къ тому-же на землѣ я становлюсь суевѣренъ—не смѣйся, пожалуйста: мнѣ именно это-то и нравится, что я становлюсь суевѣренъ. Я здѣсь всѣ ваши привычки принимаю: я въ баню торговую полюбилъ ходить, можешь ты это

представить, и люблю съ купцами и попами париться. *Моя мечта—это воплотиться*, но чтобъ ужъ окончательно, безвозвратно, въ какую-нибудь толстую, семипудовую купчиху и всему повѣрить, во что она вѣритъ".

Это кажется грубымъ, смѣшнымъ,—а между тѣмъ самая тонкая, острая боль, которая когда-либо мучила Достоевскаго, скрыта подъ этою пошлою маскою: усталость и возмущеніе Чорта противъ всего призрачнаго, фантастическаго, противъ всякихъ „неопредѣленныхъ уравненій" есть усталость и возмущеніе самого Достоевскаго; это его собственная тоска по „земному реализму", по „воплощенію", по утраченному здоровью, нарушенному равновѣсію духа и плоти. За эту земную „геометрію", за ясныя, точныя формулы, за „неколебимую" крѣпость плоти, Достоевскій такъ и любилъ Пушкина: постоянно отрываемый отъ земли, уносимый вихремъ своихъ призрачныхъ видѣній, искалъ онъ въ Пушкинѣ точки опоры,—судорожно цѣплялся за него какъ за родную „святую" землю.—Достоевскій шелъ еще дальше: въ его тяготѣніи къ „почвенникамъ" и московскимъ славянофиламъ (тоже своего рода „семипудовымъ купчихамъ")—Аксакову и Каткову, ко всему исторически-законченному, твердому, прочному, хотя-бы и окаменѣлому,—въ его „ретроградной политикѣ", ему точно такъ-же, какъ Чорту, нравилось „быть суевѣрнымъ". „Богу свѣчки ставить", „съ купцами и попами париться": здѣсь онъ отдыхалъ отъ себя самого, отъ своей страшной, истинной, нечеловѣческой сущности.

— „Люди принимаютъ всю эту комедію—(то-есть міръ явленій)—за нѣчто серьезное, при всемъ своемъ безспорномъ умѣ",—продолжаетъ Чортъ въ своей бесѣдѣ съ Иваномъ.—„Въ этомъ ихъ и трагедія. Ну, и страдаютъ, конечно,—но все-же *зато живутъ, живутъ реально, не фан-*

тастически; ибо страданіе-то и есть жизнь. Безъ страданія—какое было-бы въ ней удовольствіе? Все обратилось-бы въ одинъ безконечный молебенъ: оно свято, но скучновато. Ну, а я? Я страдаю, а все-же не живу. Я иксъ въ неопредѣленномъ уравненіи. Я какой-то призракъ жизни, который потерялъ всѣ концы и начала, и даже самъ позабылъ, наконецъ, какъ и назвать себя".

Впослѣдствіи, въ разговорѣ съ Алешей, Иванъ старается успокоить себя: „онъ не сатана, это онъ лжетъ. Онъ самозванецъ. Онъ просто чортъ, дрянной, мелкій, чортъ. Онъ въ баню ходитъ. Раздѣнь его и навѣрно отыщешь хвостъ, длинный, гладкій, какъ у датской собаки, въ аршинъ длиной, бурый..."

— „Нѣтъ, я никогда не былъ такимъ лакеемъ!" — съ негодованіемъ говоритъ онъ самому Чорту.—„Почему-же душа моя могла породить такого лакея, какъ ты?"

Но вѣдь Чортъ недаромъ—„третій между двумя", соединяющій между русскимъ, а, можетъ быть, и общеевропейскимъ „барченкомъ" Иваномъ и русскимъ и тоже, можетъ быть общеевропейскимъ лакеемъ Смердяковымъ: кромѣ смердяковскаго запаха, вѣетъ отъ него и другими разнообразными запахами реальнѣйшей, современнѣйшей русской и общеевропейской пошлости; онъ кажется иногда Хлестаковымъ и Чичиковымъ, стариннымъ помѣщичьимъ приживальщикомъ („видъ порядочности при весьма слабыхъ карманныхъ средствахъ"); напоминаетъ и подозрительнаго „джентльмена" изъ новѣйшей космополитической мелкой прессы. И привидѣніе какъ будто щеголяетъ этимъ „человѣческимъ, слишкомъ человѣческимъ", этою „безсмертной пошлостью людской",—дразнитъ ею Ивана:

— „Во-истину ты злишься на меня за то, что я не явился тебѣ въ какомъ-нибудь красномъ сіяніи, „гремя и блистая", съ опаленными крыльями, а предсталъ въ такомъ

скромномъ видѣ. Ты оскорбленъ, во-первыхъ, въ эстетическихъ чувствахъ своихъ, а во-вторыхъ, въ гордости: какъ, дескать, къ такому великому человѣку могъ войти такой пошлый чортъ? Нѣтъ, въ тебѣ таки есть эта романтическая струйка, еще осмѣянная Бѣлинскимъ".

Только изрѣдка, какъ будто нечаянно, между двумя „лакейскими" выходками, роняетъ онъ какое-нибудь слово, которое вдругъ напоминаетъ Ивану, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло. И тогда выглядываетъ изъ-за „человѣческаго" лица—другое:

— „*Все, что у васъ есть—есть и у насъ*, это ужъ я тебѣ по дружбѣ одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено".

Здѣсь—недосказанное откровеніе изъ области мышленія, самой послѣдней, дальней, сумеречной, до которой когда-либо досягалъ взоръ человѣческій. Это—отвлеченнѣйшая діалектика, „критика познанія", претворившаяся въ кровь и плоть, въ смѣхъ и ужасъ. Такія нуменальныя мысли или только тѣни мыслей должны были смущать Гёте, когда создавалъ онъ своихъ *Матерей* во второй части Фауста, и Канта, когда обдумывалъ онъ свою „трансцендентальную эстетику".

Иванъ порою не выдерживаетъ,—вдругъ забываетъ, что Чортъ „не можетъ ему сказать ничего новаго",—и любопытствуетъ.

— „Есть Богъ или нѣтъ?—со свирѣпою настойчивостью крикнулъ Иванъ.

— „А, такъ ты серьезно?—Голубчикъ мой, ей-Богу, не знаю. Вотъ великое слово сказалъ.

— „Не знаешь, а Бога видишь? Нѣтъ, ты не самъ по себѣ, ты—*я*, ты есть *я* и болѣе ничего! Ты—дрянь, ты—моя фантазія!"

Иванъ сердится потому, что втайнѣ чувствуетъ себя неправымъ: вѣдь, несмотря на пошлый каламбуръ, этимъ

ническимъ *„не знаю“* Чортъ отвѣтилъ ему на вопросъ о Богѣ—праздный, „не научный“ вопросъ—самымъ окончательнымъ словомъ науки. Это *„не знаю“* есть неизбѣжный, мертвый и умерщвляющій плодъ съ Древа Познанія, не соединеннаго съ Древомъ Жизни.

Фридрихъ Нитче, даже въ то время, когда уже преодолѣлъ,—какъ, по крайней мѣрѣ, ему самому казалось,—всѣ прочія метафизическія „переживанія“, не могъ отдѣлаться лишь отъ одного изъ нихъ, — самаго давняго и упорнаго, которое преслѣдовало его всю жизнь, и котораго онъ такъ боялся, что, по собственному признанію, почти никогда о немъ не говорилъ. Однажды Заратустрѣ является карликъ, отвратительный „горбунъ“, духъ „земной тяжести“, и напоминаетъ ему объ этомъ непобѣжденномъ, метафизическомъ бредѣ, о *„вѣчныхъ возвращеніяхъ“*. Заратустра, ничего не возражая ему, охваченный ужасомъ и омерзѣніемъ, падаетъ на землю, какъ мертвый.

Замѣчательно, что даже у людей, чуждыхъ всякой метафизики (напримѣръ, у Ал. Толстого, Диккенса), иногда бываетъ это странное, темное и, все-таки, поразительно-ясное, опредѣленное чувство, которое вдругъ выдѣляетъ изъ жизни какое-нибудь сцѣпленіе, повидимому, совершенно ничтожныхъ случайностей („И такъ-же шелъ жидъ бородатый, и такъ-же шумѣла вода“ у Ал. Толстого,—„паукъ въ паутинѣ“ у Нитче) и предостерегаетъ явственно: *„все это ужъ было когда-то“*.—Тѣ, кому знакомо это въ высшей степени реальное и въ то-же время фантастическое чувство, сразу поймутъ, о чемъ я говорю,—остальнымъ нельзя объяснить никакими словами. Кажется, у Нитче чувство это было чрезвычайно, до болѣзненности развито и связано съ послѣдними корнями его религіознаго творчества.

— „...Ты думаешь все про нашу теперешнюю землю,—говоритъ Чортъ Ивану,—да вѣдь теперешняя земля, мо-

жетъ, сама-то билліонъ разъ повторялась; ну, отживала, леденѣла, трескалась, разсыпалась, разлагалась на составныя начала, опять вода, яже бѣ надъ твердію, потомъ опять комета, опять солнце, опять изъ солнца земля,—вѣдь это развитіе, можетъ, *уже безконечно разъ повторяется, и все въ одномъ и томъ-же видѣ до черточки.* Скучища неприличнѣйшая...“

— „Я вамъ откровенно скажу“,—признается однажды Свидригайловъ Раскольникову „съ удивительнымъ выраженіемъ простодушія“,—„*очень скучно!*“

И въ грязненькомъ „трактирѣ на канавѣ, съ сиплымъ органчикомъ“, куда заходитъ иногда Версиловъ отъ „скуки, отъ ужасной душевной скуки“, онъ говоритъ Подростку:

— „Прикажу Лучію. Я люблю торжественность скуки“.

Эта метафизическая *скука*—страшнѣе всѣхъ человѣческихъ несчастій и страданій. Въ этой „земной тяжести“, въ этой здѣшней скукѣ есть нѣчто неземное, нездѣшнее, какъ-бы первозданное, связанное съ такимъ, напримѣръ, тоже, „метафизическимъ бредомъ“ о вѣчности.

— „Намъ вотъ все представляется вѣчность, какъ идея, которую понять нельзя, что-то огромное-огромное! Да почему-же непремѣнно огромное? И вдругъ, вмѣсто всего этого, представьте себѣ, будетъ тамъ одна комнатка, этакъ въ родѣ деревенской бани, закоптѣлая, а по всѣмъ угламъ пауки, — и вотъ и вся вѣчность. Мнѣ, знаете, въ этомъ родѣ иногда мерещится“.

Свидригайловъ понимаетъ, конечно, не хуже позитивистовъ, что „пауки“ и „баня“—только „феномены“, явленія, что ихъ не можетъ быть въ области Непознаваемаго—ноуменовъ. Но, вѣдь вотъ: „все, что̀ у васъ, есть и у насъ“;—явленія только символы, только знаменія того, что̀ за ними.

— „И неужели, неужели вамъ ничего не представляется утѣшительнѣе и справедливѣе этого!—съ болѣзненнымъ чувствомъ вскрикнулъ Раскольниковъ.

— „Справедливѣе? А почемъ знать, можетъ быть, это и есть справедливое, и, знаете, я-бы такъ нарочно сдѣлалъ,—отвѣтилъ Свидригайловъ, неопредѣленно улыбаясь.

„Какимъ-то холодомъ охватило вдругъ Раскольникова при этомъ безобразномъ отвѣтѣ".

Отвѣтъ, конечно—безобразный, хотя, по своему, нуменальный, бездонно-глубокій.

И, можетъ быть, дѣйствительно, холодъ, охватившій Раскольникова, — нездѣшній: какъ бы холодъ міровыхъ пространствъ, гдѣ

Страшно, страшно поневолѣ
Средь невѣдомыхъ равнинъ.

Это—ужасъ „вѣчныхъ возвращеній", повтореній, о которыхъ Чортъ говоритъ Ивану, карликъ—Заратустрѣ, это—скука „закоптѣлой бани съ пауками по угламъ",—безконечнаго однообразія въ разнообразіи космическихъ явленій,—восходовъ и закатовъ, приливовъ и отливовъ, загораній и потуханій солнцъ, это—унылая „*Лучія*" на сипломъ органчикѣ, „торжественность скуки", которая слышится порою и въ шумѣ волнъ морскихъ, и въ голосахъ ночного вѣтра:

О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной?
О чемъ такъ сѣтуешь безумно?
. . . . . .
Понятнымъ сердцу языкомъ
Твердишь о непонятной мукѣ,
И поешь, и взрываешь въ немъ
Порой неистовые звуки.
О, страшныхъ пѣсенъ сихъ не пой
Про древній хаосъ, про родимый!
Какъ жадно міръ души ночной
Внимаетъ повѣсти любимой.
Изъ смертной рвется онъ груди
И съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться.

О, бурь уснувшихъ не буди,—
Подъ ними хаосъ шевелится!

Иванъ, какъ ни старается презирать „Лакея“, „Приживальщика“, все-таки иногда чувствуетъ подъ словами его, несмотря на всю ихъ внѣшнюю смердяковскую пошлость, эти „неистовые звуки“, этотъ „шевелящійся хаосъ“. Не показываетъ-ли Сатана своихъ „опаленныхъ крыльевъ“, не выростаетъ-ли онъ, въ глазахъ Ивана, до невыносимаго величія и ужаса, „гремя и блистая“,—хотя-бы въ этомъ какъ-будто невольно сорвавшемся, признаніи:

— „Я былъ при томъ, когда умершее на крестѣ Слово восходило въ небо, неся на персяхъ Своихъ душу одесную распятаго разбойника, я слышалъ радостные взвизги херувимовъ, поющихъ и вопіющихъ „осанна“, и громовой вопль восторга серафимовъ, отъ котораго потряслось небо и все мірозданье. И вотъ, клянусь-же всѣмъ, что̀ есть свято, я хотѣлъ примкнуть къ хору и крикнуть со всѣми „осанна“. Уже слетало, уже рвалось изъ груди“...

Но тутъ, какъ-будто щадя свою жертву до времени, снова прячется онъ за „человѣческую, слишкомъ человѣческую“ маску и кончаетъ кажущейся пошлостью:

„... я вѣдь, ты знаешь, очень чувствителенъ и художественно воспріимчивъ. Но здравый смыслъ,—о самое несчастное свойство моей природы,—удержалъ меня и тутъ въ должныхъ границахъ, и я пропустилъ мгновеніе! Ибо что-же, подумалъ я въ ту минуту, что-же бы вышло послѣ моей-то „осанны?“ Тотчасъ-бы все угасло на свѣтѣ и не стало-бы случаться никакихъ происшествій. И вотъ, единственно по долгу службы и по соціальному моему положенію, я принужденъ былъ задавить въ себѣ хорошій моментъ и остаться при пакостяхъ. Честь добра кто-то беретъ всю себѣ, а мнѣ оставлены въ удѣлъ только пакости...“

И снова, подъ внѣшнею тонкою, прозрачною корою на-

смѣшки и пошлости, мысль углубляется до нуменальной бездны:

„Я вѣдь знаю, тутъ есть секретъ, но секретъ мнѣ ни за что не хотятъ открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, въ чемъ дѣло, рявкну „осанну“, и тотчасъ исчезнетъ необходимый минусъ, и начнется во всемъ мірѣ благоразуміе, а съ нимъ, разумѣется, и конецъ всему... Но пока это не произойдетъ,—пока не открытъ секретъ, *для меня существуютъ двѣ правды, одна тамошняя, ихняя, мнѣ пока совсѣмъ неизвѣстная, а другая моя.* И еще неизвѣстно, которая будетъ почище...“

Самъ „великій и умный Духъ пустыни“, Свѣтоносящій, могъ-ли бы сказать Ивану что либо страшнѣе, неожиданнѣе, чѣмъ эти слова о двухъ сосуществующихъ, вѣчно-соединяемыхъ и несоединимыхъ правдахъ,—какъ тотчасъ затѣмъ Чортъ объясняетъ, этимъ и заключая свою бесѣду,—о правѣ Богочеловѣка и Человѣкобога, Христа и Антихриста?

Отъ соприкосновенія, столкновенія, этихъ „двухъ правдъ“ родился огонь, раскалившій „горнило сомнѣній“, черезъ которое прошла „осанна“ и самого Достоевскаго. Онъ такъ прямо и сопоставляетъ свою собственную „осанну“ съ „осанною“ Чорта. Въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ дневниковъ, обращаясь къ представителю русскихъ либераловъ и западниковъ, К. Д. Кавелину, — Достоевскій говоритъ:

„... Вы-бы могли отнестись ко мнѣ, хотя и научно, но не столь высокомѣрно, по части философіи, хотя философія и не моя спеціальность. *И въ Европѣ такой силы атеистическихъ выраженій нѣтъ и не было.* Стало быть, не какъ мальчикъ-же я вѣрую во Христа и Его исповѣдую, а черезъ большое *горнило сомнѣній* моя *осанна* прошла, какъ говоритъ у меня-же, въ томъ-же романѣ, чортъ.“

Эти „двѣ правды“ всегда сосуществовали и для Л. Толстого, не въ его сознаніи, а только въ ясновидѣніи. Но никогда не имѣлъ онъ силы и мужества, подобно Достоевскому, заглянуть имъ обѣимъ прямо въ глаза.

Впрочемъ, и у Достоевскаго самый сильный герой не выноситъ этого созерцанія обѣихъ правдъ вмѣстѣ: Иванъ бросаетъ въ Чорта стаканомъ „по-женски“, какъ-будто испугавшись, что тотъ, наконецъ, дѣйствительно скажетъ ему нѣчто „новое“, слишкомъ новое. Кажется, и самъ Достоевскій этого созерцанія не вынесъ, не сказалъ, по крайней мѣрѣ, намъ не сказалъ своего послѣдняго рѣшающаго слова о „двухъ правдахъ.“ Во всякомъ случаѣ, большей тайны, чѣмъ эта, для него не было.—Да и есть-ли вообще бо̀льшая тайна для насъ и для всего человѣчества?

Когда прибѣгаетъ Алеша съ извѣстіемъ, что Смердяковъ повѣсился только что, то-есть, во время бесѣды Чорта съ Иваномъ,—тотъ почти не удивленъ и говоритъ спокойно: „А вѣдь я зналъ, что онъ повѣсился.“

— „Отъ кого-же?

— „Не знаю, отъ кого. Но я зналъ... Да, *онъ* мнѣ сказалъ. *Онъ* сейчасъ еще мнѣ говорилъ...

— „*Онъ* тебя испугался, тебя, голубя“,—продолжаетъ Иванъ задумчиво и безсвязно, какъ въ бреду.—„Ты „чистый херувимъ.“ Херувимъ... Громовой вопль восторга серафимовъ! Что такое серафимъ? Можетъ быть, цѣлое созвѣздіе? А можетъ быть, все-то созвѣздіе есть всего только какая-нибудь химическая молекула...“

Алеша слушаетъ и ужасается не одному бреду, болѣзни Ивана, но и чему-то дѣйствительному, реальному, *новому*, что онъ смутно чувствуетъ въ немъ, въ теперешнемъ, какъ-будто на Алешу вѣетъ звѣздною стужею, холодомъ тѣхъ міровыхъ пространствъ, въ которыхъ только-что побывалъ Иванъ. И въ эту минуту, въ сравненіи съ нимъ,

съ его „глубокою совѣстью“, заглянувшею „по ту сторону добра и зла“, какимъ кажется маленькимъ ученикъ „святого“ старца Зосимы,—такой весь добрый, весь теплый, весь живой, земной, земляной, посюсторонній. Онъ говоритъ Ивану почти съ такимъ-же циническимъ состраданіемъ, какъ нигилистъ Раскольниковъ Свидригайлову:

— „Братъ, ты вѣрно ужасно боленъ... Сядь, сядь, ради Бога, на диванъ. Ты въ бреду, прилягъ на подушку, вотъ такъ. Хочешь, полотенце мокрое къ головѣ? Можетъ, лучше станетъ?“

Иванъ и безъ Алеши знаетъ, что онъ въ бреду; но отъ *одного-ли* бреда зависитъ та увѣренность, съ которой онъ теперь утверждаетъ:

— „Это не сонъ! Нѣтъ, клянусь, это былъ не сонъ,— это все сейчасъ *было!*“

Какъ-же, однако, для Достоевскаго, для самаго читателя: сонъ это или не сонъ? было это или не было?

Я, впрочемъ, самъ почти готовъ сознаться въ нелѣпости, несовременности, и даже, такъ сказать, въ непристойности моего вопроса. Ну, стоитъ-ли жить въ началѣ двадцатаго вѣка, чтобы подымать по такому поводу вопросъ о „соприкосновеніи мірамъ инымъ“,—чтобы допускать, хотя-бы на одну „десятитысячную долю“, возможность чего-то реальнаго въ появленіи даже не сатаны „съ опаленными крыльями“, „гремящаго и блистающаго“, а самаго пошлаго, устарѣлаго чорта „съ гладкимъ, какъ у датской собаки, хвостомъ“? Бредъ такъ бредъ,—„мокрое полотенце на голову“ и кончено.

Не могъ-ли бы, однако, Чортъ и мнѣ возразить точно такъ же, какъ онъ возражаетъ Ивану:

— „По азарту, съ какимъ ты отвергаешь меня, я убѣждаюсь, что ты все-таки въ меня вѣришь.

— „Нимало! На сотую долю не вѣрю!

— „Но на тысячную вѣришь. Гомеопатическія-то доли вѣдь самыя, можетъ быть, сильныя. Признайся, что вѣришь, ну, на десятитысячную...

— „Ни одной минуты! Я, впрочемъ, желалъ-бы въ тебя повѣрить!

— „Эге! Вотъ, однако, признаніе! Но я добръ, я тебѣ и тутъ помогу. Слушай: это я тебя поймалъ, а не ты меня! Я нарочно тебѣ твой же анекдотъ разсказалъ, который ты уже забылъ, чтобы ты окончательно во мнѣ разувѣрился.

— „Лжешь! Цѣль твоего появленія увѣрить меня, что ты есть!

— „Именно. Но колебанія, но безпокойство, но борьба вѣры и невѣрія,—это вѣдь такая иногда мука для совѣстливаго человѣка, вотъ какъ ты, что лучше повѣситься. Я, именно зная, что ты капельку вѣришь въ меня подпустилъ тебѣ невѣрія уже окончательно, разсказавъ этотъ анекдотъ. *Я тебя вожу между вѣрой и безвѣріемъ попеременно, и тутъ у меня своя цѣль.* Новая метода-съ: вѣдь когда ты во мнѣ совсѣмъ разувѣришься, то тотчасъ меня-же въ глаза начнешь увѣрять, что я не сонъ, а есмь въ самомъ дѣлѣ,—я тебя ужъ знаю: вотъ я тогда и достигну цѣли. А цѣль моя благородная. Я въ тебя только крохотное сѣмячко вѣры брошу, а изъ него выростетъ дубъ...“

Не кажется-ли, что этотъ Чортъ, несмотря на свой собачій хвостъ и на то, что „философія не его спеціальность“,— все таки не безъ пользы для себя прочелъ „Критику чистаго разума?“ Вольтеріанцы XVIII и нашего вѣка (потому что и въ нашъ вѣкъ ихъ не мало, хотя уже и подъ другими именами), эти „философы безъ математики“, — какъ выражался Галлей, другъ Ньютона,—конечно справились-бы съ подобнымъ Чортомъ, безъ особенной трудности. Но, можетъ быть, умамъ, нѣсколько болѣе точнымъ, *критическимъ* чѣмъ „вольтеріанцы“,—умамъ, въ родѣ Паскаля и

23*

Канта, пришлось-бы таки побороться, „помужествовать“ съ этимъ *призракомъ*, чтобы истребитъ „десятитысячную долю“ сомнѣнія или вѣры, которую онъ внушаетъ.

Не говоря уже о романтикахъ, даже такой любитель всего реальнаго, какъ Гете, иногда, чувствуя, что пошлость современной Европы становится для него невыносимою—въ поискахъ за сверхъестественнымъ, если не утоляющимъ, то, по крайней мѣрѣ, обманывающимъ религіозную жажду, уходилъ въ Средніе Вѣка или въ классическую древность. Достоевскій, первый и донынѣ единственный изъ великихъ писателей новыхъ временъ, имѣлъ силу, оставаясь въ современной дѣйствительности, преодолѣть и претворить ее въ нѣчто болѣе таинственное, чѣмъ всѣ легенды прошлыхъ вѣковъ; первый понялъ, что кажущееся самымъ пошлымъ, плоскимъ и плотскимъ граничитъ съ самымъ духовнымъ, какъ онъ выражался „фантастическимъ“,—то-есть, религіознымъ; первый сумѣлъ найти родники сверхъестественнаго не въ удаленіи, а въ погруженіи до конца въ самое реальное, въ „самую сущность дѣйствительнаго“, какъ онъ говоритъ.

Не въ отвлеченныхъ умозрѣніяхъ, а въ точныхъ, достойныхъ современной науки опытахъ надъ человѣческими душами, показалъ Достоевскій, что всемірно-историческая работа, начавшаяся съ Возрожденія и Реформаціи, работа исключительно-научной, критической, разлагающей мысли, если не завершилась, то уже завершается, что эта „дорога вся *до конца* пройдена, такъ что дальше итти некуда“, что не только Россія, но и вся Европа „дошла до какой-то окончательной точки и колеблется надъ бездною“. Вмѣстѣ съ тѣмъ показалъ онъ, съ уже почти совершенною, почти *нашею* ясностью сознанія, неизбѣжный поворотъ къ работѣ новой мысли,—созидающей, религіозной.

Всѣ покровы омертвѣлой, богословской и метафизиче-

ской догматики были сдернуты или разорваны критикой познанія. Но за этими покровами оказалась не мертвая пустота, не безразличная плоскость, какъ предполагали легкіе скептики XVIII вѣка съ ихъ легкимъ отрицаніемъ, а живая притягивающая бездна, самая живая и самая притягивающая изъ всѣхъ, когда-либо передъ человѣческимъ взоромъ обнажавшихся безднъ.—Разрушеніе догматики не только не вредитъ, а болѣе чѣмъ что-либо содѣйствуетъ возможности истинной религіи. Суевѣрные, баснословные призраки утрачиваютъ свою реальность, но сама реальность становится уже не баснословною, а лишь *условною*, не суевѣрною,—а лишь *невѣрною*, и потому-то именно тѣмъ болѣе, болѣе, чѣмъ когда-либо,—призрачной. Религіозные и метафизическіе сны теряютъ свою вещественность, но сама явь становится „вещественной какъ сонъ". Насколько страшнѣе, насколько безобразнѣе дантовскаго Ада, въ которомъ все-таки есть же хоть какая-нибудь справедливость, то есть религіозное благообразіе—эти неосвященные уже никакою религіей, безобразные „сны на яву": столь фантастическій и однако столь реальный бредъ Заратустры о „вѣчныхъ возвращеніяхъ", бредъ Свидригайлова о „закоптѣлой банѣ съ пауками". Развѣ можно, въ самомъ дѣлѣ, жить съ такимъ бредомъ, съ такимъ слѣпымъ и глухимъ, безсмысленнымъ ужасомъ въ душѣ, на который наука отвѣчаетъ только своимъ циническимъ: „пойдите къ доктору",—или-же мертвымъ, сухимъ и короткимъ, какъ ударъ лба объ стѣну: „не знаю?" — Нѣтъ, послѣ четырехвѣковой работы критической мысли міръ не остался такимъ же страшнымъ и загадочнымъ, какъ былъ: онъ сдѣлался еще страшнѣе, еще загадочнѣе. Несмотря на всю свою наружную плоскость и пошлость (дѣйствительно,—какъ замѣтилъ Достоевскій—„граничащую почти съ фантастическимъ", такъ что древній грекъ могъ-

бы сказать современному европейцу средняго уровня, то что Иванъ говоритъ лакею Смердякову: „мнѣ кажется, что ты сонъ, что ты призракъ"),—несмотря на эту пошлость, міръ, какъ показалъ Достоевскій, никогда еще не былъ, если не такимъ религіознымъ, то такимъ созрѣвшимъ, готовымъ къ религіи, какъ въ наше время, и притомъ къ религіи уже окончательной, завершающей всемірно-историческое развитіе, отчасти исполненной въ первомъ—и предсказанной во второмъ пришествіи Слова.

Въ самомъ дѣлѣ, современному европейскому человѣчеству предстоитъ неминуемый выборъ одного изъ трехъ путей: первый—окончательное выздоровленіе отъ болѣзни, которую людямъ пришлось-бы назвать въ такомъ случаѣ „Богомъ", выздоровленіе въ пошлости бо̀льшей, чѣмъ современная, потому-что теперь все-таки они еще страдаютъ: вѣдь даже и такой лакей, какъ Смердяковъ, въ концѣ концовъ, не выдержалъ, повѣсился;—окончательное-же позитивное выздоровленіе отъ „Бога" возможно лишь въ совершенной, нынѣ только смутно предчувствуемой пошлости соціальной вавилонской башни, все-человѣческаго „муравейника"; второй путь—гибель отъ этой-же болѣзни въ окончательномъ упадкѣ, вырожденіи, „декадентствѣ", въ безуміи Нитче и Кириллова, проповѣдниковъ Человѣкобога, который будто-бы уничтожитъ Богочеловѣка; и, наконецъ, третій путь—религія послѣдняго великаго соединенія, великаго Символа, религія Второго, уже не тайнаго, скрытаго, какъ Первое, а явнаго Пришествія въ силѣ и славѣ,—религія Конца.

Здѣсь, впрочемъ, должно сдѣлать оговорку: собственно Достоевскій или дѣйствительно не сознавалъ, или только дѣлалъ видъ, что не сознаетъ значенія для собственныхъ религіозныхъ мыслей, сокровеннѣйшей и глубочайшей мысли христіанства,—мысли о Концѣ, о Второмъ Прише-

ствіи, которое завершитъ и восполнитъ Первое, о царствѣ Духа, грядущемъ послѣ царства Сына: *„еще многое имѣю сказать вамъ, но вы теперь не можете вмѣстить; когда-же пріидетъ Онъ, Духъ истины, то наставитъ васъ на всякую истину: ибо не отъ себя говоритъ будетъ, но будетъ говорить, что услышитъ, и будущее возвѣститъ вамъ; Онъ прославитъ Меня, потому что отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ“*. (Іоанна XVI, 12—14).—Если Достоевскій и думалъ о второмъ пришествіи, то все-таки онъ больше думалъ о первомъ, чѣмъ о второмъ; больше думалъ о царствѣ Сына, чѣмъ о царствѣ Духа; больше вѣрилъ въ Того, Кто былъ и есть, чѣмъ въ Того, Кто былъ, есть *и будетъ;* то, что люди *уже „вмѣстили“*, для Достоевскаго заслоняло то, что они еще *„теперь не могутъ вмѣстить“*.

Новую религіозную жажду, которую и самъ онъ разжигалъ до невыносимаго страданія всѣмъ огнемъ, какой только былъ у него,—хотѣлъ онъ утолить не новымъ виномъ, не изъ новыхъ мѣховъ,—виномъ, не претвореннымъ въ кровь, водой, не претворенной въ вино.

Онъ только загадалъ намъ свои загадки: отъ необходимости разгадывать ихъ, его самого едва отдѣлялъ волосокъ. Насъ теперь уже ничто не отдѣляетъ отъ этой необходимости. Мы стоимъ лицомъ къ лицу съ нею: мы должны или разгадать, или погибнуть.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Во взглядѣ такъ называемыхъ „эстетовъ“ на красоту, въ ихъ исповѣданіи: „искусство для искусства“ есть нѣчто, можетъ быть, и вѣрное, но недостаточно стыдливое.—Красота любитъ, чтобы видѣли ее, но не любитъ, чтобы на нее указывали. Красота, говорю я, стыдлива; кажется, это—вообще самое стыдливое, что только есть въ мірѣ; это—какъ-бы стыдъ Бога, Который покрываетъ послѣднюю тайну и наготу Свою полупрозрачнымъ покровомъ явленій.

Во взглядѣ эстетовъ на красоту есть также нѣчто недостаточно гордое.—Красота любитъ, чтобы ей служили, но и сама любитъ служить. Величайшіе художники иногда заставляютъ красоту служить, какъ будто даже приносятъ или готовы принести ее въ жертву чему-то высшему, потому что они знаютъ, что въ самую послѣднюю минуту передъ жертвеннымъ закланіемъ, какъ Ифигенія подъ ножомъ отца своего Агамемнона, красота становится всего прекраснѣе; правда,—въ ту-же послѣднюю минуту, большею частью, боги чудомъ спасаютъ ее,—какъ Ифигенію, переносятъ на недоступные берега, гдѣ она и становится ихъ безсмертною дочерью.

Одно изъ совершеннѣйшихъ созданій эллинскаго духа, именно то, въ которомъ отразился онъ всего глубже и яснѣе—трагедія—вышло изъ религіознаго таинства и въ

продолженіе всего своего развитія сохраняло живую связь съ религіей, такъ что трагическое дѣйствіе было наполовину богослуженіемъ, театръ—наполовину храмомъ. Точно также и все греческое искусство въ свою цвѣтущую пору служило религіи. Только тогда, когда отъ прикосновенія болѣе грубой и внѣшней римской культуры, эта связь искусства съ религіей была порвана, когда боговъ, отъ которыхъ уже отлеталъ духъ жизни, стали собирать въ пантеоны, въ музеи, въ дворцы міродержавныхъ кесарей, какъ предметы роскоши и наслажденія, когда истощились явленія прекраснаго,—начались слова о прекрасномъ, начался александрійскій „эстетизмъ“, „искусство для искусства“, искусство—какъ религія. И это исповѣданіе, порождаемое безплодіемъ и порождающее безплодіе, было предзнаменованіемъ римскаго упадка, вырожденія, „декадентства“.

Въ столь неумѣломъ, дѣтскомъ, но уже символическомъ, соединяющемъ лепетѣ христіанской катакомбной стѣнописи снова завязывается порванная связь искусства съ религіей, и становится все живѣе, осязательнѣе,—отъ первыхъ подземныхъ базиликъ, отъ галилейскихъ сказаній о Добромъ Пастырѣ, до уходящихъ въ небо готическихъ иглъ средневѣковыхъ соборовъ, до „священныхъ дѣйствъ“—мистерій, изъ которыхъ вышла новая драма.

Итальянское Возрожденіе какъ будто опять разрушило,—на самомъ дѣлѣ, оно только *переродило* эту связь. Ликъ Христа въ Леонардовой *Тайной Вечери*—не ликъ того Христа, чей намѣстникъ—римскій папа, все равно Григорій Гильдебрантъ или Александръ Борджіа; „пророки и сибиллы“ на потолкѣ Сикстинской часовни—ветхозавѣтные праотцы и праматери не въ католической церкви осуществившагося или могущаго осуществиться, Новаго Завѣта. Оба великихъ носителя религіознаго духа Возрожденія,—Леонардо и Микель Анжело—ближе намъ, и, по всей вѣ-

роятности, будутъ еще ближе нашимъ потомкамъ, чѣмъ своимъ современникамъ. Оба они углубили и укрѣпили связь искусства съ религіей, но не съ религіей настоящаго, а съ религіей будущаго.

Во всякомъ случаѣ, ни тотъ, ни другой не вмѣщаются въ предѣлахъ „искусства для искусства"; они — больше, чѣмъ художники. Микель-Анжело—ваятель, живописецъ, и въ самой живописи ваятель, зодчій Св. Петра, строитель флорентинскихъ военныхъ укрѣпленій, любовникъ Витторіи Колонна, поэтъ, ученый, мыслитель, пророкъ. Но и онъ кажется почти ограниченнымъ, по сравненію съ Леонардо. Художественныя созданія и необъятные научные дневники Леонардо, до послѣдняго времени не изслѣдованные и не оцѣненные, по недостатку равно всеобъемлющаго научнаго ума,—даютъ лишь слабое понятіе о дѣйствительной мѣрѣ силъ его. Кажется, никто никогда не уносилъ съ собою въ гробъ такой тайны заключенныхъ въ существѣ человѣческомъ, сверхчеловѣческихъ возможностей.

Рафаэль, точно испугавшись этого неимовѣрнаго наслѣдства, принялъ изъ него во владѣніе только самую малую и легкую часть. Онъ безконечно сузилъ и сосредоточилъ кругъ своего созерцанія; онъ уже стремился только къ возможному и зато, дѣйствительно, достигъ его; онъ захотѣлъ быть только художникомъ и зато дѣйствительно былъ имъ, въ болѣе совершенной мѣрѣ, чѣмъ Леонардо и Микель-Анжело. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ Рафаэлѣ, въ этомъ „счастливомъ мальчикѣ",—„fortunato gàrzon", по выраженію Франчіи, — совершился перевалъ черезъ великій всемірноисторическій горный кряжъ Возрожденія,—кончился подъемъ, начался спускъ. Рафаэль сдѣлалъ возможнымъ явленіе такого „эстета", предвозвѣстника нашей современной эстетической сытости и пошлости, какъ Пьетро Аретино, который проглядѣлъ Леонардо, вышу-

тилъ Микель-Анжело и обоготворилъ Тиціано,—въ качествѣ воплотителя „чистой красоты“, *искусства не для религіи, а какъ религіи*, единственно положительной, позитивной, эпикурейской, безбожной религіи наслажденія,—„искусства для искусства“.

У Л. Толстого и Достоевскаго есть двѣ черты, которыя сближаютъ ихъ съ великими начинателями всякаго „возрожденія“.

Во-первыхъ, искусство обоихъ находится въ связи съ религіей, именно, съ религіей не настоящаго, а будущаго. Во-вторыхъ, оно не вмѣщается въ предѣлахъ искусства, какъ самодовлѣющей религіи,—такъ называемаго „чистаго искусства“. Оно естественно и невольно переступаетъ за эти предѣлы, выходитъ изъ нихъ.

Слабость и ошибка Л. Толстого не въ томъ, что онъ хотѣлъ быть больше, а только въ томъ, что въ своихъ усиліяхъ стать больше, онъ иногда становился меньше, чѣмъ художникъ,—не въ томъ, что онъ хотѣлъ служить искусствомъ Богу, но только въ томъ, что онъ иногда служилъ не своему, а чужому Богу. Однако-же въ немъ и въ такомъ, каковъ онъ есть, уже чувствуется дѣйствительная, хотя еще и неосуществленная *возможность* болѣе глубокаго, чѣмъ чисто-художественное, религіознаго созерцанія и дѣйствія. Именно въ этой вѣчной внутренней борьбѣ и боли, въ этой неутоленности, неутолимости славою *только* художника, въ этомъ небываломъ самоумерщвленіи, самоубійствѣ генія не заключается-ли истинное трагическое величіе и слава Л. Толстого? Вѣдь даже *только* хотѣть,—иногда признакъ величія; одинъ долженъ сначала *только* хотѣть, чтобы другой могъ хотѣть и совершить.

Что̀ касается Достоевскаго, то уже совершенно, кажется, ясно, что его созданія такъ-же мало удовлетво-

ряютъ „эстетовъ“, поклонниковъ „чистой красоты“, „искусства для искусства“, какъ и противниковъ ихъ, ищущихъ въ прекрасномъ полезнаго, добраго, — которымъ всегда будетъ казаться Достоевскій „жестокимъ талантомъ“. Онъ уже не только носилъ въ себѣ, но въ значительной мѣрѣ и осуществилъ одну изъ великихъ религіозныхъ возможностей нашего времени,— хотя и не ту, что была во Л. Толстомъ, однако не меньшую; не только хотѣлъ, но и былъ, хотя, можетъ быть, не въ такой степени, какъ этого хотѣлъ, предвозвѣстителемъ новой религіи,—воистину былъ пророкомъ.

Понятно недоумѣніе одного изъ благочестивыхъ папъ передъ безчисленнымъ множествомъ голыхъ тѣлъ на потолкѣ и запрестольной стѣнѣ Сикстинской капеллы. Папа не понялъ, что тѣла эти—святыя, духовныя или, по крайней мѣрѣ, должны быть духовными. Можетъ быть, испыталъ онъ чувство, нѣсколько похожее на то, которое испытываетъ князь Андрей при видѣ „огромнаго количества барахтающихся голыхъ тѣлъ“ въ грязномъ пруду на Смоленской дорогѣ,—чувство ужаса и отвращенія къ человѣческому тѣлу, „человѣческому мясу“.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь именно здѣсь, въ Сикстинской капеллѣ, Микель-Анжело впервые съ такою небывалою смѣлостью обнажилъ плоть отъ тысячелѣтняго христіанскаго покрова, впервые снова, послѣ древнихъ, заглянулъ въ бездну плоти, въ эту „пучину“ и „непостижимость“, какъ выражается Л. Толстой. И въ лицахъ голыхъ, пляшущихъ, точно опьяненныхъ, отроковъ—стихійныхъ демоновъ, вокругъ среднихъ, ветхозавѣтныхъ картинъ Сикстинской часовни, и въ лицѣ Моисея въ San-Pietro in Vincoli, въ этомъ страшномъ, нечеловѣческомъ лицѣ, съ чудовищными рогами, вмѣсто лучей, въ которомъ есть нѣчто, напоминающее сатировъ, козлиное,—впервые снова пробуждается не-

запамятно-древняя, вѣчно юная арійская дума о соединеніи божескаго и звѣрскаго, „о Божьей твари“, о Богѣ-Звѣрѣ.—Эти полу-боги, полу-звѣри, въ которыхъ естественное доведено до сверхъестественнаго, эти существа съ исполинскими мышцами и мускулами, у которыхъ „видно только лицо и тѣло, а души иногда какъ будто вовсе не видно“, — слишкомъ плотскія, плотяныя, кровяныя, мясистыя, словно задушенныя плотью и кровью, обремененныя грозовымъ оргійнымъ избыткомъ животной жизни, какъ „Ночь“ и „Утро“ Медичейской гробницы, „Кумская Сибилла“, „Скиѳскіе Плѣнники“ — словно хотятъ и не могутъ проснуться отъ бреда, съ неимовѣрнымъ и все-таки тщетнымъ усиліемъ стремятся къ мысли, къ сознанію, къ одухотворенію, къ освобожденію отъ плоти, отъ камня, отъ вещества, которымъ связаны. — Нѣтъ ничего менѣе христіанскаго и болѣе желающаго быть христіанскимъ.

Какъ въ бездну плоти — Микель-Анжело, такъ заглянулъ Леонардо въ противоположную и равную бездну духа. Онъ какъ будто вышелъ изъ того, къ чему только шелъ Микель-Анжело.

У всѣхъ созданій Леонардо — „тѣла духовныя“, доведенныя до такой степени тонкости, прозрачности, что, кажется, горящій въ нихъ духъ насквозь просвѣчиваетъ; тѣла какъ-будто вовсе не видно, виденъ только духъ,— „тѣла своего они на себѣ почти и не чувствуютъ“. Карикатуры Леонардо на людей и животныхъ, эти лица полныя дьявольскимъ уродствомъ, такъ-же какъ другія лица въ его рисункахъ, полныя ангельскою прелестью, въ которыхъ, по выраженію Достоевскаго,—„тайна земная соприкасается со звѣздною“, похожи на сновидѣнія, на призраки; но это—призраки математически-яснаго и точнаго построенія, призраки съ плотью и кровью, самые фанта-

стическіе и въ то-же время самые реальные. „Я люблю реализмъ, доходящій до фантастическаго“,—говоритъ Достоевскій. Кажется и онъ, какъ Леонардо, могъ-бы сказать съ бо̀льшимъ правомъ: „я люблю фантастическое, доходящее до реализма“. Для нихъ обоихъ „фантастическое составляетъ иногда самую сущность дѣйствительнаго“. Оба они ищутъ и находятъ „вещественное, какъ сонъ“ въ послѣднихъ предѣлахъ реальнаго, дѣйствительнаго. И творецъ *Моны Лизы*—великій „психологъ“, „реалистъ въ высшемъ смыслѣ“, потому что онъ „изслѣдуетъ всѣ глубины души человѣческой“. Онъ дѣлаетъ жестокіе, даже какъ-будто преступные, опыты надъ человѣческими душами. Въ этихъ опытахъ у него уже наше современное, ни передъ чѣмъ не отступающее, безстрашное научное любопытство, соединеніе геометрической точности съ пророческимъ ясновидѣніемъ; и самая отвлеченная мысль Леонардо—въ то-же время самая страстная: мысль о Богѣ, о Первомъ Двигателѣ божественной механики—Primo Motore. Механика и религія, познаніе и любовь,—этотъ ледъ и огонь—вмѣстѣ: „любовь есть дочь познанія“—„чѣмъ точнѣе познаніе—тѣмъ пламеннѣе любовь“.—Онъ первый изобразилъ великую новую трагедію, трагедію не только сердца, но и разума, въ своей *Тайной Вечери*,—въ рожденіи зла, отъ котораго въ человѣкѣ умеръ Богъ,—въ противоположности страстнаго, „человѣческаго, слишкомъ человѣческаго“ лика Іуды и безстрастнаго, сверхчеловѣческаго Лика Господня. Кто былъ ближе, чѣмъ Леонардо, къ первому сокровенному явленію Слова, ставшаго Плотью, къ царству Сына? Не одинъ-ли только шагъ отдѣлялъ творца Лика Христова въ *Тайной Вечери* отъ второго явленія Слова-Плоти—отъ царства Духа? Но Леонардо этого шага не сдѣлалъ: такъ и не кончилъ Лика Христова на стѣнѣ Maria delle Grazie. Мечта Леонароо — „воплотиться уже

безвозвратно, окончательно"—такъ и осталась мечтою. И несмотря на всю свою любовь къ евклидовскимъ формуламъ, къ „земному реализму", онъ все-таки прошелъ по землѣ почти безслѣдно, какъ тѣнь, какъ призракъ, какъ безплотный и безкровный духъ, съ нѣмыми устами, съ закрытымъ лицомъ.

Въ чрезмѣрности духовнаго, изощренно, утонченно-сознательнаго („слишкомъ сознавать,—это болѣзнь", говоритъ Достоевскій) у Леонардо сказалась, въ сущности, такая-же болѣзненность, надломленность, незавершенность какъ въ чрезмѣрности плотскаго, плотяного, первобытно-стихійнаго, животнаго,—„шевелящагося хаоса" у Микель-Анжело.

Таковы эти два бога или два демона Возрожденія въ своемъ вѣчномъ противорѣчіи и вѣчномъ согласіи.

То были двухъ бѣсовъ изображенія:
Одинъ, Дельфійскій идолъ, ликъ младой,
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной,
Другой—женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ.
Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.

Рафаэль не только не разрѣшилъ, но, кажется, и непонялъ вовсе этого противорѣчія. Онъ притупилъ лишь самыя острыя жала обѣихъ крайностей, обрѣзалъ этимъ чудовищнымъ химерамъ зубы, когти, крылья, приручилъ ихъ, смягчилъ и *ослабилъ* до такой степени, что они, наконецъ, въ немъ соединились. Но это соединеніе, примиреніе или только перемиріе было слишкомъ легкимъ, внѣшнимъ, поверхностнымъ, слишкомъ дешевою цѣною купленнымъ, безопаснымъ и благоразумнымъ,—„и нашимъ и вашимъ". Именно эта женственная податливость относительно „христіанства" и „язычества", относительно проро-

ческаго „видѣнія Іезекіиля“ и пророческаго видѣнія папы Льва X, эта вкрадчивая ласковость „счастливаго мальчика“ (если-бы рѣчь шла не о такомъ, все-таки сильномъ и утонченномъ явленіи, какъ Рафаэль, то можно-бы напомнить грубую пословицу: „ласковый теленокъ двухъ матокъ сосетъ“) открыла впослѣдствіи дверь всему лицемѣрному, академически-условному, холодному, мѣщански-посредственному и пошлому, въ „сечентизмѣ“, что погубило Возрожденіе, отъ чего оно „не выгорѣло“, не удалось, такъ что и донынѣ ждетъ своего завершителя.

Но этого противорѣчія нельзя было обойти.

И въ наше время опять открывается и встаетъ оно передъ европейскою культурою, съ новою, кажется, еще небывалою силою. Болѣе или менѣе, оно отразилось на всѣхъ, въ комъ только пробуждался духъ Возрожденія—отъ Гете до Нитче. Не могло оно не отразиться и на двухъ послѣднихъ предвозвѣстителяхъ русскаго и всемірнаго Возрожденія,—на Л. Толстомъ и Достоевскомъ.

Мы видѣли, что Л. Толстой—величайшій изобразитель человѣческаго тѣла въ словѣ, такъ-же какъ Микель-Анжело—въ краскахъ и въ мраморѣ. Л. Толстой первый снова дерзнулъ обнажить человѣческое тѣло отъ всѣхъ культурно-историческихъ покрововъ; снова задумался арійскою думою о соединеніи образа Божьяго и звѣринаго въ образѣ человѣческомъ,—о Богѣ-Звѣрѣ. Мы также видѣли что надъ всѣми произведеніями Л. Толстого вѣетъ еще и семитскій ужасъ этого „*Звѣря*“, отвращеніе и ужасъ передъ обнаженнымъ тѣломъ, передъ человѣческимъ „мясомъ“. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, Л. Толстой первый, хотя еще и слишкомъ смутно, предчувствовалъ возможность окончательной побѣды надъ этимъ ужасомъ, возможность уже не безплотной святости, а святой плоти, не безтѣлесной духовности а духовнаго тѣла,—болѣе духовнаго и болѣе свя-

того, чѣмъ даже во времена самаго донынѣ совершеннаго изъ всѣхъ обожествленій плоти,—древне-эллинскаго—во времена Праксителя и Фидія.

Такъ-же, какъ Л. Толстой въ бездну плоти, заглянулъ Достоевскій въ бездну духа, и показалъ, что верхняя бездна равняется нижней, что одну ступень человѣческаго сознанія отъ другой, одну мысль отъ другой отдѣляетъ иногда точно такая-же „пучина", „непостижимость", какъ „человѣческій зародышъ—отъ небытія". И онъ боролся съ неменьшимъ, чѣмъ ужасъ плоти, ужасомъ духа,—слишкомъ яркаго и остраго сознанія („слишкомъ сознавать — это болѣзнь"),—съ ужасомъ всего отвлеченнаго, призрачнаго фантастическаго и, въ то-же время, безпощадно-реальнаго, дѣйствительнаго. Люди боялись или надѣялись, что когда нибудь разумъ изсушитъ родники сердца, что сознаніе убьетъ чувство, въ особенности религіозное чувство, что свѣтъ сознанія освѣтитъ до конца, до дна всѣ тайны Непознаваемаго и Безсознательнаго, такъ что уже не останется сумрака, нужнаго для вѣры. Достоевскій показалъ, что это ошибка, что человѣческое сознаніе подобно лучу самаго яркаго свѣта, направленному въ ночное небо: пока земные туманы и облака все еще покрывали небо, лучъ свѣта ими задерживался, и людямъ казалось, что у неба есть дно, что свѣту сознанія итти дальше некуда; но когда облака разсѣялись, и за ними открылось темное, ясное небо, то управлявшіе свѣтомъ увидѣли, что чѣмъ ярче и длиннѣе лучъ, тѣмъ глубже мракъ неба, и что у этой глубины нѣтъ вовсе дна. Достоевскій, одинъ изъ первыхъ, понялъ окончательно, что между разумомъ и сердцемъ есть согласіе, соединеніе, что лишь высшая степень научнаго сознанія можетъ дать людямъ высшую степень религіознаго чувства.

Таковы они въ своемъ вѣчномъ противорѣчіи и вѣч-

номъ единствѣ,—эти два демона русскаго Возрожденія,—тайновидецъ плоти, Л. Толстой, тайновидецъ духа, Достоевскій;—одинъ—стремящійся къ одухотворенію плоти; другой—къ воплощенію духа. И именно въ томъ, что ихъ двое что они—вмѣстѣ, (хотя они сами еще не сознаютъ, что они вмѣстѣ, и что не могутъ быть одинъ безъ другого), заключается наша послѣдняя и величайшая надежда.

Рафаэль, соединитель или только желавшій былъ соединителемъ двухъ полюсовъ итальянскаго Возрожденія, слѣдовалъ за Леонардо и Микель-Анжело. Совершенно обратная тройственность въ русскомъ Возрожденіи: нашъ Рафаэль, Пушкинъ, предшествуетъ Л. Толстому и Достоевскому, которые въ своемъ сознаніи раздвоили и углубили то, что стихійно и безсознательно соединялось въ Пушкинѣ. Ежели религіозное созерцаніе Плоти у Л. Толстого—*тезисъ*, религіозное созерцаніе Духа у Достоевскаго — *антитезисъ* русской культуры, то не слѣдуетъ-ли заключить, по закону „діалектическаго развитія", о неизбѣжности и русскаго *синтеза*, который, по своему значенію, будетъ въ то-же время всемірнымъ, о неизбѣжности послѣдняго и окончательнаго Соединенія, Символа, высшей, чѣмъ у Пушкина, потому что болѣе глубокой, религіозной, болѣе сознательной гармоніи?

Сумѣетъ-ли разрѣшить это второе Возрожденіе то противорѣчіе, котораго не разрѣшило и отъ котораго погибло первое?—

Но, при мысли о будущемъ, нельзя не вспомнить и о настоящемъ русской культуры. И вотъ, тутъ-то и начинаются наши сомнѣнія, наши смиренія.

Можемъ-ли мы, въ самомъ дѣлѣ, скрыть отъ себя, что это настоящее болѣе, чѣмъ печально,—что оно почти безнадежно. Трудно повѣрить, чтобы современная русская культура была та самая, которая за полтора вѣка

дала міру сразу, одно за другимъ, два такихъ явленія, какъ Петръ и Пушкинъ, а въ слѣдующіе полъ-вѣка—Л. Толстого и Достоевскаго. Трудно повѣрить, чтобы едва за четверть столѣтія, почти на памяти нынѣшняго поколѣнія, были созданы въ Россіи два самыхъ великихъ произведенія всей современной европейской литературы — „Анна Каренина“ и „Братья Карамазовы“. Послѣ этихъ двухъ высочайшихъ точекъ, достигнутыхъ русскимъ духомъ,—какой внезапный обрывъ, какой провалъ! Гдѣ сознательная культурно-историческая преемственность, гдѣ живыя кровныя связи, которыя соединяли-бы наше сегодняшнее съ этимъ вчерашнимъ? И дѣйствительно-ли это *наше* вчерашнее, — *наши* предки? Мы признаемъ ихъ нашими; но согласились-ли бы и они въ свою очередь, насъ, такими, какъ мы теперь, признать не только своими потомками, но и своими наслѣдниками? Не отказались-бы они отъ этой чести? Что, если не оправданіе, а осужденіе наше именно въ томъ, что у насъ такіе предки? Россія можетъ гордиться своими геніями; но могутъ-ли эти геніи гордиться своею Россіей,—тою, которую увидѣли-бы въ насъ?

На всѣхъ явленіяхъ нашего новаго духа — отъ выродившагося, одичалаго, ретроградного славянофильства до марксизма (этого „визга щенятъ, валяющихся на солнцѣ“, по выраженію Достоевскаго), отъ декадентства до народничества—какая печать философскаго и религіознаго безсилія, безплодія, не русской и не европейской, а только петербургской, смердяковской пошлости. Какая призрачная отвлеченность, отъединенность, оторванность отъ всѣхъ живыхъ корней народнаго духа. — Да, есть отъ чего притти въ отчаяніе.

Не кажется-ли иногда, что въ современной русской культурѣ происходитъ нѣчто подобное петербургскимъ

оттепелямъ, когда все, что было хоть и мертвымъ, но по крайней мѣрѣ, твердымъ, чистымъ,—вдругъ слабѣетъ, рыхлѣетъ, расплывается въ жидкую грязь? И кто знаетъ, можетъ быть, грязь эта — отнюдь не весенняя, — а такъ только, временная петербургская слякоть, изъ тѣхъ, какія случаются и въ самую глухую зимнюю пору, когда подуетъ со взморья гнилой западный вѣтеръ, передъ новымъ, еще пущимъ замерзаніемъ и гололедицей.

Намъ-ли переживающимъ, по крайней мѣрѣ, въ нашихъ верхнихъ культурныхъ слояхъ, такой упадокъ, какъ никто въ Европѣ, говорить о русскомъ Возрожденіи? Намъ-ли, нищимъ изъ нищихъ, голоднымъ изъ голодныхъ (хотя духовнаго голода мы, какъ-будто, и не чувствуемъ,—вверху онъ заглушается тѣлесною сытостью, внизу—тѣлеснымъ голодомъ), намъ-ли думать о предстоящемъ „всечеловѣческомъ“ пиршествѣ духа? Если оно и совершится, то гдѣ наши русскія брачныя одежды, которыя давали-бы намъ право участвовать въ немъ?

Не пора-ли, въ самомъ дѣлѣ, стать скромнѣе и уже окончательно отрезвиться, признавъ лишь бредомъ „священной“, а можетъ быть даже и вовсе не священной болѣзни, бредомъ патріотическаго изувѣрства эти столь недавнія, едва умолкшія предвѣщанія Достоевскаго о неминуемомъ *всемірномъ* значеніи русскаго духа? Если когда-либо прежде русскій духъ и могъ надѣяться на подобное значеніе, то не должно-ли ему именно въ наше время оглянуться на себя и подумать о томъ, „чѣмъ онъ былъ и чѣмъ сталъ“? Да и самъ пророкъ теперь не отказался-ли бы отъ своего пророчества, увидѣвъ, *какъ* оно исполняется? Не повторилъ-ли бы онъ съ однимъ изъ друзей своихъ, славянофиломъ, который вѣдь тоже, по-своему, страстно вѣрилъ во всемірную будущность Россіи, но, кажется, временами, и окончательно терялъ эту вѣру:

И вотъ Господь неумолимо
Мою Россію отстранитъ.

Если судить о будущемъ по настоящему, то вѣдь, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ *„отстранитъ?“*.

Можетъ быть, и нынѣ существуютъ русскіе люди (о, конечно, только жалкая горсть), алчущіе и жаждущіе новаго религіознаго сознанія неутолимымъ, небывалымъ алканіемъ и жаждою, чувствующіе, что именно гдѣ-то здѣсь, гдѣ-то между Л. Толстымъ и Достоевскимъ, въ чаяніи какого-то великаго Символа, великаго Соединенія, скрывается родникъ,

Чистый ключъ запечатлѣнный,—

и что довольно, кажется, усилія дѣтскихъ рукъ, чтобы сорвать печати съ этого родника, и чтобы хлынула живая вода, которая утолитъ жажду міра.—Но эти жаждущіе прошли такую мертвую пустыню, такъ ослабѣли, что теперь въ ихъ рукахъ нѣтъ даже дѣтской силы, и они могутъ только доползти до того мѣста, гдѣ знаютъ—долженъ быть родникъ, упасть на землю, приникнуть къ землѣ и прислушаться къ подземному журчанью близкихъ, но недостижимыхъ водъ, умирая все-таки отъ жажды.

Или, можетъ быть, вѣрнѣе—другой образъ, другой *знакъ*?—ибо вѣдь мы теперь осуждены говорить не словами, а знаками, камъ глухонѣмые.

„Никогда еще,—говоритъ Достоевскій,—Европа не была начинена такими элементами вражды, какъ въ наше время. *Точно все подкопано и начинено порохомъ и ждетъ только первой искры*“.

Объ этой-же *„искрѣ“* говоритъ и Л. Толстой въ своемъ *Царствіи Божіемъ*, по поводу того „пожара“, который будто-бы долженъ истребить современную европейскую куль-

туру: „загоранія еще рѣдки, но загораются они огнемъ, который начавшись съ *искры*, не остановится до тѣхъ поръ, пока не сожжетъ всего.—Не достаетъ только очень малаго для того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся столь могущественной и столькими вѣками воздвигавшаяся сила.—Дѣло зашло уже слишкомъ далеко": современная культура „чувствуетъ уже свою беззащитность и слабость, и пробуждающіеся отъ усыпленія люди христіанскаго сознанія уже начинаютъ чувствовать свою силу.—Огонь принесъ я на землю, сказалъ Христосъ, и какъ томлюсь, когда онъ возгорится. — *И огонь этотъ начинаетъ возгораться.*"—заключаетъ уже отъ себя Л. Толстой.

Здѣсь оба они говорятъ лишь о внѣшней, соціальной и политической безпомощности современной западно-европейской культуры. Но вѣдь только-что имѣли мы случай видѣть мѣру и внутренней безпомощности этой-же культуры: явленіе „Антихриста"-Нитче — не только великое, знаменательное, но и завершающее, крайнее явленіе,—какое-то „начало конца", какая-то послѣдняя точка, за которую „итти дальше некуда", какое-то остріе и обрывъ. Человѣкъ такой неимовѣрной культурной и религіозной силы, какъ Нитче, не разрѣшилъ главнаго противорѣчія западно-европейской культуры, не перелетѣлъ черезъ бездну: кто же окрыленнѣе, чѣмъ онъ? кто идетъ за нимъ? кто смѣетъ?

О, если-бы могли мы снова, какъ уже столько разъ это дѣлали въ теченіе двухъ послѣднихъ вѣковъ, сложить отвѣтственность съ русской культуры на западно-европейскую, если-бы могли мы надѣяться, что тамъ, въ Европѣ, кто нибудь рѣшитъ за насъ, обдумаетъ, скажетъ свое слово, что оттуда намъ снова помогутъ и научатъ насъ. Но, увы!—день-ото-дня все болѣе и болѣе убѣждаемся мы, что теперь уже тамъ никто не рѣшитъ за насъ, никто ничего не скажетъ, что тамъ уже сказали все, что можно

было сказать, что *мы одни*. Не патріотическая гордость и радость, а ужасъ и отчаяніе наше въ томъ, что именно въ эту страшную минуту мы—одни, что оттуда ждать намъ нечего, что наступаетъ время, когда протянутся оттуда руки къ намъ, безпомощнымъ, за помощью, когда будутъ смотрѣть на насъ съ большею надеждою оттуда, чѣмъ когда-либо смотрѣли мы сами туда,—будутъ ждать нашего слова, слова или знака глухонѣмыхъ.

„Въ Европѣ все подкопано, начинено порохомъ и ждетъ только первой искры", — говоритъ Достоевскій. „Огонь, начавшись съ искры, не остановится, пока не сожжетъ всего",—говоритъ Л. Толстой. Это слово объ *искрѣ*, въ которомъ такъ поразительно сходятся Л. Толстой и Достоевскій, тайновидецъ плоти и тайновидецъ духа, — не есть-ли, по преимуществу, наше русское слово, нашъ русскій знакъ?

И кто знаетъ, ничтожная (въ культурномъ верхнемъ слоѣ, а жизнь народныхъ глубинъ для насъ пока все еще—тайна), ничтожная горсть русскихъ людей новаго религіознаго сознанія не окажется-ли именно этою искрою? Порохъ боится искры и успокаиваетъ себя: это ничего, это только искра, она—одна: мы безчисленные, равные малые, сѣрые, задушимъ, потушимъ ее.—А искра еще больше боится пороха: вокругъ нея мертво, темно и тихо. Стоитъ-ли бороться? Ей-ли поднять эту тяжесть, разрушить эти желѣзныя скрѣпы и каменные своды порохового погреба? И она готова умереть. Но вотъ, въ самомъ отчаяніи рождается надежда;—и отъ этой борьбы надежды съ отчаяніемъ, отъ какого-то неуловимаго послѣдняго движенія атомовъ, химическихъ молекулъ, зависитъ все, — будетъ-ли смерть искры только смерть или новая, страшная жизнь? Чтобы произошелъ взрывъ, надо, чтобы въ искрѣ что-то, самое малое и великое, что-то, самое слабое и сильное, сказало себѣ:

Или я, или никто.

Русскимъ людямъ новаго религіознаго сознанія слѣдуетъ помнить, что отъ какого-то неуловимаго послѣдняго движенія воли въ каждомъ изъ нихъ,—отъ движенія атомовъ, можетъ быть, зависятъ судьбы европейскаго міра, что какъ-бы они сами себѣ ни казались ничтожными, какъ-бы упадокъ, переживаемый современной русской культурой, ни казался постыднымъ,—все-таки отъ наслѣдія Петра и Пушкина, Л. Толстого и Достоевскаго нельзя имъ отречься безнаказанно именно теперь, когда это наслѣдіе всего нужнѣе не только имъ, но и тѣмъ, у кого они въ неоплатномъ долгу, ибо, можетъ быть, если теперь отрекутся они, то—уже навсегда, безвозвратно:

И вотъ Господь неумолимо
Мою Россію отстранитъ.

Имъ слѣдуетъ помнить, что, можетъ быть, не уйдутъ они отъ того дня расплаты, когда уже не на кого имъ будетъ сложить съ себя отвѣтственность, и когда должны они будутъ сказать это послѣднее, самое страшное, потому что, какъ будто, самое смѣшное, безумное, и однако, неизбѣжное, единственно-разумное слово:

Или мы, или никто.

Конецъ перваго тома.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА.

		стр.
ВСТУПЛЕНІЕ		1— 13
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	Л. Толстой и Достоевскій какъ люди	17—174
	Первая глава	17
	Вторая глава	31
	Третья глава	43
	Четвертая глава	59
	Пятая глава	90
	Шестая глава	106
	Седьмая глава	131
	Восьмая глава	154
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	Л. Толстой и Достоевскій какъ художники	177—376
	Первая глава	177
	Вторая глава	204
	Третья глава	218
	Четвертая глава	254
	Пятая глава	280
	Шестая глава	319
	Седьмая глава	360

ОПЕЧАТКИ:

1) На стр. 17 во второй строкѣ сверху:

напечатано „читателя“—слѣдуетъ читать „писателя“.

2) На стр. 49 въ двѣнадцатой строкѣ сверху:

напечатано „плоскость“—слѣдуетъ читать „плотскость“.

ОПЕЧАТКА:

Стр. 128, снизу первая строка, напечатано „утопили“,

слѣдуетъ читать „утончили“.

Уральская Областная Библиотека Фундаментальная

ОПЕЧАТКИ:

1) На стр. 17 во второй строкѣ сверху:

напечатано „читателя“—слѣдуетъ читать „писателя“.

2) На стр. 49 въ двѣнадцатой строкѣ сверху:

напечатано „плоскость“—слѣдуетъ читать „плотскость“.

Ш р

Уральский Индустриальн. Ин-т
им. С. М. КИРОВА
Фундаментальная библиотека